

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

И Ю Л Ь — А В Г У С Т

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1969

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. З. Панфилов (Москва). О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков	3
<i>ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ</i>	
М. В. Раевский (Тула). Верхненемецкое передвижение согласных и факторы фонологической эволюции	16
В. С. Яковичин (Минск). К развитию систем прагерманского вокализма	26
Я. Б. Крупаткин (Севастополь). Об аллофонических реконструкциях	35
Ю. К. Кузьменко (Ленинград). Диахроническая фонология аффрикат в германских языках	45
Н. А. Баскаков (Москва). К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков	56
М. А. Кумахов (Москва). Число и грамматика	65
Ю. Д. Апресян (Москва). Синонимия и синонимы	75
<i>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</i>	
И. П. Распопов (Воронеж). Несколько замечаний о синтаксической парадигматике	92
М. А. Коростовцев (Москва). О природе египетского глагола	101
С. Г. Тер-Минасова (Москва). К проблеме детской речи	107
<i>ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ</i>	
И. Бар-Хиллел. Будущее машинного перевода	113
<i>КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ</i>	
Рецензии	
В. В. Колесов (Ленинград). В. В. Иванов. Историческая фонология русского языка	120
В. И. Абаев (Москва). М. Андроникашвили. Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям	127
Н. Д. Арутюнова (Москва). E. Lorenzo. El español de hoy. Lengua en ebullición	130
С. Б. Бернштейн (Москва), Г. К. Венедиктов. (Москва). Ст. Стойков. Българска диалектология. Второ поправено издание	134
Л. Г. Герценберг (Ленинград). Кельтологический журнал скандинавских лингвистов	136
<i>НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ</i>	
Н. В. Подольская (Москва), А. В. Суперанская (Москва). Терминология ономастики	140
Письма в редакцию	
Ю. Принц (Западный Берлин). По поводу рецензии Е. М. Поспелова на «Russisches geographisches Namenbuch».	147
Г. Б. Джаукян (Ереван). Письмо в редакцию	154
Хроникальные заметки	159

РЕ Д К О Л Л Е Г И Я:

О. С. Азманова, В. В. Виноградов (главный редактор),
В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), Э. А. Макаев, М. В. Панов,
В. З. Панфилов, И. И. Ревин, Ю. В. Рождественский, В. А. Серебrenников,
Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

В. З. ПАНФИЛОВ

О ЗАДАЧАХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И КРИТЕРИЯХ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВ

I. Общность функции всех естественных языков — быть средством осуществления абстрактного обобщенного мышления как в процессе общения, так и в процессе внутренней речи — совмещается с наличием в строе языков существенных различий, затрагивающих не только план языкового выражения, но и план языкового содержания. Различия в строе языков не могут быть объяснены исключительно фактом разного происхождения языков, поскольку различия или сходство в строе тех или иных языков в принципе могут не совпадать соответственно с их генетической общностью или с отсутствием такой общности. В самом деле, с одной стороны, отмечаются значительные расхождения в строе близкородственных языков (например, между английским и немецким)¹ или в строе одного и того же языка на различных этапах его исторического развития (например, английского), а с другой стороны, наблюдаются факты значительной близости строя языков, не имеющих общего происхождения. В качестве иллюстрации последнего случая можно, например, указать на качинский язык, в котором значительное развитие получили черты агглютинативного строя, в силу чего он резко выделяется среди остальных китайско-тибетских языков². Как отмечает Э. Бенвенист, «... генетическое родство не препятствует образованию новых группировок по типологическому родству структуры, а образование группировок по типологическому родству не заменяет генетического родства»³. Э. Бенвенист указывает, что «... генеалогическая классификация представляет ценность только в промежутке между двумя определенными моментами времени» и что «... мы должны рассматривать степень родства между членами больших семей языков как переменную величину, способную принимать различное значение...»⁴.

В самом деле, при установлении родства и степени родства языков практически основываются на двоякого рода критериях: 1) действительном историческом соотношении соответствующих языков в плане общности их происхождения, известном по тем или иным историческим источникам; 2) степени материальной и структурной близости языков. Использование каждого из этих критериев в отдельности (а во многих случаях лингвисты располагают только данными последнего рода) может привести к различным результатам при установлении степени родства языков. Так, например, если бы не была известна действительная история происхождения

¹ Подобные явления имеют место в пределах и других генетических группировок. Так Г. В. Церетели, останавливаясь в этой связи на семитских языках, отмечает, что «генетически родственные языки вследствие различных условий развития могут принадлежать к различным структурно-типологическим группам» и что «в семитских языках имеется множество примеров для доказательств этого положения» (Г. В. Церетели, О языковом родстве и языковых союзах, ВЯ, 1968, 3, стр. 9).

² См.: Е. В. Пузицкий, Качинский язык, М., 1968, стр. 61—62 и сл.
³ Э. Бенвенист, Классификация языков, сб. «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 49.

⁴ Там же, стр. 44, 45.

французского языка, то степень его материальной и структурной близости к латинскому языку могла бы дать основание для вывода, что его родство с латинским является более отдаленным, чем некоторых других романских языков как, например, итальянского.

Теоретически вполне допустимо предположить, что языки, имеющие общий источник происхождения, в ходе исторического развития могут настолько далеко отойти друг от друга в материальном и структурном отношении, что не останется каких-либо данных этого последнего рода, которые бы свидетельствовали о их родстве или по крайней мере о той степени их родства, которую они имеют в плане их действительного исторического происхождения.

Из сказанного следует, что общность или различие в происхождении языков не является тем решающим фактором, который однозначным образом определял бы структурные сходства и различия в строе естественных языков и закономерности развития их структур. Это дает также основание говорить об ограниченности объяснительной силы сравнительно-исторического метода при исследовании закономерностей развития структур естественных языков, факта их сходства и различия. Тем самым обосновывается самостоятельное значение и необходимость типологических исследований в целях решения указанных проблем.

Причина того, что фактор общности или различия происхождения языков в своем воздействии на закономерности развития языкового строя имеет определенные ограничения, коренится, по-видимому, в фундаментальных свойствах языка как знаковой системы, а именно произвольности языкового знака, т. е. в отсутствии органической связи, или подобия между двумя его компонентами — обозначающим и обозначаемым, а в конечном счете в функциональном назначении языка, поскольку язык может выполнять свою основную функцию средства осуществления абстрактного обобщенного мышления и передачи абстрактных мыслей только благодаря тому, что обозначающее как компонент языкового знака не имеет ничего общего с его вторым компонентом — обозначаемым, имеющим абстрактный характер⁵.

II. Цели и задачи типологических исследований не оставались неизменными со времени их возникновения. По-разному определяются они в различных направлениях типологии и на современном этапе ее развития.

Типологические исследования XIX в. подобно сравнительно-историческим исследованиям этого периода в своих истоках испытали влияние идей современной им биологии (ботаники и зоологии) и прежде всех таких их разделов, как систематика. Типологические исследования этого периода носили односторонний характер и сводились к установлению морфологических типов языков и подведению всех существующих языков под эти типы подобно тому, как это делалось в биологии при распределении всех растений и животных по видам, родам, классам и т. п. Морфологическая классификация языков, созданная в этот период, не ставила перед собой задачи выявления того общего, что свойственно различным морфологическим типам языков.

Как антитезу этому направлению в типологии можно рассматривать развиваемую в последнее десятилетие точку зрения, согласно которой основная задача типологических исследований должна заключаться как раз

⁵ См. об этом подробнее: В. З. П а н ф и л о в, К вопросу о соотношении языка и мышления, сб. «Мышление и язык», М., 1957, стр. 149—151; V. Z. P a n f i l o v, A propos des rapports entre la langue et la pensée, «Recherches internationales à la lumière du marxisme», 7 — Linguistique, Paris, 1958, стр. 77—79; V. Z. P a n f i l o v, Acerca de la correlacion existente entre el lenguaje y el pensamiento, «Pensamiento y lenguaje», Montevideo, 1959, стр. 188—192.

в выявлении того общего, что свойственно всем языкам мира. Так, по мнению Р. Якобсона, «генетический метод имеет дело с родством, ареальный — со родством языка, а типологический — с изоморфизмом»⁶. Вслед за Р. Якобсоном аналогичное положение выдвигает Б. А. Успенский: «... одна из основных задач типологии — построение общей теории языка, выявление универсальных (действительных для любого языка) соотношений или черт, или языковых у н и в е р с а л и й»⁷.

Выявление общих черт, свойственных всем языкам мира, несомненно является одной из основных, но не единственной целью типологических исследований. Такие общие черты должны иметь место во всех языках, хотя бы уже потому, что все естественные языки выполняют одну и ту же функцию — функцию средства осуществления абстрактного обобщенного мышления и передачи абстрактной мысли. Однако наличие таких общих черт, свойственных всем языкам, отнюдь не объясняет тех существенных различий, которые имеются между языками, и тех общих черт, которые свойственны не всем, а лишь тем или иным группировкам языков. Подобно тому, как исследователь человеческого общества не может ограничиваться выявлением определяющих факторов, свойственных обществу на всех этапах его развития (т. е. способа производства материальных благ, включающего в себя производительные силы и производственные отношения), но должен также установить различные формы общества по тем существенным признакам, которыми они отграничиваются друг от друга (т. е. общественно-экономические формации в зависимости от различия в способе производства), и перед лингвистами встает задача, выявив общие черты, свойственные всем языкам, затем разбить их на определенные группы по тем существенным признакам, которые свойственны только каждой из них.

И. И. Мещанинов, имея в виду приведенное выше положение Р. Якобсона, справедливо писал: «Исторически сложившиеся языки шли своими путями развития, создавая определенные структурные типы, которые прослеживаются не в одних только группировках языков по выделяемым семьям. Каждый включаемый в их состав язык представляет собою выдержанную типовую единицу. Каждый такой язык объединяется с другими в одну группу по тому, что оказывается у них общим. Но этим „общим“ будет не то, что объединяет все языки земного шара, а то, что остается общим только для данной группировки»⁸ (разрядка наша.— В. П.).

Таким образом, задача типологических исследований состоит в установлении не только изоморфизма языков мира, но также и алломорфизма языков мира, причем одним из аспектов последних исследований, их непосредственной целью является также установление изоморфизма в пределах каждой из выделенных группировок языков.

⁶ См.: Р. Якобсон, Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языковедение, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 97.

⁷ См.: Б. А. Успенский, Структурная типология языков, М., 1965, стр. 11. См. также: В. Звегинцев, Современные направления в типологическом изучении языков, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 17; М. И. Бурлакова, Т. И. Николаева, Д. М. Сегал, В. Н. Топоров, Структурная типология и славянское языковедение, сб. «Структурно-типологические исследования», М., 1962, стр. 7. Следует, правда, отметить, что в иной связи задачи типологии определяются Б. А. Успенским более широко: «Такова первая задача типологии — выяснение изоморфных явлений, общих всем языкам. В то же время типология устанавливает какие-то признаки, присущие части языков. На этом основании можно классифицировать языки» (указ. соч., стр. 17).

⁸ И. И. Мещанинов, Типологические сопоставления и типология систем. ФН, 1958, 3, стр. 5.

Известные слабости типологических исследований прошлого периода и в особенности зыбкость критериев типологической классификации языков вызвали к жизни еще одно направление в типологии — так называемую характерологическую типологию, которая усматривает свою задачу в установлении специфических черт своеобразия каждого языка. Нельзя не согласиться с В. Скаличкой в том, «что характерологический метод может принести много ценного. Например, с его помощью можно выделить отдельные черты языка, резко отличающегося от других языков»⁹. Однако, с другой стороны, ясно, что выявление специфических черт того или иного языка, его своеобразия возможно только при условии проведения широких типологических сопоставлений языков, предполагающих установление признаков как общих всем языкам, так и свойственных только отдельным группировкам языков. Более того, очевидно, что установление специфических черт того или иного конкретного языка должно быть не начальным, а завершающим этапом типологических исследований и что принадлежность того или иного языка к определенному типу не может определяться по признакам, специфическим только для данного конкретного языка.

Таким образом, представленные в современных типологических исследованиях различные направления в конечном счете не исключают, а скорее могут дополнить друг друга, если отказаться от того ограниченного понимания задач типологии, которые каждое из них ставит перед собой.

В основе типологической классификации языков лежит тот же логический принцип, та же логическая схема, что и в основе генеалогической классификации языков, а именно принцип родо-видовых отношений понятий, принцип разбиения объема более широкого (родового) понятия на входящие в его состав более узкие (видовые) понятия. Но если при генеалогической классификации языков основанием деления понятия «естественные языки» на понятия индоевропейской, семитской, алтайской и других семей языков является признак общности происхождения, а основанием для последующего деления семей языков на более узкие группировки — признак степени родства, то при типологической классификации учитываются структурные черты языков независимо от признака общности или различия их происхождения.

В идеале типологическая классификация языков должна была бы быть представлена в виде логической схемы, в основании которой находится понятие «естественные языки», противопоставляемое понятию «искусственные языки» в пределах более широкого понятия «знаковые системы». Понятие «естественные языки» как родовое в свою очередь должно подразделяться на видовые понятия различных типов языков, которые отграничиваются друг от друга по свойственным только каждому из них признакам. Конечным этапом такой типологической классификации языков будет разделение понятия типа языков на единичные понятия конкретных языков с указанием признаков, специфичных только для каждого из этих языков.

Однако состояние типологических исследований в настоящее время таково, что подвергается сомнению сама возможность дать типологическую классификацию языков хотя бы в обозримом будущем и некоторыми авторами принципиально отрицается возможность отнесения того или иного конкретного языка, взятого в целом, к определенному структурному типу языков. Так, по мнению крупнейшего типолога нашего времени]В. Ска-

⁹ В. Скаличка, О современном состоянии типологии, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 28.

лички, «классификационный принцип, относящий языки как целое к определенному типу, изжил себя»¹⁰. Развивая это положение, В. Скаличка пишет: «... отдельные явления языка (морфологические, синтаксические, фонетико-комбинаторные, словообразовательные) находятся во взаимной связи, причем их соседство может быть положительным или отрицательным. Сумма свободно сосуществующих явлений называется типом. Подобных типов, по нашему мнению, существует пять: флективный, интрофлексивный, агглютинативный, изолирующий, полисинтетический»¹¹.

Характеризуя каждый из этих языковых типов совокупностью определенных черт, В. Скаличка считает, что «в конкретном языке различные типы реализуются одновременно»¹², и объясняет это двумя причинами: 1) «если допустить, что явления языка квантитативны, то и тип в языке должен осуществляться только в определенной степени...; 2) взаимоотношения лингвистических явлений в большинстве случаев только вероятны, а не обязательны»¹³. В той мере, в какой критические замечания В. Скалички направлены в адрес традиционной морфологической классификации XIX в., которая, по словам Э. Бенвениста, «не является ни исчерпывающей, ни последовательной, ни строгой»¹⁴, они представляются вполне оправданными.

Весьма плодотворным является и развиваемое В. Скаличкой направление типологических исследований, которое ставит своей задачей выявление различных комплексов взаимообусловленных черт языковых структур. Однако известные недостатки или даже полная несостоятельность традиционной морфологической классификации сами по себе еще не дают основания отрицать принципиальную возможность создания такой типологической классификации языков как завершающего этапа типологических исследований, которая бы, используя тот или иной *principium divisionis*, относила каждый язык в целом к определенному типу. Представляется, что отрицание возможности такой классификации языков в конечном счете подрывает сам принцип системной организации языковых явлений, наличия закономерных необходимых связей языковых элементов, а именно такие связи (но не связи вероятные или случайные) и должны учитываться при типологической классификации языков. Очевидно, что принцип системного анализа языковых структур в целях определения их принадлежности к тому или иному языковому типу предполагает не просто учет взаимозависимости сосуществующих черт, а выделение таких черт языковой структуры, которые являются ее определяющими, ведущими чертами¹⁵.

¹⁰ В. Скаличка, указ. соч., стр. 28.

¹¹ Там же, стр. 34. См. также: В. Скаличка, К вопросу о типологии, ВЯ, 1966, 4, стр. 28 и сл.

¹² В. Скаличка, О современном состоянии типологии, стр. 34.

¹³ В. Скаличка, К вопросу о типологии, стр. 28.

¹⁴ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 50.

¹⁵ В частности, этот принцип не учитывается теми авторами, которые вслед за В. Гумбольдтом считают возможным выделять в качестве особого языкового типа наряду с языками флективными, изолирующими и агглютинативными так называемые инкорпорирующие языки. Нам уже приходилось отмечать, что в тех языках, где инкорпорирование действительно существует как особый прием выражения синтаксических отношений, он обусловлен агглютинативной природой слова в этих языках, т. е. не является определяющей чертой структуры этих языков, в силу чего нет оснований выделять эти языки в особый тип инкорпорирующих языков (см.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 2, М.—Л., 1965, стр. 24, примеч. 23). Необоснованность такого выделения особого инкорпорирующего типа языков убедительно показывает в своих последних работах В. Скаличка. Во-первых, В. Скаличка отмечает, что в некоторых языках, которые рядом исследователей рассматривались как инкорпорирующие, инкорпорация как таковая вообще отсутствует, как, например, в гилацком (нивхском) языке (см.: V. Skalička, Die Inkorporation und ihre

При таком подходе к типологической классификации языков совсем не исключается, что в конкретном языке, отнесенном к определенному типу по доминирующим чертам его структуры, могут наличествовать в той или иной степени черты другого языкового типа, которые, однако, не играют определяющей роли в структуре этого языка. Очевидно, что принцип «чистоты типа» не может быть решающим при классификации и в других областях явлений¹⁶; в этом отношении подход к типологической классификации языков не является исключением.

III. В самом общем виде задача типологических исследований может быть определена как установление закономерностей, имеющих место при реализации функции осуществления абстрактного обобщенного мышления в процессе внутренней и внешне выраженной речи (имеются в виду естественные языки). Конечная цель типологических исследований — создание типологической классификации языков мира — предполагает в качестве условия своего осуществления выявление критериев типологических сопоставлений на различных этапах этих исследований.

Логически в качестве первого этапа¹⁷ типологических сопоставлений может рассматриваться этап выявления того общего, что объединяет естественные языки с другими знаковыми системами, функционирующими в человеческом обществе. Учитывая, однако, что естественные языки являются знаковыми системами *sui generis*, и что, то, что их объединяет с искусственными знаковыми системами, вряд ли может считаться самой существенной характеристикой естественных языков хотя бы уже потому, что другие знаковые системы, функционирующие в человеческом обществе, по отношению к естественным языкам являются вторичными и не способны в полном объеме осуществлять их функции, можно исключить этот этап типологических сопоставлений без какого-либо существенного ущерба для дальнейшего хода типологических исследований.

Второй этап типологических исследований состоит в выявлении того общего, что характеризует все естественные языки, т. е. в выявлении, как писал И. И. Мещанинов, «общего для всех языков субстрата»¹⁸, или, употребляя современную терминологию, в установлении изоморфизма естественных языков. Абстрактно говоря, такими общими чертами, свойственными всем языкам мира, будут те элементы языковой структуры, без которых язык не может выполнять функции средства осуществления

Rolle in der Typologie, «Travaux linguistiques de Prague», 3, 1968, стр. 277). Далее, рассматривая те языки, где инкорпорация, определяемая им как соединение двух семантем в одно слово для выражения синтаксических связей (там же, стр. 276), действительно есть, В. Скаличка отмечает, что она существует в них только потому, что в этих языках слово достаточно отчетливо выделяется в синтагматическом и парадигматическом ряду, что наблюдается в агглютинативных и флективных языках (там же, стр. 276—277). Наконец, В. Скаличкой выдвигается в этой связи и такой убедительный аргумент, что «инкорпорация — это один типологический параметр, а не вид структуры языка» (см.: В. С к а л и ч к а, К вопросу о типологии, стр. 27), наличие которого только и может дать основание для выделения особого языкового типа.

¹⁶ Так, придерживаясь принципа «чистоты типа», можно было бы, например, отрицать принадлежность того или иного человеческого общества к определенной общественно-экономической формации, поскольку они не реализуются в чистом виде и, например, капиталистическая общественно-экономическая формация, существующая в том или ином обществе, нередко (а на первых этапах своего развития — всегда) сохраняет элементы предшествующей ей феодальной общественно-экономической формации, в том числе в области производственных отношений.

¹⁷ Выделяемые здесь этапы (или точнее: аспекты) типологических исследований даются в такой последовательности с точки зрения условий и порядка осуществления логической операции деления понятия «естественные языки», а не реального хода этих исследований. В действительности установление признаков, свойственных всем языкам, признаков, свойственных отдельным группам языков, и т. п. может происходить в иной последовательности.

¹⁸ И. И. Мещанинов, Структура предложения, М.—Л., 1963, стр. 7.

абстрактного обобщенного мышления. Функцией средства осуществления языком абстрактного обобщенного мышления на современном этапе его развития обусловлено существование во всех языках таких языковых единиц, как слово, словосочетание и предложение, а также логико-грамматического уровня предложения, на котором структура выражаемой в нем мысли маркируется особыми языковыми средствами¹⁹. Предложения на различных языках, как бы резко они не отличались друг от друга в типологическом отношении, на логико-грамматическом уровне будут иметь одну и ту же структуру, если всеми ими выражается одна и та же мысль. При общности структуры всех этих предложений на логико-грамматическом уровне языковые средства ее выражения будут различными, так же как различным может быть и их членение (структура) на синтаксическом уровне²⁰.

Исследования в области установления языковых универсалий, которые ведутся в последние 10—15 лет в зарубежном языковедении, во многом будут способствовать конкретизации сформулированного выше положения, особенно если они будут проводиться с учетом возможностей реализации основных языковых функций. Очевидно, однако, что отнюдь не все виды универсалий войдут в то общее, что свойственно всем языкам мира. В частности, сюда не войдут имплицативные универсалии типа: «Если *A*, то *B*», поскольку не утверждается наличие *A* во всех языках мира. Не могут быть включены в это «общее» также и статистические универсалии.

Следует отметить, что исследования по установлению языковых универсалий во многом предвосхищены в типологических исследованиях И. И. Мещанинова, в частности, в его учении о понятийных категориях. Как отмечает И. И. Мещанинов, «такие выражаемые языком понятия, как субъект, предикат, атрибут, объект, и существующие между ними отношения (имеются в виду предикативные, объектные и атрибутивные отношения. — *B. П.*) свойственны человеческой речи вообще. Они выступают во всех без исключения языках и не нуждаются поэтому ни в каких „статистических подсчетах“»²¹. Менее убедительно положение И. И. Мещанинова о том, что «подлежащее, сказуемое, дополнение и определение являются общезыковыми категориями»²². В частности, здесь возникает вопрос о том, в какой мере это утверждение справедливо в отношении языков, в которых отсутствует или слабо выражена морфологизация членов предложения.

Поскольку наличие «общезыкового субстрата» не исключает различия в способах реализации языковых функций, на третьем этапе типологических исследований основная задача состоит в выделении и классификации этих способов, или, иными словами, различных типов языковых структур. Наличие ограниченного количества типов языковых структур, равно как и исторически засвидетельствованные факты развития некоторых языков по спирали, когда они в той или иной мере возвращаются к ранее пережитому ими состоянию своей структуры, свидетельствуют о том, что на способы реализации языковых функций налагаются определенные ограничения, обусловленные природой выполняемых ими функций.

Существуют определенные логические требования, предъявляемые к любой научной классификации тех или иных объектов, и определенные пра-

¹⁹ См.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М.—Л., 1963; V. Z. Panfilov, Grammar and logic, The Hague — Paris, 1968.

²⁰ V. Z. Panfilov, Grammar and logic.

²¹ И. И. Мещанинов, Типологические сопоставления и типология систем, стр. 4.

²² И. И. Мещанинов, Структура предложения, стр. 7; см. также стр. 14, 33, 82, 86.

вила логической операции деления понятий, лежащей в основе любой классификации. Научная классификация ставит перед собой задачу распределить предметы на классы по их существенным признакам. При этом одно из основных правил логической операции деления понятий состоит в том, что такое деление должно производиться по единому основанию, т. е. при распределении предметов на отдельные классы должен применяться один и тот же признак или совокупность одних и тех же признаков при выделении всех классов предметов. Второе правило логической операции деления понятий гласит, что члены деления должны исключать друг друга и деление должно быть исчерпывающим. Это означает, что, во-первых, в результате классификации предметов по тем или иным признакам все они должны быть распределены по классам и ни один из них не может оказаться вне полученных классов, а во-вторых, каждый из классифицируемых предметов может быть включен в состав только одного класса и не может одновременно относиться к двум или более классам.

Как известно, в типологии XIX в. и последующей традиции в качестве признака, по которому все языки мира распределялись на отдельные группировки (типы языков), использовался характер морфологической структуры слова, а, точнее говоря, типологическая классификация основывалась на различиях в способе объединения в составе слова корня и его служебных компонентов. Практически при этом учитывался также и характер значений служебных элементов в составе слова, как, например, однозначность и конкретность значений агглютинативных и многозначность и абстрактность значений флективных служебных элементов слова.

Традиционная морфологическая классификация языков страдала рядом существенных недостатков, вследствие чего была подвергнута сомнению научная ценность типологической классификации языков вообще и принципиальная ее осуществимость. В частности, указывалось, что не все языки мира могли быть распределены по выделяемым в этой классификации типам, что некоторые языки могли быть одновременно отнесены к двум морфологическим типам, поскольку они использовали различные способы объединения в составе слова корня и служебных элементов, т. е. что нарушались основные принципы научной классификации объектов²³. Очевидно, что причины такого рода недостатков старой морфологической классификации коренились в исходных принципах классификации, т. е. в выборе *principium divisionis*. В этой связи более существенной представляется та критика в адрес традиционной морфологической классификации, которая указывала на односторонность и отсутствие системного подхода при типологических сопоставлениях, на неопределенность и многозначность понятий, лежащих в основе этой классификации²⁴.

Недостатки традиционной морфологической классификации языков привели к созданию типологических классификаций иного типа, в которых в качестве критериев выделения различных типов языков использовались различия в синтаксической структуре предложения (типологические классификации И. И. Мещанинова, Т. Милевского и С. Е. Базелля) и даже различия в фонематических системах языков.

Однако едва ли есть серьезные основания для отказа от слова в качестве основания типологической классификации языков. Учитывая системный характер языка, в целях типологической классификации языков

²³ Правда, попутно следует отметить, что почти те же самые логические недостатки генеалогической классификации не помешали широкому разворачиванию сравнительно-исторических исследований и не вызвали сомнения в научной ценности генеалогической классификации языков.

²⁴ См., например: Д ж. Г р и н б е р г, Квантитативный подход к морфологической типологии языков, сб. «Новое в лингвистике», III, стр. 68—69.

должны использоваться такие компоненты языковой структуры, которые являются ее ведущим звеном и характер которых определяет свойства других звеньев языковой структуры. Таким требованиям во всяком случае не удовлетворяет ни фонема, ни морфема, но удовлетворяет слово.

Слово является наименьшей языковой единицей, которая обладает значением, актуализируемым как в синтагматическом, так и в парадигматическом ряду, в то время как значение морфемы актуализируется только в парадигматическом ряду. Далее, слово является наименьшей языковой единицей, способной выразить понятие в линейной синтагматическом ряду. Наконец, слово является наименьшей языковой единицей, способной быть носителем предикативности (однословное предложение)²⁵. Эти свойства слова как языковой единицы позволяют считать, что оно обладает свойствами языкового знака в большей мере, чем другие языковые единицы. В силу этого слово представляет собой основную языковую единицу, с которой непосредственно связано существование и функционирование других языковых единиц (фонемы, морфемы, модели словосочетания и предложения).

Если исходить из того, что задача типологии состоит в установлении способов, закономерностей реализации функции языка как средства осуществления абстрактного обобщенного мышления, то можно сказать, что различия в характере слова также являются наиболее существенными и показательными для установления различий в этих способах и закономерностях.

Можно было бы думать, что с точки зрения способа реализации указанной языковой функции по сравнению со словом более важную роль в системе языка играет предложение. В самом деле, предложение является такой наименьшей языковой единицей, при помощи которой выражается относительно законченный акт мысли. Однако предложение как языковая единица не включает в себя то конкретное содержание, которое выражается с его помощью. Если рассматривать предложение как языковой знак, то обозначаемым этого знака будет не конкретное содержание предложения, а значение его модели. Следовательно, содержание предложения не может выступать как предмет типологических сопоставлений²⁶.

Что же касается структуры предложения, то она несомненно зависит от характера слова, от того, в какой мере в слове соответствующего языка представлены показатели лексических и грамматических значений, конституирующих его значение наряду с корневой морфемой или обслуживающих такие языковые единицы, как словосочетание и предложение; иначе говоря, между структурой слова и структурой предложения существует определенная корреляция. Неслучайно поэтому, что в синтаксической типологии И. И. Мещанинова, учитывающей способы выражения таких общезыковых отношений, как предикативные, объектные, атрибутивные, на этой основе выделяются такие конструкции предложения, как аморфные, синтаксико-морфологические, флективно-аналитические, аналитические и т. п.²⁷. Поэтому не отказываясь от учета структуры предложения при типологических сопоставлениях языков, следует иметь в виду, что она не может считаться независимым типологическим признаком в той мере, в какой различия в структуре предложения обусловлены природой слова и могут быть охарактеризованы в связи с теми различиями природы слова, которые имеют место в языках разных типов. Следовательно, во-

²⁵ См. об этом подробнее: В. З. П а н ф и л о в, Грамматика и логика, стр. 6—10; V. Z. P a n f i l o v, Grammar and logic, стр. 11—14.

²⁶ Ср.: В. С к а л и ч к а, Типология и тождественность языков, сб. «Исследования по структурной типологии», 1963, стр. 32.

²⁷ См.: И. И. М е щ а н и н о в, Структура предложения, стр. 17 и сл.

прос должен стоять не о том, чтобы отказаться от слова как основания типологической классификации языков, а о том, какие именно признаки слова должны учитываться при такой классификации.

Как отмечал Дж. Гринберг, «какими бы несовершенными ни казались сейчас рассуждения ученых XIX в. на эту тему, все же главного достоинства выдвинутых схем отрицать нельзя. В качестве основы для классификации инстинктивно было найдено нечто, имеющее кардинальное значение для всесторонней общей характеристики языка, а именно морфологическая структура слова...»²⁸.

Значительный шаг вперед в преодолении недостатков и односторонности традиционной морфологической классификации сделал Э. Сепир. Сохраняя способ объединения в составе слова его компонентов в качестве одного из типологических признаков, Э. Сепир вводит два дополнительных признака, также характеризующих слово. По признаку различия в технике, способе объединения в составе слова корня и его служебных компонентов Э. Сепир подразделяет языки на изолирующие, агглютинирующие, фузионные и символические, причем под символизмом имеется в виду явление внутренней флексии. Второй признак слова, который, по мнению Э. Сепира, также должен учитываться при типологической классификации языков, — это степень синтетизма, степень сложности слова в целом, а именно то, в какой мере слово усложнено за счет присутствия в нем различных некорневых элементов. По этому признаку Э. Сепир выделяет три типа языков: аналитические, синтетические и полисинтетические.

Наиболее существенным для типологической классификации языков Э. Сепир считает третий признак, касающийся плана содержания слова и его составных компонентов. Выделяя четыре типа понятий, получающих выражение в составе слова в различных языках — конкретные понятия, передаваемые корнями (I), деривационные понятия, выражаемые словообразовательными аффиксами (II), конкретно-реляционные понятия типа значений числа, рода (III) и чисто-реляционные понятия, служащие для передачи связей между словами в составе предложения (IV), — Э. Сепир предлагает учитывать при распределении языков по классам, какие именно из этих понятий находят отражение в составе слова. В соответствии с этим Э. Сепир выделяет четыре типа языков: класс А (I и IV типы понятий), класс В (I, II, IV типы понятий), класс С (I, III, IV типы понятий), класс D (I, II, III, IV типы понятий).

Типологическая концепция Э. Сепира также не свободна от недостатков. Прежде всего возникает вопрос о том, в каких отношениях находятся выдвинутые им три признака слова. По мнению Э. Бенвениста, эти признаки находятся в отношении соподчинения²⁹, а Дж. Гринберг, напротив, считает, что эти признаки являются независимыми друг от друга³⁰. И та, и другая точки зрения справедливы только отчасти. Так, если говорить о соотношении техники, способа соединения компонентов слова и степени синтетичности слова, то, по-видимому, эти признаки являются независимыми друг от друга, а не находятся в отношении соподчинения. Но если брать признак степени синтетичности слова и признак, учитывающий, какие именно понятия получают выражение в составе слова, то эти признаки не могут считаться независимыми друг от друга: очевидно, что чем больше степень синтетичности слова, тем в большей мере в составе слова находят свое отражение конкретно-реляционные, чисто-реляционные понятия, т. е. эти признаки находятся в отношении прямо пропорциональной зависимости.

²⁸ Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 64.

²⁹ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 53.

³⁰ Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 69.

Если учитывать характер соотношения двух последних признаков, а также то, что «... в своем делении языков на четыре основных типа Сешир, казалось бы, говорит о понятиях, но в действительности исходит из формальных критериев, а не из семантических...»³¹ (поскольку в различных языках одно и то же понятие, как, например, понятие множественности, может быть отнесено к различным формальным классам), то третий признак слова в классификации Э. Сешира, по-видимому, не оснований рассматривать в качестве независимого типологического наравне с двумя первыми признаками.

Следует согласиться с Дж. Гринбергом в том, что выделение изолирующих языков по технике построения слова неоправдано: «Изоляция — это способ связи, так же как и другие приемы, но применяется он почти исключительно к словам, поскольку относительный порядок расположения элементов внутри слова имеет значение лишь в редких случаях»³².

Оценивая типологическую концепцию Э. Сешира в целом, Э. Бенвенист отмечает ее ограниченность: «Если сравнить между собой два неродственных, но типологически сходных языка, то становится ясно, что аналогия в способе построения форм является лишь внешней чертой, и поэтому внутренняя структура вообще не выявляется»³³. Принципиально с иных позиций подходит к вопросу о предмете типологических исследований В. Скаличка. По его мнению, «типология имеет отношение в первую очередь к областям морфологии (отсюда понятно, почему очень часто встречается термин „морфологическая классификация“) и фонетики; синтаксис и лексика являются лишь второстепенными областями применения типологии»³⁴.

Приведенное выше положение Э. Бенвениста имеет известные основания, поскольку оно опирается на факт асимметрии языкового знака, на отсутствие изоморфизма между планом языкового выражения и планом языкового содержания. Однако при этом следует учитывать также следующие два момента: во-первых, принцип асимметрии языкового знака не предполагает, что между планом содержания и планом выражения отсутствует всякое соответствие; во-вторых, асимметрия такого языкового знака как слово устраняется в синтагматическом ряду, когда оно выступает в составе предложения, благодаря чему только и становится возможным осуществление функции общения.

Что же касается критериев типологической классификации, выдвинутых Э. Сеширом, — степени синтетизма и техники построения слова, — то выделенные по этим как будто чисто формальным признакам типы языков отличаются друг от друга по другим существенным моментам, имеющим непосредственное отношение к глубинным свойствам их структуры и, в частности, плана языкового содержания.

Уже отмечалось, что, например, языки синтетическо-агглютинативные типа нивхского и, в особенности, языки аналитическо-агглютинативные типа китайского существенно отличаются от флективно-синтетических языков по характеру грамматических категорий, начиная от частей речи и кончая структурой грамматических категорий типа грамматического числа, вида и т. п.³⁵

³¹ Дж. Гринберг, указ. соч., стр. 73.

³² Там же, стр. 73—74.

³³ Э. Бенвенист, указ. соч., стр. 54. Ср. также: Ж. Вандриес, Язык, М., 1937, стр. 315.

³⁴ В. Скаличка, К вопросу о типологии, стр. 24.

³⁵ См.: В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, Тезисы докладов «Понятие агглютинации и агглютинативного типа языков», Л., 1961, стр. 31—32; его же, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3, стр. 81—82; Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, О типологии

По-видимому, можно предполагать, что выделенные на основании указанных признаков слова типа языков будут отличаться по степени изоморфизма между планом языкового содержания и планом языкового выражения. Так, например, степень изоморфизма между этими планами в языках синтетическо-агглютинативных (I тип) или полисинтетическо-агглютинативных (II тип) будет большей, чем в языках синтетическо-фузионных (III тип) или синтетическо-символических (IV тип).

Действительно, языкам I и II типа в отличие от языков III и IV типа в общем и целом свойственна тенденция, состоящая в том, что каждая морфема в линейном ряду выражает только одно значение и, наоборот, каждое значение выражается только одной морфемой. В результате в отношении плана содержания свойство линейности выдерживается в языках I и II типа более последовательно, чем в языках III и IV типа. При этом бесспорно, что свойство «одна морфема — одно значение», наблюдаемое в языках I и II типа, обусловлено или оказывается возможным благодаря агглютинативной технике объединения в составе слова корня и его служебных элементов³⁶.

Установленные по указанным признакам типы языков отличаются также по характеру соотношения уровней языковой структуры. Так, например, степень расхождения между синтаксическим и логико-грамматическим уровнем в языках аналитическо-агглютинативного типа будет несомненно меньшей, чем в языках синтетическо-агглютинативных или синтетическо-флективных³⁷.

В проблематике типологических исследований значительное место занимал вопрос о том, не обусловлено ли наличие различных типов языков различиями в характере мышления соответствующих народов и не являются ли различные типы языков последовательными ступенями развития языка, возникшими в связи с исторической сменой типов мышления. Широкое распространение в последнее время получила и противоположная точка зрения, согласно которой язык, как и другие знаковые системы, представляет собой модель мира и характер (тип) языка определяет характер мышления и отражения действительности (гипотеза Сепира — Уорфа, некоторые направления в семиотике, направление лингвистической философии).

Сама по себе постановка вопроса о том, что коренные изменения в типе мышления должны сопровождаться столь же существенными изменениями в типе языка, представляется правомерной, если исходить из того, что язык является средством осуществления мышления. Однако нет каких-либо достаточно серьезных оснований полагать, что представленные в существующих языках различные языковые типы обусловлены качественными различиями, различиями в типе мышления соответствующих народов. Мышление всех современных народов к а ч е с т в е н н о является одним и тем же, и можно говорить лишь о различиях в степени развития тех или иных его сторон³⁸. Представленные современными языками языковые типы следует рассматривать как различные способы реализации функции средства осуществления абстрактного и обобщенного мышления, свойственного всему человечеству, и тот факт, что в связи с выявлением типологи-

грамматических категорий, ВЯ, 1965, 1; см. также: «Zeichen und System der Sprache», III, Berlin, 1966.

³⁶ См.: В. З. Панфилов, О происхождении склонения в нивхском языке, ВЯ, 1963, 3; Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, указ. соч.

³⁷ См.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, стр. 76.

³⁸ См.: В. З. Панфилов, К вопросу о соотношении языка и мышления. В этой статье, в частности, дается критика теории Леви-Брюля о дологическом мышлении так называемых первобытных народов.

ческих констант на первый план выдвигаются различия плана выражения, может послужить одним из доказательств этого положения.

Это, конечно, не исключает того, что некоторые типологические различия обусловлены неодинаковой степенью развития тех или иных сторон абстрактного обобщенного мышления. В частности, представляется несомненной связь между степенью развития в тех или иных языках сложного предложения и степенью развития таких форм мышления, как суждение и умозаключение.

Далее, по-видимому, можно утверждать, что характер взаимоотношения языка и мышления в известной степени варьируется в связи с различием языковых типов. Так, взаимоотношение мышления и языка носит более сложный и опосредованный характер в тех случаях, когда оно осуществляется посредством синтетических, и, в особенности, синтетическо-фузионных и синтетическо-символических языков, чем в тех случаях, когда средством его осуществления является язык аналитического типа. В частности, в аналитическо-агглютинативных языках (V тип), если даже есть основания выделять в них наряду с логико-грамматическим также и синтаксический уровень, структура предложения в общем и целом будет в большей мере соответствовать структуре выражаемой в нем мысли, чем в языках синтетическо-фузионных и синтетическо-символических. В целом языки III и IV типов проявляют относительно большую самостоятельность, чем языки V типа в том единстве, которое они образуют с мышлением.

*

Любая научная классификация не является самоцелью и она оправдана в той мере, в какой она фиксирует объективные закономерности и учитывает существенные свойства классифицируемых объектов. Ф. Энгельс отмечал, что научные классификации имеют относительный, приближительный характер, поскольку в природе существуют переходные формы, которые по своим свойствам занимают промежуточное положение между различными группами классифицируемых предметов³⁹ и указывал, что «hard and fast lines несовместимы с теорией развития»⁴⁰.

Рассматриваемая типологическая классификация языков в этом отношении, по-видимому, не представляет исключения, и, вероятно, существуют языки, занимающие промежуточное положение между выделяемыми в этой классификации языковыми типами. Однако поскольку это обусловлено природой самих классифицируемых объектов, а не является результатом нарушения правил логической операции деления понятий и, в частности, не результатом ошибочного выбора *principium divisionis*, факт наличия «промежуточных» языков не может поставить под сомнение научную ценность такой типологической классификации языков.

³⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 20, М., 1961, стр. 13—14, 353—354.

⁴⁰ Там же, стр. 527.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. В. РАЕВСКИЙ

ВЕРХНЕНЕМЕЦКОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СОГЛАСНЫХ
И ФАКТОРЫ ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

Передвижения согласных в отдельных германских диалектах и языках принадлежат к числу наиболее загадочных по своим причинам и форме проявления процессов в истории германских языков. Отсюда понятен устойчивый интерес к этим явлениям на протяжении почти полутора столетий, понятно количество теорий, возникших за это время и призванных объяснить, что представляют собой передвижения согласных¹.

В настоящее время наука располагает довольно полными данными об антропофонической стороне передвижений согласных², установлена последовательность их отдельных «актов»³, явления передвижений согласных получили фонологическую интерпретацию⁴. Однако вопрос о причинах передвижений согласных изучен еще не столь детально и говорить о единстве мнений в нем не приходится. В современной науке выделяются три основных направления в объяснении причин передвижений согласных в германских языках: 1) теории, объясняющие передвижения согласных действием фонетической тенденции к артикуляторному ослаблению или усилению смычных (или обеих тенденций вместе)⁵; 2) теории, объясняющие передвижения согласных действием просодических факторов (сильного экспираторного удара на корневом слоге⁶, чередования различных слоговых акцентов⁷); 3) теории, объясняющие передвижения согласных либо сдвигами во взаимоотношениях коррелировавших друг с другом

¹ О библиографии вопроса см.: Э. А. Макаев, Система согласных фонем в германских языках, «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 28—29, примеч. 42; см. также стр. 31—40.

² Ср.: H. A b r a h a m s, Etudes phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques, Aarhus, 1949.

³ Ср.: E. S c h w a r z, Die althochdeutsche Lautverschiebung im Albairischen, PBB, 50, 1927.

⁴ J. F o u r q u e t, Les mutations consonantiques du germanique. Essai de position des problèmes, Paris, 1948, стр. 1—4, 14; особенно см.: М. И. Стеблин-Каменский, Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков, Л., 1966, стр. 90—107.

⁵ См., например: A. S c h m i t t, Zur germanischen und hochdeutschen Lautverschiebung, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft», 3, № 1—2, 1949; L. Z a b r o s k i, Siłnienie i lenicja w językach indoeuropejskich i w ugrofińskim, Poznań, 1951.

⁶ Ср., например: В. М. Жирмунский, Немецкая диалектология, М.—Л., 1956.

⁷ С. Д. Кацнельсон, Сравнительная акцентология германских языков, М.—Л., 1966, стр. 301—304; в работе последовательно вскрывается связь между просодическими и фонематическими явлениями.

смычных⁸, либо стремлением избежать возникновения омофонов в результате совпадения фонем⁹.

Если исследовать передвижения согласных с историко-фонологических позиций и исходить из понятия смены корреляции как основного в передвижениях согласных¹⁰, то необходимо по определению прежде всего искать ведущий фактор или основную причину передвижений в предшествующем состоянии системы шумных согласных фонем. При этом представляется целесообразным обратить особое внимание на взаимоотношения между всеми сериями шумных, а не только между сериями смычных, так как трудно предположить, чтобы различительные признаки, которые сменялись в корреляции, объединявшей смычные, были фонологически иррелевантными для германских щелевых¹¹. Думается также, что диктуемая внутрисистемными причинами смена корреляции получала ту или иную материальную форму проявления в артикуляциях и звуках в зависимости от антропофонических характеристик тех звуков, которым в связи с переменами в их взаимоотношениях предстояло подвергнуться передвижению. Антропофонические же характеристики соответствующих звуков зависели как от особенностей германской артикуляционной базы, так и от просодических отношений, свойственных германскому языку-основе поздней поры. Последние имели, по-видимому, важнейшее значение для процессов передвижения согласных в различных германских диалектах и языках как факторы, регулировавшие распределение фонационной энергии в слове, а следовательно, и варьирование представителей шумных фонем по степени проявления того или иного признака в различных позициях¹².

Таким образом, вырисовывается следующее возможное распределение функций системного, антропофонического и просодического моментов в процессах передвижений согласных: системный фактор — движущая сила фонологической эволюции, определяющая необходимость смены различительного признака; антропофонический фактор — субстанция, определяющая выбор признака, который должен прийти на смену прежнему; просодический фактор — сила, определяющая распределение различительных и сопутствующих им признаков в антропофоническом субстрате представителей шумных фонем в конкретных позициях.

В настоящей статье изложенные выше соображения применены к анализу эволюции германского шумного консонантизма на почве эрминонских диалектов, в которых наиболее заметное по своим фонетическим последствиям передвижение согласных из имевших место в отдельных германских диалектах и языках — верхненемецкое — прошло последовательнее всего. В связи с этим оказалось необходимым попытаться восстановить ход развития, которое могло привести к необходимости смены корреляции именно в эрминонском в отличие от остального западногерманского. Наиболее естественным путем для этого является интерпретация данных, хорошо известных из сравнительно-исторической фонетики германских языков, с позиций диахронической фонологии. В качестве исходного пункта было избрано состояние шумного консонантизма, возникшее в результате германского передвижения согласных. Как промежуточные вехи в развитии германского шумного консонантизма рассматривались следующие

⁸ J. Kuryłowicz, Le sens des mutations consonantiques, «Lingua», I, 1, 1948, стр. 81—82.

⁹ E. K r a n z m a u e r, Historische Lautgeographie des gesamt bayrischen Dialektraumes, Wien, 1956, стр. 15.

¹⁰ М. И. Стеблин-Каменский, указ. соч., стр. 90.

¹¹ Ср., однако: А. М а р т и н е, Принципы экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 236—237.

¹² С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 300 и сл.

щие звуковые изменения: появление у фонемы /x/ фарингальных аллофонов; переход [d] в [d] во всех позициях; западногерманское удлинение согласных; озвончение глухих щелевых в звонком окружении.

Система шумных согласных в общегерманском. Обычно состояние шумного консонантизма в общегерманском определяется следующим образом: он включал в себя глухие смычные *p, t, k*, глухие щелевые *f, þ, x*, звонкие смычные *b, d, g* и звонкие щелевые *þ, ð, g*, а также унаследованный из индоевропейского глухой сибилант *s*. В этих классах шумных согласных реализовалась трехсерийная система фонем: глухие смычные /*p t k*/, глухие щелевые /*f þ s x*/ и звонкие щелевые /*þ ð g*/, имевшие, однако, позиционные смычные аллофоны¹³.

Последнее обстоятельство позволяет предположить, что различие по смычности—щеливости было для фонем /*þ ð g*/ в этот период фонологически несущественным. Тем самым фонемы /*þ ð g*/ как звонкие *ш у м н ы е* резко обособляются по своему фонологическому содержанию от остальных двух серий, которые объединяются по общему им обоим признаку глухости в подсистему глухих шумных согласных.

Из факта различного отражения исконной корреляции звонкости¹⁴ в отдельных германских языках вытекает предположение о том, что в разных частях германского языка-основы звонкости и глухости могли сосуществовать различные дополнительные, в известной мере избыточные, признаки. Назначением их было дополнительное различие противопоставляющихся друг другу серий фонем /*þ ð g*/ — /*f þ x*/ — /*p t k*/.

Таковыми признаками, уже присутствовавшими в фонетических реализациях германских шумных согласных фонем, были возникшие как следствие процессов германского передвижения согласных признак артикуляционной слабости (ненапряженности), свойственный глухим щелевым и звонким шумным, и признак артикуляционной силы (напряженности), присущий глухим смычным. Впоследствии глухие смычные в тех положениях, где они противопоставлялись звонким смычным, приобретали также признак придыхательности¹⁵.

Все эти признаки, по-видимому, выступали в позиции максимального различения совместно («сплав корреляций» по Н. С. Трубецкому¹⁶). Такой «сплав корреляций» был как бы материальной предпосылкой и основой для смены корреляций, если бы в системе шумных согласных возникла необходимость в такой перестройке.

Нуждается в уточнении также и вопрос о связях между отдельными сериями фонем внутри общегерманской системы шумных согласных. В этой связи представляется, что факт наличия у звонких шумных фонем (*þ ð g*) как щелевых, так и смычных аллофонов заслуживает гораздо большего внимания, чем то, которое обычно оказывается ему в работах общего характера и специальных исследованиях. Реализуясь то как щелевые, то как смычные (после носовых и в удвоении), германские звонкие шумные фонемы оказывались как бы в двойной корреляции: глухим щелевым фонем они противопоставлялись как звонкие щелевые, а глухим смычным — как звонкие смычные, ср. для позиций после носового: др.-англ. *lámbor* «ягненок» (из **lambaz*), но др.-англ. *limpan* «случаться; относиться» (из **limpan*), др.-в.-нем. *singan* «петь» (из **singyan*), но др.-в.-нем. *sinkan* «опускаться» (из **sinkyan*).

¹³ Ср., например: Э. А. М[а]к[а]е[в], указ. соч., стр. 17, 46—47.

¹⁴ В вопросе о характере модальной корреляции второй степени в германском мы разделяем точку зрения М. И. Стеблин-Каменского (указ. соч., стр. 106—107).

¹⁵ М. И. Стеблин-Каменский, указ. соч., стр. 101.

¹⁶ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр. 183.

С учетом всего сказанного соотношения между членами лабиального и веларного рядов общегерманского шумного консонантизма можно представить как соотношения внутри трехчленных пучков корреляций, где звонкие смычные аллофоны звонких шумных противопоставлены глухим смычным, щелевые аллофоны звонких шумных противопоставлены глухим щелевым и глухие смычные противопоставлены глухим щелевым.

В ряду альвеолярных фонем соотношения были иными: фонема /s/ противопоставлялась только /t/ как щелевая смычной и не противопоставлялась щелевым аллофонам /d/, поскольку они реализовались как интердентальные или постдентальные фрикативные. Щелевым аллофонам фонемы /d/ противопоставлялась как глухая звонкой фонема /ʃ/.

Эти соотношения фонем внутри общегерманского шумного консонантизма можно представить схематически следующим образом:

ʃ/b	d/d	g/g
p	t	k
f	ʃ s	x

Но несмотря на то, что все три серии шумных в этот период были взаимно связаны по тому или иному признаку, наличие в системе только трех серий согласных шумных при двух корреляциях являлось признаком, который свидетельствовал о возможностях дальнейшего развития системы. При полной реализации их две наличные корреляции могут быть представлены четырьмя сериями шумных согласных, как об этом свидетельствует дальнейшее развитие шумного консонантизма во всех германских языках, поскольку существовала принципиальная возможность фонологизации щелевых аллофонов звонких шумных. Впоследствии эта возможность развития новой серии звонких щелевых фонем, по крайней мере частично, будет реализована в английском, нидерландском, фризском и скандинавских языках, а также в нижненемецких диалектах, где возникает фонема /v/, одним из источников которой является щелевое [b], ср. гот. *giban* «давать», но др.-исл. *gefa* и т. п.

В связи с действием закона Вернера как возникшие из индоевропейских чистых и придыхательных глухих смычных глухие щелевые /f ʃ x/, так и унаследованная из индоевропейского языкового состояния сибиллянтная фонема /s/ в определенных условиях развивали звонкие аллофоны [b d g z]. Аллофоны [b d g], представлявшие фонемы (f ʃ x), могли в дальнейшем притягиваться фонемами /b d g/, отражавшими индоевропейские /bh dh gh/, т. е. происходило перераспределение аллофонов между глухими щелевыми и звонкими шумными фонемами. Звонкий аллофон фонемы /s/ такого протяжения не испытывал, поскольку в системе не было звонкой сибиллянтной фонемы, и сохранялся в течение длительного времени в известных случаях внутри слова и в абсолютном исходе, ср. др.-исл. *kurum* «мы выбирали» (из **kuzim*), сканд. рунич. *h(u)aR* «кто» (из **xuz*) и т. п. По-видимому, это было одной из причин, побудивших ряд исследователей считать [z] представителем самостоятельной фонемы¹⁷. В этом случае состояние германского шумного консонантизма можно представить следующим образом:

ʃ/b	d/d	g/g
↑ p	↑ t	k
ʃ/f	ʃ/d s	g/x
	(z?)	

¹⁷ Ср., например: W. G. Moulton, The stops and spirants of Early Germanic, «Language», 30, 1, 1954, стр. 42; J. Fourquet, Einige unklare Punkte der deutschen Lautgeschichte in phonologischer Sicht, «Die Wissenschaft von deutscher Sprache und Dichtung. Methoden, Probleme, Aufgaben», Stuttgart, 1963, срр. 89—90.

Возникновение новых звонких аллофонов у глухих щелевых фонем регулировалось на данном этапе чисто просодическим фактором — остаточными проявлениями индоевропейского подвижного ударения или, в интерпретации С. Д. Кацнельсона, чередованием периферийного и центрального слоговых акцентов¹⁸.

Возникновение звонких аллофонов у глухих щелевых фонем в рамках закона Вернера также могло привести к становлению в системе германского шумного консонантизма новой серии звонких щелевых фонем, если бы звонкие щелевые любого происхождения приобрели статус самостоятельных фонем уже в этот период¹⁹. Однако, как свидетельствует дальнейшая судьба [b, d, g] из [f, þ, x], они продолжали оставаться аллофонами соответствующих фонем во всех германских племенных диалектах, за исключением эрминонских, еще в начальный период их письменной истории как отдельных языков; ср., например, др.-англ. *siofon*, *seofon* «семь» с [-b-] из [-f-] и т. п. Звонкий же сибиллянт z в ходе процесса ротацизма в западногерманском и северогерманском исчез, либо отпав, либо дав новую сонорную фонему /R/, слившуюся затем с /r/²⁰.

Система шумных согласных после возникновения у /x/ фарингальных аллофонов. Несомненно к периоду германской языковой общности относится существование повлиявший позднее на состав ряда велярных шумных фонем в отдельных германских языках процесс, который привел к появлению у велярной щелевой фонемы /x/ фарингальных аллофонов типа [h] в середине слова между гласными и в начале слова перед гласным или сонорным. Одной из наиболее вероятных причин этого является, по-видимому, воздействие на согласный гласного и сонантного окружения, что вызывало первоначально лишь аккомодацию, а затем все более прогрессирующую частичную ассимиляцию согласного гласному²¹. Этому, несомненно, могли способствовать артикуляционные особенности германского [x], возникшего из индоевропейского [k]. Поскольку [k] давало [x] в ходе ослабления смычки, глухой велярный щелевой мог сохранять эту ослабленность артикуляции в течение продолжительного времени, существуя как звук, возникающий в результате как бы «смазанных» движений речевого аппарата.

В результате того, что фонема /x/ реализовалась в начале слова и середине слова между гласными уже как [h], связи внутри велярного ряда шумных согласных заметно нарушились. Если ранее в этих позициях фонема /x/ противостояла щелевым аллофонам фонемы /g/, будучи представлена глухими щелевыми того же места образования, ср., например, **zallō* «зал», но **gallōn* «желчь», **fexu* «скот; имущество», но *ziguz* «ум, мысль», то с возникновением [h-] и [-h-] фонема /x/ переставала соотноситься в названных позициях с фонемой [g]. Противопоставление фонем /x/ и /g/ по звонкости — глухости сохранялось лишь внутри слова перед сонорным или после него, ср., например: **naqlaz* «ноготь, гвоздь», но **þuaxlaz* «умывание, мытье», **targōn* «оправа, щит», но **snaixōn* «веревка». С появлением фарингальных аллофонов фонемы /x/ состояние германского

¹⁸ С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 299—300.

¹⁹ Как, по-видимому, считает Л. Хаммерих [L. Hammerich, Die germanische und die hochdeutsche Lautverschiebung. I. Wie entsteht die germanische Lautverschiebung, PBB (Tübingen), 77, 1, 1955, стр. 27].

²⁰ Подробнее о судьбе [z] в западногерманском и северогерманском см.: А. И. Смирницкий, Отпадение конечного z в западногерманских языках и изменение z в г, «Труды Ин-та языковедения [АН СССР]», IX, 1959, стр. 115—136; М. И. Стеблин-Каменский, указ. соч., стр. 31—38.

²¹ J. Vachek, Ještě k likvidaci fonému h/x v angličtině, «Casopis pro moderní filologii», 39, 2—3, 1957, стр. 157—159.

шумного консонантизма можно представить следующим образом:

t/b	d/d	g/g
p	t	k
f	p s	x/h
	(z?)	

Итак, функциональная нагрузка велярных глухих щелевых артикуляций резко снизилась, что скрывало в себе возможность их последующего выхода из употребления, как это позднее произошло в английском и ряде скандинавских языков²². Тем самым создавались предпосылки для того, чтобы трехчленный пучок корреляций как способ организации данного локального ряда фонем с изменением состава элементов этого ряда начал уступать место коррелятивной паре.

Система шумных согласных после развития альвеолярного звонкого щелевого в смычный. Начавшийся на всей территории германского процесс развития звонких щелевых в соответствующие звонкие смычные проходил наиболее быстрыми темпами в западногерманском. С фонологической точки зрения этот процесс, очевидно, следует рассматривать как постепенное вытеснение из всех позиций щелевых аллофонов звонких шумных смычными аллофонами этих же фонем. Ранее всего полная смена щелевых аллофонов смычными затронула фонему /d/, которая таким образом изменила свое фонологическое содержание, став звонкой смычной фонемой (d), в то время как фонемы /b/ и /g/ еще реализовались в интервокальной позиции и после гласного в абсолютном исходе (a/g/ и в начале слова) как звонкие щелевые. Это состояние, которое сохранилось еще в древнеанглийском и древнесаксонском и может с известным основанием рассматриваться как общезападногерманское, изображено на следующей схеме:

t/b	d	g/g
p	t	k
f	p s	x/h

Такое состояние шумного консонантизма свидетельствует о дальнейшем расшатывании связей между фонемами, составляющими отдельные локальные ряды. С исчезновением [d] — аллофона фонемы /d/ — из германской звуковой системы на альвеолярном участке возникла новая группировка фонем, оппозиция /d — t/, которую можно рассматривать как ядро будущей подсистемы смычных, обнаруживаемой ныне во всех германских языках. Кроме того, исчезновение щелевых аллофонов бывшей звонкой шумной фонемы /d/ привело к утрате глухой щелевой фонемой /f/ всех коррелятивных связей с фонемами других серий, что обусловило ее позднейшую утрату в большинстве германских языков²³, за исключением английского и исландского. Но главным последствием полной смены щелевых аллофонов фонемы /d/ смычными было изменение в способе внутренней организации членов альвеолярного ряда: если ранее фонема /d/ в зависимости от позиции и представленных в ней аллофонов коррелировала как с /f/, так и с /t/, то теперь /d/ была связана по признаку звонкости — глухости только с /t/; в свою очередь /t/ сохраняла коррелятивную связь с сибилантной фонемой /s/ по признаку смычности — щелинности.

Однако обусловленное выше развитие различалось по своим темпам и внутри отдельных частей западногерманского. Если ингвеонские и истве-

²² Ср.: М. И. Стеблин-Каменский, Древнескандинавский язык, М., 1955, стр. 44—45; К. Бруннер, История английского языка, 1, М., 1955, стр. 279—280, 285—286, 295—297.

²³ Применительно к древневерхненемецкому см. подробнее: М. В. Раевский, Древневерхненемецкий переход *p > d* в свете диахронической фонологии, ВЯ, 1967, 2.

онские диалекты характеризовались состоянием шумного консонантизма, представленным на предыдущей схеме, то в эрминонских диалектах дело обстоит, по-видимому, иначе. Древнеюжнонемецкие тексты обнаруживают довольно многочисленные написания типа *perga* «горы», *keran* «давать», *harēn* «иметь», *masan* «мочь», *wīr* «женщина», *tac* «день» и т. п. Обозначение рефлексов германских звонких шумных фонем /b g/ с помощью букв, которыми обычно передавались глухие смычные согласные, можно интерпретировать как свидетельство смычного характера соответствующих звуков не только в древнеюжнонемецких диалектах, но и в период, предшествовавший верхненемецкому передвижению согласных²⁴, т. е. как свидетельство более раннего и последовательного перехода всех звонких щелевых в звонкие смычные, выделявшего эрминонские диалекты из круга западногерманских наряду с другими признаками²⁵. Поэтому состояние германского шумного консонантизма в эрминонском после перехода звонких щелевых в звонкие смычные может быть представлено следующим образом:

b	d	g
p	t	k
f	þ s	x/h

Из схемы видно, что система шумного консонантизма в эрминонском распалась на подсистему смычных, организованную как корреляцию звонкости, и недостаточную подсистему щелевых, представленную серией глухих щелевых.

Эрминонская система шумных согласных в предверхненемецкий период. В период, непосредственно предшествующий верхненемецкому передвижению согласных, германский шумный консонантизм в его эрминонском варианте испытал еще два процесса, затронувших в одном случае все шумные, а в другом лишь глухие щелевые. Первым по времени было западногерманское удлинение согласных перед сонорными, в результате чего шумные фонемы первоначально приобретали аллофоны, характеризовавшиеся большей длительностью, ср., например: гот. *sibja* «род», *badi* «ложе», др.-исл. *liggja* «лежать», но др.-в.-нем. *sippa*, *betti*, *liggen*²⁶. Аллофоническое варьирование шумных фонем после западногерманского удлинения согласных, выглядело следующим образом:

b/b:	d/d:	g/g:
p/p:	t/t:	k/k:
f/f:	þ/þ:	s/s:
		x/x/h

Однако с «падением» основообразующего [j] и следовавшего за шумным [w] и с возникновением эпентетического гласного между продленным шумным и вызывавшим это удлинение сонорным, продленный шумный оказался противопоставленным простому шумному в одной и той же позиции и фонологизовался. Возникла особая подсистема шумных геминат, полностью параллельная подсистеме простых шумных. С западногерманскими геминатами слились германские шумные геминаты²⁷. После этого германский шумный консонантизм приобрел следующий вид:

b	d	g	bb	dd	gg
p	t	k	pp	tt	kk
f	þ	s	x/h	fþ	ss
				þþ	xx

²⁴ Ср.: В. М. Жирмунский, Введение в сравнительно-историческое изучение германских языков, М.—Л., 1964, стр. 20, 219.

²⁵ Подробнее об отличительных признаках эрминонского см.: В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 195—228.

²⁶ См. подробнее: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 65—69.

²⁷ Подробнее о них см.: Э. А. Макаев, указ. соч., стр. 49—54.

Вторым изменением, охватившим лишь простые глухие щелевые, было озвончение глухих щелевых [f, ꝑ, s] в звонком окружении (в основном между гласными), ср. гот. *twēifls* «сомнение», *haffjan* «поднимать», *qīfa* «говору», но др.-в.-нем. *zwīval*, *hevig* «тяжелый», *quidu* (из **quidu*). Это изменение было общегерманским²⁸, но проходило в различных диалектных группировках в различное время²⁹. Мы предполагаем, что в эрминонских диалектах этот процесс имел место в V—VI вв. после действия западногерманского удлинения согласных (ср. др.-в.-нем. *heffen* «поднимать» с [-ff-] из [-fj-], т. е. из [-f-] в звонком окружении!) несколько ранее первых процессов верхненемецкого передвижения согласных. Фонологически озвончение глухих щелевых может быть интерпретировано как появление у фонем /f ꝑ s/ позиционно обусловленных звонких аллофонов. С учетом этого изменения состояние шумного консонантизма в эрминонском можно представить следующим образом:

b	d	g
p	t	k
f/ꝑ	þ/d	s/z
		x/h

Геминированные щелевые озвончению не подвергались, и следовательно, подсистема шумных геминат сохраняла прежнее состояние.

Появление у глухих щелевых фонем звонких аллофонов знаменовало собой существенные изменения в характере связей между отдельными сериями эрминонских шумных. Озвончившись в определенных позициях, глухие щелевые перестали быть дистинктивно глухими: различие по звонкости — глухости перестало быть для них релевантным, ибо в системе не было другой серии щелевых, которая противопоставлялась бы этим фонемам именно по данному признаку. Таким образом, возникла особая система простых шумных согласных фонем, которая состояла из двух серий смычных фонем, объединенных в корреляцию звонкости, и одной серии щелевых фонем, причем щелевые фонемы оказались противопоставленными о б е и м сериям смычных с р а з у по способу образования преграды; иными словами, связь недостаточной подсистемы щелевых с развернутой подсистемой смычных, осуществлявшаяся ранее с помощью признака глухости, который о б ъ е д и н я л бывшие глухие щелевые с глухими смычными, с дефонологизацией для щелевых различия по звонкости — глухости перестала существовать. Дальнейшее функционирование такой системы было возможно только при условии смены различительного признака, которая позволила бы вновь восстановить связь между обеими подсистемами простых шумных.

Таким признаком был признак силы (напряженности), представленный в антропофонической субстанции глухих смычных фонем в качестве сопутствующего признака. В ходе смены различительного признака глухие смычные становились сильными, звонкие смычные — слабыми, щелевые становились также слабыми. Это фонологическое содержание шумных

²⁸ Историки немецкого языка предпочитают говорить применительно к древневерхненемецкому об ослаблении старых глухих щелевых (ср.: W. В г а и н е — К. Н е l m, *Althochdeutsche Grammatik*, Halle, 1950, стр. 114, 151). Ср., однако: P. L e s s i a k, *Beiträge zur Geschichte des deutschen Konsonantismus*, Brünn — Leipzig — Wien, 1933, чью точку зрения мы разделяем.

²⁹ Применительно к древнеанглийскому (ингвеонскому) можно говорить о V—VI вв. (ср.: А. И. С м и р н и ц к и й, *Древнеанглийский язык*, М., 1955, стр. 96); в скандинавском озвончение глухих щелевых прошло гораздо позже (ср.: М. И. С т е б л и н — К а м е н с к и й, *Древнеславянский язык*, стр. 43—44). Для верхне- и нижненемецких диалектов этот процесс не датируется, ср.: W. В г а и н е, указ. соч., стр. 151.

фонем южнонемецкие (эрминонские) диалекты сохранили до настоящего времени³⁰.

Однако в связи с превращением германских глухих смычных, т. е. немаркированных членов старой корреляции звонкости, в сильные смычные, т. е. маркированные члены новой корреляции силы, неминуемо должно было произойти какое-то фонетическое изменение, которое ограничило бы сферу их употребления, сократив количество характерных для них позиций, и тем самым уменьшило бы их частотность в речи. Таким изменением и было верхненемецкое передвижение согласных, а вернее его первый процесс — переход сильных смычных в сильные гоморганные щелевые между гласными и после гласного в абсолютном исходе, для инлета ср. др.-сакс. *etan* «есть», *oran* «открытый», *makon* «делать», но др.-в.нем. *ezzan*, *offan*, *mahhōn*. В сильные щелевые переходили, по мнению С. Д. Кацнельсона³¹, слабые варианты глухих смычных, обусловленные чередованием слоговых акцентов. В ходе этого процесса бывшие глухие смычные в начале слова, в удвоении и после сонорных окончательно становились маркированными членами корреляции силы в подсистеме смычных, а отщепившиеся от них сильные щелевые вместе с совпавшими с ними щелевыми геминатами образовали вторую серию щелевых фонем — маркированных членов той же корреляции в подсистеме щелевых, которая тем самым разветвлялась по образцу подсистемы смычных.

Так на рубеже VI—VII вв. н. э. эрминонская система простых шумных согласных фонем оказалась перестроенной по четырехсерийной модели, которая лежит ныне в основе систем шумных согласных во всех германских языках, но утвердилась там по сравнению с эрминонскими диалектами значительно позже. После перехода глухих смычных в сильные щелевые и совпадения с ними щелевых геминат эрминонский шумный консонантизм принял следующий вид:

<i>p</i>	<i>t</i>	<i>k</i>	<i>pp</i>	<i>tt</i>	<i>kk</i>
<i>b</i>	<i>d</i>	<i>g</i>	<i>bb</i>	<i>dd</i>	<i>gg</i>
<i>ff</i>	<i>þþ</i>	<i>ǣǣ</i>	<i>ss</i>	<i>xx</i>	
<i>f</i>	<i>þ</i>	—	<i>s</i>	<i>x/h</i>	

Изменения в расположении локальных рядов в системе простых шумных согласных на ее альвеолярном участке по сравнению с предыдущими периодами объясняются следующими причинами: как показал В. Твэддл, эрминонское [t] в тех позициях, где оно дало [zz], а также [ts], скорее всего было дорсальным дентально-альвеолярным смычным, при произношении которого кончик языка касается нижних зубов³², германский же сибилант [s] был апикоальвеолярным³³; поэтому естественно, что с появлением дорсального нижнезубного [zz] из [t] старое [s] и гемината [ss] начинали образовывать самостоятельный локальный ряд, т. е. происходило расщепление сибилантной группировки на два локальных ряда.

³⁰ Подробное описание шумного консонантизма южнонемецких диалектов см. в работе: В. М. Жирмунский, *Немецкая диалектология*, стр. 311 и сл.

³¹ С. Д. Кацнельсон, *указ. соч.*, стр. 301.

³² W. F. T w a d d e l l, *Pre-ÖHG* /t/*, «For Roman Jakobson», The Hague, 1956, стр. 561; аналогичная артикуляция [t], засвидетельствованная в конце XIX — начале XX в. для Центральной и Южной Германии как типичная или во всяком случае часто встречающаяся, также позволяет сделать подобные предположения относительно произношения однотипного согласного в эрминонских племенных диалектах, лежащих в основу современных территориальных диалектов этой части немецкой языковой области; ср.: E. S i e v e r s, *Grundzüge der Phonetik*, Leipzig, 1885, стр. 118; W. V i ß t o r, *Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen*, Leipzig, 1923, стр. 291—292.

³³ M. J o o s, *The medieval sibilants*, «Language», XXVIII, 1952, стр. 222 и сл.; о различных типах германских свистящих см. подробнее: Г. В. Воронкова, *Сибиллянты в норвежском (синхрония и диахрония)*. Канд. диссерт., Л., 1967.

Все остальные процессы верхненемецкого передвижения согласных (развитие бывших глухих смычных в аффрикаты, оглушение бывших звонких смычных) можно рассматривать уже как фонетические изменения в позициях максимального различия и нейтрализации, сопутствующие смене различительного признака в подсистеме смычных³⁴.

Таким образом, в развитии германского шумного консонантизма на эрминьонской почве достаточно четко прослеживается действие системных, антропофонических и просодических факторов, которые в своей совокупности и привели к необходимости перестройки системы шумных согласных на основе смены корреляции звонкости корреляцией силы и развертывания подсистемы щелевых до двух серий. Верхненемецкое передвижение согласных может рассматриваться, следовательно, как форма проявления этой перестройки всего шумного консонантизма³⁵.

Что же касается характера взаимодействия всех трех факторов, то его можно было бы определить следующим образом: а) системный фактор, который отражает в каждый данный момент отношения между фонемными группировками, возникающие на основе антропофонической субстанции входящих в данные группировки фонем, оказывает обратное воздействие на субстанцию, поскольку в результате его проявления возникает общая необходимость в звуковых изменениях, нужных для того, чтобы смена корреляции произошла и получила свое внешнее выражение; б) просодический фактор — внешний по отношению к фонологической системе — оказывает непосредственное воздействие на антропофоническую субстанцию затрагиваемых передвижением фонем, поскольку он определяет, каким образом и в какой позиции должно совершаться звуковое изменение, чтобы смена корреляции получила свое внешнее выражение, и тем самым создает условия для осуществления указанной общей необходимости; в) антропофонический фактор, т. е. артикуляторно-звуковые изменения, оказывает постоянное воздействие на отношения между фонемными группировками и в своих предельных случаях (исчезновение какой-то артикуляции или возникновение новой) приводит либо к разрушению прежней коррелятивной связи, либо к появлению новой.

³⁴ Ср.: М. И. Стеблин-Каменский, Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков, стр. 101 и сл.; однако М. И. Стеблин-Каменский считает, что в верхненемецком корреляцию звонкости непосредственно сменила корреляция аффрицирования (там же).

³⁵ Тем самым лишний раз подтверждается необходимость расширительного понимания верхненемецкого передвижения согласных как процесса, охватывающего все шумные; ср.: В. М. Жирмунский, указ. соч., стр. 254.

В. С. ЯКОВИШИИ

К РАЗВИТИЮ СИСТЕМ
ПРАГЕРМАНСКОГО ВОКАЛИЗМА

(Доумлаутный период)

В сравнительно-историческую реконструкцию в некоторых случаях могут быть внесены необходимые ограничения, если попытаться оценить ее с точки зрения зависимости фонетических изменений от состояния системы. Эта зависимость отчетливо наблюдается при асимметричном (активном) состоянии, когда в языке преобладают процессы, направленные на восстановление системного равновесия.

1. Предварительные замечания (Система и фонетические изменения). Необходимо прежде всего заметить, что асимметричное состояние не может быть зафиксировано при обычной фонологической интерпретации системы. Так, система гласных *i, e, a, u* (с отсутствующим *o*) ф о н о л о г и ч е с к и симметрична¹: передние (двезные) *i, e* противопоставлены вперёдним *u, a*, высокие (диффузные) *i, u* — невысоким (компактным) *e, a*. Нетрудно видеть, что подобная симметричная интерпретация возможна только после устранения некоторых фонологически избыточных признаков. В данном примере элемент *e* становится «симметричным», поскольку игнорируются различия по лабиализации (между *a* и *u*) и подъему (между *a* и *e*), т. е. различия, которые могли бы помешать нам рассматривать элемент *a* в одном ряду с *u* и *e*². Очевидно, системное состояние, особенно асимметричное, можно зафиксировать лишь при условии, если к числу параметров системы относить не только дифференциальные, но и некоторые дистинктивно избыточные («интегральные») признаки³. Тот факт, что при системной интерпретации приходится отлекаться от различительного значения признаков, не означает, разумеется, отказа от фонологического критерия, который необходим для выявления элементов и параметров системы, функционирующих в языке как дистинктивные единицы — фонемы и дифференциальные признаки.

Рассматривая в дальнейшем тот или иной тип вокалической системы, мы опираемся на данные структурной типологии, содержащиеся в иссле-

¹ Фонетическая и фонологическая симметрии различаются в «Основах фонологии»: система гласных *i, e, a, o*, например, представленная как фонологически симметричная, не считается симметричной с фонетической точки зрения (Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 122).

² Свободный характер фонологической симметрии проявился, в частности, в дискуссии по исландскому вокализму (см.: М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, О симметрии в фонологических решениях и их неединственности, ВЯ, 1964, 2, стр. 45—52).

³ Дифференциальные и интегральные признаки должны рассматриваться как равноценные и при объяснении фонологических изменений (В. К. Ж у р а в л е в, Двухступенчатая теория фонологии и методика моделирования фонологических процессов, «Конференция по структурной лингвистике, посвященная базисным проблемам фонологии», М., 1963, стр. 15—18).

дованиях Н. С. Трубецкого, Ч. Хоккета⁴, но будем учитывать при этом характерную для этих исследований фонологическую интерпретацию систем. Так, система, включающая элементы *i, e, a, o*, представлена у Н. С. Трубецкого и Ч. Хоккета как четырехчленная симметричная: свободное место отсутствующего *u* заполняется смежным элементом *o*, место последнего — элементом *a*⁵. В соответствии же с принятым выше принципом системной интерпретации фонемный состав гласных *i, e, a, o* можно рассматривать только как асимметричный вариант п я т и ч л е н н о й системы. Широко распространенный тип пятичленной системы гласных *i, e, a, o, u* может выступать, видимо, в шести вариантах — один из них симметричен (пять элементов), остальные — асимметричны (если какой-либо из пяти элементов отсутствует).

Интерпретация систем */i, e, a, u/*, */i, a, o, u/* и др. как асимметричных вариантов одной и той же пятичленной системы согласуется с фонетическими изменениями, сопровождающими данные асимметричные состояния. При отсутствии в системе элемента *e*, например, может наблюдаться изменение $o > u$ ($o > a$) (неустойчивость среднеподъемной артикуляции) или $i > e$ ($a > e$) (увеличение зоны свободного варьирования гласных *i, a*)⁶. Подобные симметризирующие изменения могут привести систему к равновесию — трехчленной симметрии (исчезновение неустойчивого *o*) или симметрии пятичленной (восстановление *e*). Следует, однако, иметь в виду, что движение к равновесию, которое нередко заканчивается образованием симметрии⁷, содержит в себе предпосылку нового асимметричного состояния. Обусловленные асимметрией изменения с некоторого момента, возможно, перестают стимулироваться системой и, обладая определенной инерцией, сами увлекают систему в разрушительное движение. Изменение $e > a$, например, направленное на восстановление отсутствующего элемента *a*, распространяясь на все позиции, может привести систему к новой асимметрии, где элемент *a* восстановлен, но уже отсутствует элемент *e*; восстановление элемента *e* в свою очередь ведет к асимметрии и т. д.⁸ Таким образом, появление асимметричных систем в истории языка⁹ не только не противоречит стремлению к равновесию, но может являться его результатом.

Изменениями определенной направленности сопровождаются отдельно взятые асимметрии как долгих, так и кратких гласных. И в этом, в частности, проявляется относительная независимость этих гласных как простей-

⁴ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 106—141; N. Trubetzkoy, Zur allgemeinen Theorie der phonologischen Vokalsystem, TCLP, 1, 1929, стр. 39—67; Ch. F. Hockett, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 42—143.

⁵ Н. С. Трубецкой, Основы фонологии, стр. 122; Ch. F. Hockett, A manual of phonology, стр. 84.

⁶ Асимметричную пятичленную систему с отсутствующим элементом *e* находим в некоторых иранских (памирских) языках, где системной асимметрии соответствует расширение гласного *i* (см.: В. С. Соколова. Очерки по фонетике иранских языков, II, М.—Л., 1953, стр. 210—212).

⁷ Примеры восстановления симметрии (заполнения лакуны в системе) хорошо известны в литературе (см.: Г. С. Клычков, Развитие диахронической фонологии за последние годы (Обзор литературы), ВЯ, 1962, 4, стр. 124].

⁸ Ср.: R. Jakobson, Principien der historischen Phonologie, TCLP, 4, 1931, стр. 265: «Восстанавливая равновесие в одной точке системы, мутация может нарушить его в других точках и создать тем самым необходимость в новых мутациях». Развитие системы, по-видимому, можно представить как колебательный процесс: в постоянном взаимодействии с фонетическими изменениями система то приближается к равновесному состоянию, то удаляется от него (при этом отсутствие элемента в системе является лишь предельным случаем неравновесия).

⁹ G. Gougenheim, Réflexions sur la phonologie historique du français, TCLP, 8, 1939, стр. 263; 268; M. S. Ruyérez, Esquisse d'une histoire du vocalisme grec, «Words», XII, 1, 1956, стр. 73.

ших структурных единств. Следовательно, вокализм, включающий противопоставление по долготе, представляет не одну систему, а две. Такие системы взаимно обусловлены и образуют системную пару¹⁰, существование которой может отражаться в звуковых изменениях типа $\bar{i} < > \bar{e}$, $\bar{e} < > \bar{a}$, $\bar{i} < > \bar{e}$ и т. д., свидетельствующих о системной смежности элементов $\bar{i} - \bar{e}$, $\bar{e} - \bar{a}$, $\bar{i} - \bar{e}$ (например, в древнегреческом, латинском). Подобные изменения (смешивания) отражают двусистемное состояние г о т с к о г о вокализма (и фонологическую релевантность долготы в готском)¹¹: ср. написания *lekeis* и *leikeis* «врач», *afletan* и *afleitan* «отпустить», *fahed*, *fahēps* и *fahēid* «радость» и др.¹², где \bar{e} смешивается с д о л г и м \bar{i} . Противопоставления по количеству нередко переходят в истории языка в противопоставления по качеству¹³, и в этом случае системная пара преобразуется в единую систему. В результате такого преобразования возникает новая система, в которой смежными становятся элементы, принадлежавшие ранее к разным системам, например, $\bar{i} (< \bar{i}) - i (< \bar{i})$, $i (< \bar{i}) - e (< \bar{e})$ и т. д. Так, существовавшая в латинском пара долгих и кратких к периоду формирования романских языков преобразовалась в единую систему, что отразилось в известном совпадении прежних долгих и кратких (разного подъема) $\bar{i} (< \bar{i})$ и $e (< \bar{e})$, $u (< \bar{u})$ и $o (< \bar{o})$, ставших смежными в единой системе.

Итак, состояние фонетической системы (асимметрия) и взаимодействие ее элементов (смежность) могут отражаться в наблюдающихся звуковых изменениях. Сокоупность звуковых изменений, отражающих систему, и будем учитывать в дальнейшем при реконструкции состояний германского вокализма.

II. Система кратких. Состав прагерманских кратких еще с прошлого века известен в двух вариантах: в одних исследованиях он представлен четырьмя гласными (i, e, a, u), в других — тремя (i, a, u)¹⁴. Оба варианта реконструкции находим и в современных работах, по-разному решающих вопрос о фонематической релевантности противопоставления $i \sim e$. Поскольку в распределении германских i, e , встречающихся обычно в разных фонетических условиях, известны позиции (например, перед a, u следующего слога), где реконструируются оба гласные¹⁵, противопоставление $i \sim e$ можно считать релевантным¹⁶. Но существует и другое реше-

¹⁰ Взаимодействие парных систем можно наблюдать в случае межсистемной асимметрии — состояния пары, включающей системы разного типа. Так, асимметрия, образованная пятичленной системой долгих и трехчленной системой кратких, обычно сопровождается расширением $i > e, u > o$, направленным на установление в данной паре единого (пятичленного) типа системы. Асимметричная пара долгих и кратких известна в белуджском, ягнобском, бартагском: в этих языках i, u , как элементы трехчленной системы, часто выступают в широких вариантах (см.: В. С. Соколова, Очерки по фонетике иранских языков, I, стр. 46; II, стр. 68, 130).

¹¹ Ср.: Н. Penz l, Orthography and phonemes in Wulfila's Gothic, JEGPh, 49, 2, 1950, стр. 227; J. W. March and, Vowel length in Gothic, «General linguistics», I, 3, 1955, стр. 85—86; E. P. Ham p, Gothic *ai* and *au* again, «Language», 34, 3, 1958, стр. 361; O. F. Jones, Gothic *iu*, там же, стр. 357—358.

¹² См.: W. Streitherg, Gotisches Elementarbuch, Heidelberg, 1920, стр. 49.

¹³ Такой переход известен в истории ряда индоевропейских языков (A. S o m m e r f e l t, Diachronic and synchronic aspects of language, Selected articles, 's-Gravenhage, 1962, стр. 82; A. Martinet, Economie des changements phonétiques, Berne, 1955, стр. 248).

¹⁴ См.: М. М. Г у х м а н. Система гласных фонем в германских языках. «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1962, стр. 91—92.

¹⁵ Там же, стр. 96—100, 103—106.

¹⁶ W. F. T w a d d e l l, The prehistoric Germanic short syllabics, «Language», 24, 1948, стр. 142; J. K u r y ł o w i c z, The Germanic vowel system, ВПТJ, XI, 1952, стр. 52; W. P. L e h m a n n, The conservatism of Germanic phonology, JEGPh, 52, 1953, стр. 149; Э. А. М а к а е в, Понятие общегерманского языка, «Материалы второй научной сессии по вопросам германского языкознания», М., 1961, стр. 59—

ние, согласно которому i, e в прагерманском были позиционно обусловлены (регулярность $*e > i$ перед u и $*i > e$ перед a могли затемнить поздние процессы)¹⁷ и представляли одну фонему¹⁸. Таким образом, фонологическая оценка прагерманских i, e фактически зависит от решения старой задачи — реконструкции этих гласных в ряде конкретных случаев.

Очевидно, что прагерманские краткие могли представлять либо асимметричную пятичленную систему (первый вариант реконструкции), либо трехчленную (второй вариант). Попробуем решить, какая из этих систем соответствует наблюдающимся фонетическим изменениям.

В германских языках известны изменения $*u > o$, $*e > i$, направленность которых соответствует асимметричному состоянию пятичленной системы (с отсутствующим o), т. е. первому варианту реконструкции (i, e, a, u). Со вторым вариантом (i, a, u) направленность изменений $*u > o$ и $*e > i$ не совместима: в случае существования трехчленной системы (и, следовательно, межсистемной асимметрии — см. примеч. 10) преобладающим было бы расширение — не только $*u > o$, но и параллельное $*i > e$ ¹⁹. Характерно, что в тех языках, где прагерманские краткие развились в пятичленную симметричную систему (западные и часть северных), широко представлено изменение $*u > o$, но отсутствует, как правило, $*i > e$. Очевидно, подобные следы могло оставить только восстановление элемента o в пятичленной системе: преобразование трехчленной системы в пятичленную сопровождалось бы, по-видимому, изменениями $*u > o$ и $*i > e$. Это значит, что засвидетельствованным изменениям может соответствовать только один вариант реконструкции прагерманских кратких — гласные i, e, a, u , представляющие асимметричную пятичленную систему

i	u
e	
	a

Есть основание полагать, что прагерманская асимметричная система сохранилась в праскандинавском²⁰. Анализ северогерманских изменений $u > o$, $e > i$, $i > e$ вскрывает два варианта скандинавского развития, исходным состоянием которого могла быть только асимметрия гласных i, e, a, u . Известно, что e и o ($<*u$) часто встречаются в западноскандинавских языках (исландском, норвежском), на востоке Скандинавии (шведский, готландский) эти гласные встречаются реже или совсем отсутствуют²¹. Ср. др.-исл. *gefa* и др.-швед., готл. *giva* «давать»; др.-исл. *hol* и др. швед. *hol*, *hul*, готл. *hul* «дыра». Различная огласовка западных и восточ-

60; М. М. Гухман, указ. соч., стр. 107; М. И. Стеблин-Каменский. Счерки по диахронической фонологии скандинавских языков, Л., 1966, стр. 28.

¹⁷ J. W. M a r c h a n d, Germanic short $*i$ and $*e$: two phonemes or one? «Language», 33, 1957, стр. 349.

¹⁸ Там же, стр. 354; W. G. M o u l t o n, Zur Geschichte des deutschen Vokalsystems, PBB, 83, Tübingen, 1961, стр. 12, 14; E. H. A n t o n s e n, Germanic umlaut anew, «Language», 37, 1961, стр. 218, 219.

¹⁹ Как известно, изменение $*i > e$ явно уступает изменению обратной направленности: $*i > e$ в позиции перед a вряд ли было регулярным (см.: H. P a u l, Zur Geschichte des germanischen Vokalismus, PBB, VI, Halle, 1879, стр. 82; O. B r e m e r, Die germanische Brechung, IF, 26, 1909, стр. 149; A. L. L l o y d, Is there an a -umlaut of i in Germanic?, «Language», 42, 1966, стр. 744) — в то время как позиции регулярного изменения $*e > i$ хорошо известны.

²⁰ Ср.: A. N o r e e n, Geschichte der nordischen Sprachen, besonders in altnordischer Zeit, Strassburg, 1913, стр. 67; H. B e n e d i k t s s o n, The vowel system of Icelandic: a survey of its history, «Words», 15, 2, 1959, стр. 303; E. H. A n t o n s e n, The Proto-Norse vowel system and the younger fuþark, «Scandinavian Studies», 35, 3, 1963, стр. 199.

²¹ A. N o r e e n, Geschichte der nordischen Sprachen..., стр. 71—72; М. И. Стеблин-Каменский, История скандинавских языков, М.—Л., 1953, стр. 110.

ных форм может объясняться развитием асимметричной системы в двух направлениях: в западных языках праскандинавская система развивается к пятичленной симметрии (* $u > o$, * $e \triangleright i$), в языках восточной Скандинавии — к трехчленной (* $u \triangleright o$, * $e > i$).

Развитие к трехчленной системе в восточноскандинавских языках закончилось образованием межсистемной асимметрии. В древнешведском новому асимметричному состоянию соответствуют изменения $i > e$, $u > o$, в результате которых появились новые элементы e ($i \rightarrow i : e$) и o ($u \rightarrow u : o$) и трехчленная система преобразовалась в пятичленную. Расширение $i > e$, $u > o$ представлено в большинстве позиций. Ср.: др.-швед. *vita* (др.-исл. *vide*, гот., др.-англ., др.-сакс. *witan*, др.-в.-нем. *wizzan*) и швед. *veta* «знать»; др.-исл. *duft* и швед. *doft* «запах». Гласные i , u могут сохраняться в ряде случаев: ср. др.-швед. *sitia* (др.-исл. *sitja*) и швед. *sitta* «сидеть», но др.-швед. *biþia* (гот. *bidjan*, др.-исл. *biðja*) и швед. *bedja* «просить»; др.-швед. *fulder*, швед. *full* (гот. *fulls*) «полный». Изменения $i > e$, $u > o$ в основном происходили в младшем древнешведском²², и, возможно, что в классическом древнешведском трехчленная система еще сохранялась. Процесс изменений $i > e$, $u > o$ запечатлели древнешведские дублетные формы: др.-швед. *leva*, *liva* (гот. *liban*, др.-исл. *lifa*), швед. *leva* «жить»; др.-швед. *ok*, *uk* (гот. *juk*, др.-исл. *ok*), швед. *ok* «иго, ярмо».

Изменения $i > e$, $u > e$ (обычно перед r) известны и в древнегютническом (готландском). Ср.: швед. *hetta*, др.-швед. *hita*, *hiti* и готл. *hita* «жар, зной», но швед. *herde*, др.-швед. *herþe* (др.-исл. *hirðir*) и готл. *herde* «пастух»; швед., др.-швед. *folk* и др.-гутн. *fulk* «народ», но др.-гутн. *borþ* «стол», *horn* «рог» и др.²³.

Определенная интенсивность изменений $i > e$, $u > o$ соответствует особенностям развития системы в отдельных языках. В шведском при переходе трехчленной системы к пятичленной расширение гласных i , u явилось основным источником новых элементов e и o , поэтому изменения $i > e$, $u > o$ здесь более интенсивны. В меньшей мере коснулось расширение древнегютнических гласных i , u . Ограниченность этого изменения, очевидно, связана с особенностями гутнического развития вокализма: вместо возможного восстановления парной симметрии в гутническом последовало слияние систем долгих и кратких в единой системе. Элементами i , u образовавшейся единой системы стали краткие $ī$, $ū$, элементами e , o — прежние долгие $ē$, $ō$ ²⁴, в элементе a совпали старые $ǣ$ и $ā$. Долгие $ī$, $ū$ подверглись дифтонгизации и вышли, таким образом, за пределы монофтонгической системы: готл. *bāita* (ср. др.-исл., др.-швед. *bīta*) «кусать», *bāu*, *tāu* (ср. др.-исл., др.-швед. *īū*) «ты» и др.

Восстановление парной симметрии в древнешведском и образование в гутническом единой системы завершилось, по-видимому, уже в послелавутный период. На это отчетливо указывает характер изменений лабиализованных переднего ряда $ī$ и $ū$. В древнешведском краткий $ī$ понижается ($ī < ø$) — аналогично понижению $ǣ > ě$, $ā > ǫ$: ср. др.-швед. *lōn* (швед. *lōnn*) и др.-исл. *hlynr*, др.-англ. *hlyn*, готл. *lyn* (герм. **hlynja*) «клея»; швед. *dōrr* и др.-исл. *dyrr* «дверь» и др. Гутнические $ī$, $ū$ также изменяются аналогично остальным гласным высокого подъема: $ī$ остается в системе (подобно кратким $ī$, $ū$), $ū$ дифтонгизируется ($ū > ōi$, ср. $ī > āi$,

²² A. N o r e e n, *Altnordische Grammatik*, II — *Altschwedische Grammatik mit Einschuss des Altgütischen*, Halle, 1904, стр. 167; E. W e s s e n, *Svensk språkhistoria*, I, *Ljudlära och formlära*, Stockholm, 1945, стр. 55.

²³ Древнегютнические и готландские примеры цитируются по изданиям: H. G u s t a v s o n, *Gutamålet, En historisk-deskriptiv översikt*, I, Uppsala, 1940; е г о ж е, *Götländsk ordbok*, I, II, Uppsala, 1940, 1945.

²⁴ M. H. G u s t a v s o n, *Gutamålet*, стр. 77, 181.

$\bar{u} > \bar{au}$): готл. *fylla* (др.-исл., др.-швед. *fylla*) «наполнять», *döir*, *dör* (др.-исл. *dýrr*) «дорогой». Следовательно, можно предположить, что восточноскандинавские краткие представляли систему, включающую лабиализованный y (i , y , a , u), долгие — семичленную систему гласных \bar{i} , \bar{y} , \bar{e} , \bar{o} , \bar{a} , \bar{o} , \bar{u} . Таким образом, с установлением симметрии в восточноскандинавских языках завершилось образование семичленных систем. В шведском возникла симметричная пара после преобразования кратких:

$$\begin{array}{ccc} i & y & u \\ \hline & \longrightarrow & e & \bar{o} & o \\ i & \rightarrow & i & : & e \\ y & \rightarrow & y & : & \bar{o} \\ a & u & \rightarrow & u & : & o & a \end{array}$$

В гутническом единая семичленная система явилась результатом конвергенции парных систем:

$$\left. \begin{array}{l} \check{i} \quad \check{y} \quad \check{u} \\ \bar{e} \\ \check{a} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{ccc} \bar{i} & \bar{y} & \bar{u} \\ \bar{e} & \bar{o} & \\ \bar{a} & \times & \bar{a} \rightarrow a \\ \bar{i} & > & \bar{ai} \dots a \end{array} \right. \begin{array}{ccc} i & y & u \\ e & \bar{o} & o \end{array}$$

III. Система долгих. Выделяемые на основе этимологического анализа прагерманские долгие \bar{i} , \bar{e}_2 , \bar{e}_1 (\bar{x}), \bar{o} , \bar{u} ²⁵ могли представлять асимметричную систему (с отсутствующим элементом \bar{q} или \bar{q} ²⁶), существование которой осталось бы запечатленным в изменениях определенной направленности. Однако ни предполагаемый переход \bar{e}_1 (\bar{x}) $>$ \bar{e} в готском, ни понижение $\bar{e}_1 > \bar{a}$ в северных и западных языках не могут быть оценены как восстанавливающие по отношению к данному системному состоянию. Следовательно, с точки зрения зависимости звуковых изменений от асимметричного состояния системы, реконструкция, предполагающая противопоставление \bar{e}_1 (\bar{x}) — \bar{e}_2 , маловероятна.

Известно, что \bar{e}_2 может рассматриваться и как гласный относительно позднего происхождения²⁷, поскольку он выделяется только на материале северных и западных языков (в формах редуцированного претерита и некоторых изолированных парах слов типа др.-англ. *céþ* и др.-в.-нем. *kien*). Готское \bar{e} лишь в четырех случаях этимологически соотносится с северо-западным \bar{e} (\bar{e}_2), причем из них только форма *hēr* «здесь» встречается во всех языках²⁸.

Если \bar{e}_2 считать элементом более поздним, то к прагерманскому периоду можно отнести гласные \bar{i} , \bar{e} , \bar{o} , \bar{u} , представляющие асимметричную пяти-

²⁵ W. Streitherg, *Urgermanische Grammatik*, Heidelberg, 1943, стр. 96; W. Braune, *Althochdeutsche Grammatik*, 8. Aufl., Halle, 1955, стр. 22; H. Hirt, *Handbuch des Urgermanischen*, Heidelberg, 1931, стр. 37; W. Krause, *Handbuch des Gotischen*, München, 1953, стр. 81, 82; Э. Прокош, Сравнительная грамматика германских языков, М., 1954, стр. 101—102.

²⁶ S. Bergsveinsson, *Eine neue Brechnungstheorie?*, ZfPh, 1956, 2, стр. 132; E. Antonsen, *On defining stages in prehistoric Germanic*, «Language», 41, 1965, стр. 27.

²⁷ J. Kuryłowicz, *The Germanic vowel system*, стр. 51; H. Lüdtke, *Der Ursprung des germanischen ē₂ und die Reduplikationspräterita*, «Phonetica», 1957, 3, стр. 157—183; Э. А. Макаев, Понятие общегерманского языка, стр. 67; М. М. Гухман, указ. соч., стр. 127.

²⁸ Выдвигая гипотезу о более позднем происхождении германского \bar{e}_2 , Е. Курилович сводит проблему этого гласного к объяснению только одной формы *hēr* (остальные случаи могут игнорироваться). Согласно гипотезе Е. Куриловича, в древнегерманском *hēr* совпали генетически разные элементы: в готской форме сохраняется старое \bar{e}_1 , в других языках здесь представлен новый гласный \bar{e}_2 (J. Kuryłowicz, *The Germanic vowel system*, стр. 51).

членную систему с отсутствующим \bar{a} -элементом. О том, что в прагерманской системе существовало место для \bar{a} , свидетельствует появление \bar{a} в позиции перед h ($\bar{a}h < *\bar{a}nh$). Этой асимметрии, кроме того, полностью соответствует направленность северо-западного изменения $\bar{e}_1 > \bar{a}$, восстанавливающего элемент \bar{a} . Распространяясь, однако, на все позиции, это изменение приводит систему к новой асимметрии: восстановлен элемент \bar{a} , но отсутствует \bar{e} . Так в северных и западных языках могли возникнуть системные предпосылки появления нового элемента \bar{e} . Попробуем предположить, что этим новым элементом и явилось так называемое германское \bar{e}_2 :

$$\begin{array}{ccc} \bar{i} & \bar{u} & \bar{i} & \bar{u} \\ \bar{e} & \bar{o} & \bar{e} & \bar{o} \\ & \bar{e}_1 > \bar{a} & & > \bar{e}_2 \\ & \bar{a} & & \bar{a} \end{array}$$

(символ \bar{e}_2 теперь может обозначать все (генетически разные) \bar{e} , причастные к восстановлению \bar{e} -элемента²⁹).

Зависимость появления \bar{e}_2 от асимметричного состояния, возникшего после $\bar{e}_1 > \bar{a}$, подтверждается тем, что этот гласный в ряде случаев можно возвести к $*\bar{i}$, т. е. наблюдается изменение $*\bar{i} > \bar{e}_2$, которое соответствует данной асимметрии (ср. аналогичную роль $\bar{e}_1 > \bar{a}$).

Изменение $*\bar{i} > \bar{e}_2$ прослеживается прежде всего в развитии древнегерманского $\bar{h}\bar{e}r$. Более древнее $*\bar{h}\bar{i}r$ можно получить путем внутренней реконструкции, рассматривая эту форму в системе других наречий места: гот. *hvaðrē*, др.-англ. *hwæder* «куда» — гот. *hvar*, др.-англ. *hwær*, др.-в.-нем. *hwâr*, общегерм. $*\bar{h}wâr$ «где»; гот. $*\bar{p}adrē$, др.-англ. *þader* «туда» — гот. *þar*, др.-англ. *þár*, др.-в.-нем. *dâr*, общегерм. $*\bar{p}âr$ «там». Долгое \bar{a} , представленное не только в западногерманских формах, но и готских (вместо обычного \bar{e}), не может восходить к \bar{e}_1 ³⁰ (старой долготе) и является, по видимому, результатом удлинения $*\bar{a}$. Аналогичное (компенсирующее?) удлинение должно было коснуться и краткого $*\bar{i}$: гот. *hidrē*, др.-англ. *hider* «сюда» — общегерм. $*\bar{h}\bar{i}r$ (!) «здесь» (ср. гот. *hidrē*, др.-англ. *hider* и др.-норв. *hīt* «сюда»³¹). Общегерманское $*\bar{h}\bar{i}r$ сохраняется в древнефризском ($\bar{h}\bar{i}r$) и древнесаксонском (*hīr*, *hēr*), в остальных языках происходит дальнейшее изменение $*\bar{h}\bar{i}r$ $\bar{h}\bar{e}r$ (которому способствует, возможно, позиция перед r , ср., например, гот. *weis* и др.-исл. *vér*, др.-англ. *wé* «мы» и др.) Форма $\bar{h}\bar{e}r$, таким образом, возводится к индоевропейскому корню на $*\bar{i}$: $\bar{h}\bar{e}r < *h\bar{i}r < h\bar{i} < *k\bar{i}$ (лат. *cis* «по эту сторону», литов. *šis*, слав. *сь* «этот», др.-исл. *hit* «это» и др.)³².

Общегерманское $*\bar{i}$ ($> \bar{e}_2$) можно реконструировать и в таких случаях, как др.-в.-нем. *skiari*, *stiaga*, *wiara*, *ziari*, где \bar{e}_2 ($> ia$, *ie*) чередуется с \bar{i} других языков (ср. др.-в.-нем. *skiari* и гот. *skeirs*, др.-исл. *skirr* и т. д.). В соответствии со старой точкой зрения на \bar{e}_2 как элемент прагерманский, чередование \bar{e}_2 : \bar{i} обычно возводится к индоевропейскому количественному аблауту $*\bar{e}i$: $*\bar{e}i$ (\bar{i}). Но если происхождение \bar{e}_2 отнести к более позднему периоду, различная огласовка германских форм может объяс-

²⁹ Как результат этого восстановления, \bar{e}_2 относится, очевидно, к периоду индивидуального развития; известно, что уже $\bar{e}_1 > \bar{a}$, предшествующее появлению \bar{e}_2 , происходило неодновременно в западногерманских языках (В. М. Якимович и И. Немечка диалектология, М.—Л., 1956, стр. 167).

³⁰ Ср.: W. Streitberg, *Urgermanische Grammatik*, стр. 275.

³¹ См.: A. Noreen, *Altisländische und altnorwegische Grammatik*, 3. Aufl., Halle, 1903, стр. 116.

³² Ср. реконструкцию и.-е. $*k\bar{e}i$:- $*k\bar{e}i$:- $*k\bar{i}$ -, объясняющую германские *hēr*, *hīr*, *hit* как отражение количественного аблаута: М. Н. Яковлев, *Germanisch ē₂*, РВВ, XV, Halle, 1891, стр. 297; W. Streitberg, *Urgermanische Grammatik*, стр. 65; J. Janík, *Über germanisches ē₂...*, IF, XX, 1906, стр. 244, 251; Э. Прокош, *Сравнительная грамматика германских языков*, стр. 101—102.

няться как результат индивидуального развития³³: в древневерхненемецком (на юге германской территории) происходит изменение $*\bar{i} > \bar{e}_2$, в остальных языках общегерманское $*\bar{i}$ сохраняется³⁴. Ср.: др.-в.-нем. *skiari* (< *skē₂r-* «умный») и гот. *skeirs*, др.-исл. *skírr*, др.-англ. *scír*, др.-фриз. *skīre*, др.-сакс. *skiri* «ясный» (общегерм. $*sk\bar{i}r-$); др.-в.-нем. *stiaga* (> $*stē₂g-$) «лестница» и гот. *steigan*, др.-исл. *stíga*, др.-англ. *stigan*, др.-фриз. *slīga*, др.-сакс., др.-в.-нем. *stigan* «подниматься» (прагерм. $*stīg-$, ср. лат. *vestigium*, «ступня», «след», греч. στειχῶ «иду, поднимаюсь»); др.-в.-нем. *wiara* «золотая, серебряная проволока» и др.-англ. *wir* (общегерм. $*w\bar{i}r-$. Удлинение $*i$? Ср. лат. *viriae* «браслет», греч. τρίς «радуга»); др.-в.-нем. *ziari* (нем. *Zier*) «красота», *ziari*, *zēri* «дорогой; красивый» и др.-исл. *tírr*, др.-англ. *tír*, др.-сакс. *tír* «почет, слава» (прагерм. $*t\bar{i}z?$ Ср. лат. *dīs* < *dives* «богатый»). О том, что чередование $\bar{e}_2 : \bar{i}$ в приведенных случаях результат германского развития (а не отражение индоевропейского аблаута) свидетельствуют латинские заимствования, запечатлевшие распространение германских $\bar{e}_2 : \bar{i}$. На юге (в древневерхненемецком) латинское \bar{e} передается через \bar{e}_2 , на севере — через \bar{i} . Ср.: др.-в.-нем. *ziakha*, нем. *Zieche* «чехол» и фриз. *tiik*, ср.-нидерл. *tijk* (из ср.-лат. *thēca* «покрывало»); др.-в.-нем. *ziagal*, нем. *Ziegel* «черепица» и др.-исл. *tiǵl*, др.-англ. *tigele* (из лат. *tēgula*). Возможно, что и в заимствованиях \bar{e}_2 возникло на месте $*\bar{i}$ ($*\bar{i} > \bar{e}_2$), поскольку лат. \bar{e} , \bar{o} (как более узкие) передавались в германских языках через \bar{i} , \bar{u} , а др.-в.-нем. \bar{e}_2 (> *ia*, *ie*) может соответствовать не только лат. \bar{e} , но и \bar{i} (ср. др.-в.-нем. $*l\bar{e}sc$ > ср.-в.-нем. *liesche* «осока» и ср.-лат. *līscā*); наблюдаются также случаи сохранения герм. \bar{i} , передающего лат. \bar{e} (ср. др.-в.-нем. *fīr(r)a*, нем. *Feier* и ср.-лат. *feria*).

Очевидно, что через ступень $*\bar{i}$ герм. \bar{e}_2 можно возвести к разным индоевропейским источникам — к $*\bar{i}$, краткому $*\bar{i}$ (*hēr*), $*\bar{e}i$ ³⁵ (*stiaga*) и, вероятно, $*\bar{e}i$ (> $\bar{e}i$ > \bar{i})³⁶.

В скандинавских и западногерманских языках гласный \bar{e}_2 представлен также в формах единственного и множественного числа р е д у п л и ц и р о в а н н о г о п р е т е р и т а; др.-исл., др.-англ. *hét*, др. сакс. *hêt*, др.-в.-нем. *hez*, *hiaz*, *hieȝ*, ср. гот. *hāihait* (инф. *haitan* «звать; называть») и др. Происхождение \bar{e}_2 в редуцированном претерите³⁷ можно объяснить, сравнив древневерхненемецкие формы с формами других языков. В древневерхненемецком рефлексы \bar{e}_2 находят не только в известных *hiaz*, *hiaz*, *riat*, которым соответствуют формы на \bar{e} других языков (например, др.-исл. *hét*, *lét*, *réd*), но и в претерите таких глаголов, как *haltan* (*hialt*) «держать», *gangan* (*giang*) «идти», *jāhan* (*jiang*, *feng*) «ловить», *hāhan* (*hiang*) «висеть» *blāsan* (*blias*) «дуть» и др.³⁸, где в остальных языках сохраняется, по-видимому, старый (неудлиненный) гласный \bar{i} р е д у п л и ц и р у ю щ е г о с л о г а: ср. др.-в.-нем. *hialt* и гот. *hāihald*, др.-исл. *helt*, др.-англ. *held*, *heold*, др.-сакс. *held* и т. д. Не слу-

³³ Н. Л ü d t k e, Der Ursprung des germanischen \bar{e}_2 ..., стр. 161.

³⁴ Согласно предположению Г. Людке, германские $\bar{e}_2 : \bar{i}$ восходят к дифтонгу $*\bar{e}i$, который на юге развился в \bar{e}_2 , на севере — в \bar{i} (там же, стр. 161, 175).

³⁵ О возможном происхождении \bar{e}_2 из $*\bar{e}i$ (но путем $\bar{e}i > ee$) см.: F. v a n C o e t s e m, Das System der starken Verba und die Periodisierung im älteren Germanischen, Amsterdam, 1956, стр. 39.

³⁶ Развитие и.-е. $*\bar{e}i$ к \bar{e}_2 путем $\bar{e}i > \bar{e}i$ (> $\bar{i} > \bar{e}_2$) подтверждается рефлексом $*\bar{e}i$, который может сохраняться (в готских флексиях) как краткий дифтонг — подобно остальным индоевропейским долгим дифтонгам (Т. С. Г л у ш а к, Рефлексы индоевропейских долгих дифтонгов в германских языках. Автореф. канд. диссерт., М., 1962, стр. 23).

³⁷ Существует несколько различных решений этого вопроса (см.: М. М. Г у х м а н, указ. соч., стр. 123—126).

³⁸ См.: J. S c h a t z, Althochdeutsche Grammatik, Göttingen, 1927, стр. 291.

чайно краткость гласного совпадает с наличием сочетания согласных (ср. др.-исл. *hét, lét, blés* и *helt, gekk, fekk, hekk*), причем перед группой *-ng* краткость может сохраняться и в древневерхненемецком [*fenc (fâhan), genc (gangan)*] — наряду с *feanc, fianc, fienc*], а выпадение назального сопро-возждается, как правило, удлинением гласного (например, *-fieg, intfieg*)³⁹. Наблюдаются и диалектные колебания долготы перед консонантной груп-пой: ср. южнонем. *helt* (бавар.) и *-healt* (алеман.)⁴⁰.

Как результат удлинения гласного редупликации \bar{e}_2 , очевидно, восхо-дит к и.-е. $*\check{e}$ в редуплицирующем слог индоевропейского перфекта. Но поскольку в прагерманском происходили изменения $*\check{e} > \check{i}$, следует предположить, что в редуплицирующем слог может удлиниться не только $*\check{e}$, но и \check{i} ($< *e$)⁴¹. Возможно, что удлинение \check{i} ($< *e$) запечатлели древне-фризские *hît, lît* (редкое), др.-исл. *hît*, рун. швед. *hit*, др.-гутн. *hît*⁴².

Выше приводились только те немногочисленные случаи, где обычно выделяется \bar{e}_2 как общегерманский элемент. Если же происхождение этого гласного рассматривать в зависимости от асимметричного состояния, воз-никшего после перехода $\bar{e}_1 > \bar{a}$, число примеров на \bar{e}_2 значительно увели-чится: в каждом германском языке может быть выявлен свой особый путь восстановления \bar{e} -элемента.

³⁹ Там же, стр. 315.

⁴⁰ Там же, стр. 293.

⁴¹ Редуплицирующий слог, по-видимому, первоначально был безударным (ср. озвончение в гот. *saizlêp*, прошедшее время от *slêpan*), а в безударном положении \check{e}, \check{i} могли совпадать в одном \check{i} (см.: Н. К р а h e, Germanische Sprachwissenschaft, I, Berlin, 1956, стр. 64).

⁴² См.: А. N o r e e n, Altisländische und altnorwegische Grammatik, стр. 300; J. J a n k o, Über germanisches \bar{e}_2 ..., стр. 266—267, 281.

Я. Б. КРУПАТКИН

ОБ АЛЛОФОНИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЯХ

Профессору
М. И. Стеблину-Каменскому

Вероятно, мы не ошибемся, утверждая, что термину «аллофон», распространяемому из американской лингвистики, в традиции Пражской школы приблизительно соответствует «комбинаторный (позиционный) вариант фонемы»¹. Однако достаточно сделать хотя бы шаг в сторону, как наша уверенность исчезает. Действительно, каково реальное содержание понятия «аллофон»? И что, собственно, обозначает в звуковой действительности «комбинаторный вариант фонемы»?

В пражской функциональной лингвистике никогда не было единого взгляда на комбинаторные варианты, и это своеобразно отразилось в полемике о том, принадлежат ли варианты языку или речи². Стремясь внести ясность, Н. С. Трубецкой предложил различать (1) варианты, которые сигнализируют о непосредственно примыкающей другой фонеме, (2) варианты, которые сигнализируют о наличии границы слова или морфемы, и (3) варианты, которые свидетельствуют одновременно о том и другом. Первые он отнес к речи, вторые — к языку, а для третьих советовал найти место «где-то между языком и речью»³. В то же время Б. Трыка полагал, что граница между фонемами и вариантами вообще не совпадает с границей между языком и речью⁴, и пробовал описать вариант в совершенно ином плане. Если ассимиляция осуществляется по признаку, релевантному в данной системе фонем, то надо говорить о вариации; если по признаку нерелевантному, то перед нами всего лишь модификация⁵.

Также и в американской дескриптивной лингвистике не было и нет ясности в отношении аллофонов. Примерно в одно и то же время здесь называли аллофонами и «звуки, образующие одну фонему» (Б. Блок), и «индивидуальные звуки, которые образуют фонему» (Б. Блок и Дж. Трейдджер), и «звуковые типы, представляющие собой члены фонемного класса» (Дж. Трейдджер и Б. Блок), и «классы таких фонем, которые все являются членами одной и той же фонемы и встречаются... в одной и той же

¹ Подробнее см.: J. V a s h e k, The linguistic school of Prague. An introduction to its theory and practice, Bloomington — London, 1966, стр. 51.

² Так, вопреки мнению об «экстрафонологическом» характере вариантов (см. «Projet de terminologie phonologique standardisée», TCLP, 4, 1931, стр. 319). В Скаличка определенно относил их к языку (V. S k a l i ě k a, Z otázek fonologických, SaS, II, 1936, стр. 194), против чего возражал Л. Новак (L. N o v a k, K základným otázkám strukturálnéj jazykovědy, «Sborník Matice Slovenskej», Čast prvá, Jazykověda, XV, 1937, стр. 8).

³ Н. С. Т р у б е ц к о й, Основы фонологии, М., 1960, стр. 316 (здесь и далее всюду в цитатах разрядка моя. — Я. К.).

⁴ В. Т р н к а, O súčasnej stavu bádání ve fonológii, II, SaS, VI, 1940, стр. 213—214.

⁵ В. Т р н к а, On the combinatory variants and neutralization of phonemes, «Proceedings of the Third international congress of phonetic sciences in Ghent», Ghent, 1939, стр. 26. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что между трактовкой комбинаторного варианта у Н. С. Трубецкой и у Б. Трыки фактически мало общего и что за минувшие десятилетия ни один, ни другой подход, видимо, не нашли признания.

позиции» (Ч. Хоккет) ⁶. Употребление термина стало настолько расплывчатым, что один из авторов писал даже о «разделении аллофона на две фонемы» (З. Харрис) ⁷.

Как известно, методологические принципы и система процедур в функциональной и в дескриптивной лингвистике различны. И если в обеих школах комбинаторный вариант не поддается теоретическому определению, то это едва ли случайно. Впрочем настоящая статья имеет ограниченную цель — критически рассмотреть только те аллофоны, которые восстанавливаются в практике диахронической фонологии. Поскольку автор еще недавно сам охотно восстанавливал аллофоны, уместно начать с себя ⁸.

1. Реконструкция с двумя аллофонами. В западносаксонских диалектах древнеанглийского языка до появления письменности произошли два изменения, преобразившие состав оппозиций и фонем у гласных. Первое, так называемое преломление, состояло в дифтонгизации **i*, *e*, *æ* (> др.-англ. *io*, *eo*, *ea*) перед **h*, *r*, *l* плюс согласный. Второе, так называемый палатальный умлаут, состояло в палатализации гласных **a*, *o*, *u* (> др.-англ. *æ*, *ø*, *y*) и др. перед *-*i*, -*j* следующего слога. Нет нужды подробно рассматривать условия и результаты этих изменений; достаточно того, что принимается большинством авторов: 1) преломление осуществилось до умлаута, о чем свидетельствует изменение по умлауту дифтонгов, образованных по преломлению, например *ea* > *ie*; 2) как преломление, так и умлаут означали «фонологизацию» соответствующих аллофонов, которые должны были существовать накануне каждого из изменений.

Если теперь реконструировать эволюцию аллофонов какой-либо фонемы, претерпевшей оба изменения, например, праанглийского **æ* из germ. **a*, то получится следующая картина. Накануне преломления корневая гласная фонема в **æhta*, **ærm*, **æld* (> др.-англ. *eahta* «восемь», *earm* «бедный», *eald* «старый») была представлена «дифтонгическим» аллофоном *[*ea*], поскольку в следующую эпоху на месте **æ* перед **h*, *r*, *l* плюс согласный возникли дифтонги. Что касается прочих позиций, то их можно объединить, предположив для них аллофон «недифтонгический» *[*æ*]. В результате дальнейшей фонологизации обоих аллофонов были получены фонемы **ea* и **æ*, где последняя существенно отличается от фонемы **æ*, существовавшей до преломления. Сходная ситуация восстанавливается и накануне умлаута: корневой гласный в **mæti*-**sættjan* (> др.-англ. *mete* «пища», *settan* «помещать») реализовался «умлаутным» аллофоном, тогда как прочие позиции объединялись аллофоном «неумлаутным». И снова, в результате фонологизации этих аллофонов были получены новые фонемы **e* и **æ*.

Несмотря на кажущуюся стройность аллофонной реконструкции, автор вынужден признать, что она в действительности полна противоречий. Так, умлаутный аллофон накануне изменения по умлауту не соответствует «комбинаторному варианту» по определению: ассимиляторное воздействие исходит не от фонемы, непосредственно примыкающей (Н. С. Трубецкой; см. выше), откуда следует, что для этого синхронного среза автор назвал аллофоном нечто принципиально иное, нежели то, что имело место накануне преломления. Также не соответствуют определению аллофоны «недифтонгический» и «неумлаутный»: в обоих случаях перед нами не на-

⁶ См.: Э. Хэмп, *Словарь американской лингвистической терминологии*, М., 1964, стр. 35.

⁷ Там же.

⁸ См.: Я. В. Крупаткин, *Становление древнеанглийского вокализма (проблема нигвеонского развития)*. Автореф. докт. диссерт., Л., 1966, стр. 12—13 и др.; ср. также: У. В. Круграткин, *Towards a causal internal reconstruction*, «*Philologica pragensia*», IX, 4, 1966, стр. 414—418.

личие, а отсутствие ассимиляторного влияния. Наконец, там, где ассимиляторное влияние присутствует, оно почему-то сказывается именно тогда, когда предстоит очередное изменение. Вряд ли, например, воздействие *-i следующего слога появилось только накануне умлаута, однако в реконструкции накануне преломления для умлаутного аллофона нет места.

На это, правда, можно возразить, что накануне преломления умлаутный аллофон в **mæti*- объединен с другими недифтонгическими аллофонами условно, для удобства и т. д. и что вообще-то его можно выделить и учесть. Но кто назовет, какие еще аллофоны, кроме умлаутных, вошли в состав «недифтонгического»? Если верно, что комбинаторный вариант фонемы есть факт синхронии, то и отождествлять его следовало бы в ряду других вариантов фонемы, исходя из анализа синхронических отношений. Между тем, до сих пор аллофоны выделялись с учетом изменений на оси диахронии. А как быть, если в будущем изменений не произойдет, например в **mæt* (> др.-англ. *mæt* «измерял»)? Или если потенциально присутствуют два будущих изменения, например, в **armiþu* (>**earmiþu* > др.-англ. *iermþu* «бедность»)?

Вероятно, можно было бы назвать аллофон в **mæt* «основным вариантом»⁹. Но не уходим ли мы при этом от ответа по поводу его комбинаторной обусловленности¹⁰? Опять же, поскольку преломление осуществилось раньше умлаута, то можно было бы определить аллофон в **armiþu* как дифтонгический. Но действительно ли ассимиляторное влияние **r* в ту эпоху было сильнее, чем влияние *-i? Нет, об этом ничего не известно, просто мы снова воспользуемся свидетельством диахронии и уйдем от анализа синхронических фактов.

2. Реконструкции, содержащие более двух аллофонов. Однако не требуют ли от фонолога-диахрониста слишком многого? И как ему судить о синхроническом срезе тысячелетней давности без свидетельств диахронии? Да, с этим, конечно, трудно не согласиться. Более того, при восстановлении доисторических состояний именно данные о предшествующих и последующих изменениях оказываются особенно важными. Но только причем здесь аллофоны, если то, что реконструируется на основе фонологизаций, плохо соответствует идее «комбинаторного варианта фонемы»? Это видно в реконструкциях с двумя аллофонами. И это же верно для реконструкций, где число аллофонов превышает два.

Так, для германского **e*₁ в протоанглийском Г. Пендл восстановил аллофоны [ā æ ē ǣ]; из них [æ] перед *-i, -j следующего слога, [ē] перед носовыми согласными, [ǣ] перед велярными согласными следующего слога, [ā] в остальных позициях¹¹. Не говоря уже о неясности условий возникновения «необусловленного» [ā], отметим, что обусловленность «непосредственно примыкающей» фонемой учтена только в случае [ē]. В связи с чем трудно судить о характере аллофона в **kwāni* (>**kwōni* > др.-англ. *swēn* > *swēn* «жена»); где можно было бы восстановить и [ē], и [æ]; или в **kwātip* (> др.-англ. *swōtip* «приходили»), где также можно было бы считаться и с [ē], и с [ǣ]. Действительно, не восстанавливать же аллофоны с качеством, «средним» между [ē] и [æ] или между [ē] и [ǣ]!

А впрочем почему бы и нет, если строгая процедура не определена? Именно так и поступил Э. Антонсен при реконструкции аллофонов гер-

⁹ Й. Вахек, Лингвистический словарь Пражской школы, М., 1964, стр. 40—41.

¹⁰ Уместно заметить, что понятие основного (необусловленного) варианта фактически оказалось непродуктивным и почти не использовалось.

¹¹ Н. Рензл, Zur Vorgeschichte von westsächsisch *ā* und zur Methode des Rekonstruierens, «Wiener Beiträge zur englischen Philologie», LXVI, 1958, стр. 165 (далее ссылки даются в тексте).

манского /a/ в протоангло-фризском¹². Перед *-i* он восстановил аллофон [æ], перед *-u* восстановил [α], а в словах типа **apuling* (> др.-англ. *æpeling* «знатный господин») предложил считаться с «комбинированной ассимиляцией» со стороны *-i* и *-u* и, следовательно, с особым аллофоном [ə]. Зато в реконструкции не нашлось места для позиции перед носовыми, хотя и в эпоху удлинений перед щелевыми и в древнеанглийскую эпоху ее специфика проявилась достаточно ясно. Вопреки очевидным фактам, Антонсен включил позицию перед носовыми накануне англо-фризского «сдвига» в некий общий аллофон [a], который охватывает также позиции перед *-a* и *-e* и в односложных словах. Не удивительно поэтому, что в ходе «сдвига» аллофон [a] «расщепился», в частности, за счет выделения позиции перед носовыми.

Из сказанного до сих пор видно, что понятие аллофона в реконструкциях не является достаточно определенным. Об этом говорит уже сама возможность различного деления дисперсионного поля фонемы: на две или более двух частей (1), а в последнем случае — с выделением или без выделения некоторых позиций (2), при допущении одновременно двух ассимиляций или без такового (3). Похоже, что многое в определении аллофона зависит еще и от целей реконструкции. Антонсен, например, признает, что восстановил не все аллофоны, что их на самом деле было гораздо больше (стр. 218). Опять же, в случае с преломлением и умлаутом (см. выше, стр. 36) автор называл дифтонгическим а л л о ф о н о м до преломления равнозначность **æ* перед **h*, *r*, *l* плюс согласный, независимо от следующего гласного; а сразу после преломления предлагал считаться в этой же позиции уже с д в у м я а л л о ф о н а м и — теперь в зависимости от следующего **-i*, *-j*.

Но аллофон, понимаемый таким образом, перестает быть «комбинаторным вариантом фонемы» и едва ли вообще принадлежит синхронии. Будучи реконструирован по историческому изменению, он и принадлежит диахронии, условно обозначая будущую фонему. Когда в современном русском языке устанавливаются четыре аллофона для гласного в словах *семь*, *сел*, *шесть*, *шест* (от минимальной до максимальной степени открытости)¹³, то здесь аллофон — уже нечто принципиально иное. Стремясь «примирить» синхронию с диахронией, автор писал о «диахронически существующих» вариантах, но примирение получилось только словесное.

3. Зачем восстанавливаются аллофоны? Коль скоро аллофоны диахронической фонологии не соответствуют аллофонам современного языка, то следовало бы во всяком случае не называть их одинаково. Однако дело не только в термине: неблагоприятно, как мы видели, и в самой процедуре восстановления аллофонов. Хотя произвольность реконструкций уже отмечалась, все же взглянем на них с еще одной стороны: попытаемся понять, какие цели ставят перед собой авторы и каких результатов достигают.

По словам Пенцла, он восстанавливает аллофоны [ā ā̄ ǣ ǝ], «чтобы привести к фонетическому знаменателю более позднее фонематическое развитие к /ō/, /ǣ/, /ǣ̄/» (стр. 165); о том, что для него восстановленные аллофоны соответствуют «фонетике», говорит и другая цитата: «...в древневерхнемецком /ā/ перед *i* следующего слога имело п р о и з н о ш е н и е [ā̄]. Но только переход *i* в [ə] превратил к о м б и н а т о р н ы й в а р и а н т [ǣ̄] в фонему /ǣ̄/...» (стр. 164). В действительности же

¹² E. Antonson, *Germanic umlaut anew*, «Language», XXXVII (1961), 2, стр. 225 (далее ссылки даются в тексте).

¹³ См.: Ю. Д. Апресян, *Идеи и методы современной структурной лингвистики*, М., 1966, стр. 49—50.

подобные аллофоны не имеют непосредственного отношения ни к фонетике, ни к произношению; все они, как мы видели, есть будущие фонемы. Или вот еще рассуждение. «Поскольку метод реконструкции основан на сведениях всех исторических вариантов к одному доисторическому знаменателю» (стр. 160), то сначала для исторических /ā/ и /ǣ/, чередующихся в родственных словах, принимается общий праанглийский источник — фонема * /ā, ǣ/ (стр. 163), а затем «для нашей фонемы * /ā, ǣ/ мы должны предположить, что она имела аллофон [ǣ] перед невелирными нелабиальными согласными, особенно когда в следующем слоге было * -i, но аллофон [ā] перед велирными смычными и щелевыми при велирном гласном следующего слога» (стр. 165). Не трудно заметить, что и здесь реконструкция ведется на уровне фонем.

Но если не для «приведения к фонетическому знаменателю», то для чего же все-таки восстанавливать аллофоны? «Особенность исторического распределения фонем указывает на аллофонные обстоятельства в первоначального фонемного изменения, которое мы реконструируем. Всякое истинное звуковое изменение, которое происходит неосознанно и постепенно, имеет свою предстацию в образовании и позиционных вариантов (аллофонов)» (стр. 164); в частности, «фонема * /ā/ развилась в [ǣ]-аллофоны перед * i-звуками, т. е. она подлежала... те перь умлауту» (стр. 165). Так вот в чем дело! Сначала фонема * /ā/ перед i не имела палатального аллофона, а затем развила его и только после этого «подлежала умлауту». Тогда понятно, что, если мы хотим реконструировать фонемное изменение, не следует пренебрегать и развитием его «предстации». Правда, как мы видели, аллофоны, которые словно по заказу «развиваются» накануне соответствующего изменения, мало похожи на комбинаторные варианты фонем. Но уж зато при такой реконструкции все «сойдется»: ведь аллофон восстанавливают по тому самому фонемному изменению, справедливость которого он и должен подкрепить.

Интересно, что сходные мотивы движут и Антонсеном. Именно «развитие передних и задних аллофонов различных фонем в протогерманском позволяет понять древнеанглийские явления палатального и велирного умлаутов...» (стр. 226). Аллофоны для Антонсена интересны лишь в качестве основы будущих фонологических преобразований; а теми аллофонами, которые не оставили следа в рассматриваемых диалектах, можно вообще пренебречь (стр. 227). При этом он оказывается в том же порочном кругу: сначала восстанавливает «развитие» аллофонов на основании дальнейших умлаутов, а затем уверяет, что именно это «развитие» и позволяет понять умлауты.

Бесполезность таких реконструкций кажется вполне очевидной. При чем все это опять же связано с отсутствием четкого представления о самих аллофонах (ср. выше). Иначе как согласовать, например, слова о возникновении и развитии аллофонов с утверждением, что «самого начала... должны были существовать многочисленные аллофонические варианты» (стр. 218)? Или «многочисленные варианты — с бесчисленными вариантами» на следующей странице? А ведь здесь не описки. И когда Пенцл пишет рядом то об [ǣ]-аллофонах, то об [ǣ]-аллофоне праанглийского * /ā/ (стр. 165, 167), — это тоже относится не к области стилистики, тем более, что подобных примеров много, и не только у него. Просто «язык науки» оказывается в данном случае весьма красноречивым.

В конце концов все сводится к одному. И тот, кто захотел бы сформулировать представление об аллофоне, не избежит необходимости ответить на вопросы: 1) является ли число аллофонов для данной фонемы конечным

и как эти аллофоны отождествляются? 2) является ли зависимость аллофона от позиции достаточно «жесткой», т. е. всегда ли данная позиция автоматически предполагает наличие данного аллофона, или же при неизменной позиции аллофон в состоянии «возникать», «развиваться», а возможно и исчезать?

До тех пор пока эти элементарные вопросы обходятся как нечто само собой разумеющееся, трудно отделаться от впечатления, что, восстанавливая аллофоны, мы не восстанавливаем «нового платья короля»¹⁴.

Важно отметить, что реконструкции аллофонов, подобные описанным, не только бесполезны. Они еще и вредны, ибо могут создавать иллюзию строгости там, где налицо произвол и насилие над фактами. Вот, скажем, Пенцлу нужно изложить «палатализация» западногерманского */ā/ в протоанглийское */ǣ/. Не будь аллофонов, пришлось бы повторять версию о мистической «тенденции», о «сдвиге» артикуляции и пр. Зато если реконструировать для прафонемы */ā/ четыре аллофона [ā ǣ ǣ̄ ǣ̄̄], то является возможность рассказать, как «*[ǣ], аллофон перед *i*, в *y* т е с н и л (?) более раннее *[ā] перед невеличкими согласными» (стр. 165) — и этого достаточно... Опять же, с аллофоном проще описать и появление исторического */ō/ на месте исходного */ā/ перед носовыми: все дело, видите ли, в том, что перед носовыми наше */ā/ было представлено аллофоном с «повышенной» артикуляцией */[ā̄], которому, понятно, уже ничего не стоило «с о в п а с т ь» (?) с */ō/ (стр. 166)...

Совершенно уникальная реконструкция аллофона [ə] для корневого *a*, когда оно подвергалось «комбинированному» влиянию *-i* и *-i* (см. выше), стала для Антонсена прямо-таки находкой — дала «ключ» к пониманию... англо-фризского сдвига $a > \text{æ}$. Оказывается, сдвиг происходит вот как. Перед сдвигом фонема *a* была представлена аллофонами [æ ə a]; «в этот момент, однако», она «с д в и н у л а с ь вперед», включая все аллофоны, кроме [a] перед носовыми или перед *-a*; в результате, аллофон [æ] совпал с фонемой *e*; аллофон [ə] занял место, «освобожденное прежним [æ]», аллофон [a] занял место, «освобожденное прежним [ə]», тогда как аллофон [a] претерпел расщепление» (!) на [æ] и [a] (стр. 224—225; ср. выше, стр. 38)¹⁵.

4. А нельзя ли без аллофонов? Но если все это так произвольно, то не отказаться ли вообще от реконструкции аллофонов? Ведь похоже, что «аллофон» не является условием фонологического изменения — ни в качестве его «предстадии», ни в качестве объекта будущей «фонологизации» при переходе от одного синхронного среза к другому. Действи-

¹⁴ Отметим, что и для аллофонов современного языка подобные вопросы могут оказаться уместными. Ведь устанавливают же для русского и не только два аллофона — «заднее [ы] после твердых согласных, переднее [и] в других позициях» (ср.: И. В а х е к, указ. соч., стр. 45), но и четыре — по степени открытости, например, в *быть*, *бит*, *бить*, *бит* (ср.: А. И с а б е н к о, *Fonetica spisovneje ruštiny*, Bratislava, 1947, стр. 177—182); а иногда *и* и *ы* описываются как две разные фонемы. Также для английского р можно установить два аллофона — придыхательный и непридыхательный (ср.: С. Н. Ф о с к е т т, *A course of modern linguistics*, New York, 1958, стр. 63), но можно установить и три — напряженный и придыхательный, напряженный и непридыхательный, ненапряженный и непридыхательный (ср.: Н. Д. А р у т ю н о в а, Г. А. К л и м о в, Е. С. К у б р я к о в а, *Американский структурализм*, в кн. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 216). Стоит задуматься и над тем, почему в обширном труде, посвященном фонологическому анализу современного английского языка, Б. Трнка решил вовсе не касаться аллофонов (ср.: В. Т р н к а, *A phonological analysis of present-day standard English*, Tokyo, 1966, стр. 6).

¹⁵ В качестве иллюстрации слияния [æ] с фонемой /e/ Антонсен приводит [gæsti-] > /gesti-/, но здесь появление /e/ не имеет отношения к сдвигу $a > \text{æ}$ и могло произойти только после умлаута; ср.: А. С а м р е л л, *Old English grammar*, Oxford, 1959, § 193 (с.).

тельно, независимо от того, считается или не считается с особым, назализованным, аллофоном фонемы *a* в прагерманском **gans*- «гусь»¹⁶, влияние *n* должно было в какой-то мере сказываться на фонетической характеристике гласного. И этого уже достаточно для того, чтобы существовала потенциальная возможность дальнейшего изменения **gans*- > **gās* (> др.-англ. *gōs*), при котором гласный оказался назализованной фонемой. Здесь уместно вспомнить, что И. А. Бодуэн де Куртене различал именно звук и фонему (*a* не вариант и фонему)¹⁷. Стоит напомнить и высказывание А. Артымовича, где тоже ни слова о вариантах: «Фонема, элемент языка, живущий в языковом сознании, имеет некоторое число признаков, посредством которых ее можно идентифицировать и отличить от других фонем. Эти признаки являются важными, релевантными для языка; их число ограничено. С другой стороны, звук, элемент речи, имеет бесконечное число признаков, некоторые из которых не важны, не релевантны для языка, поскольку не живут в языковом сознании и, следовательно, не могут быть использованы для целей различения»¹⁸.

Что же касается перехода от одного синхронного среза к другому, то и его можно строго описать без аллофона — в терминах дидифференциальных признаков, минимальных единиц фонологического изменения языка¹⁹. Например, в случае **gans*- > **gās* речь должна идти о том, что назализация гласного из нерелевантного признака стала релевантным. А древнеанглийское преломление перед **h, r, l* с последующим согласным (см. выше, стр. 36) тоже следует трактовать как превращение дифтонгичности из нерелевантного признака в релевантный. На первый взгляд это может показаться тривиальным: ведь многие из существующих аллофонных реконструкций являются фактически реконструкциями на уровне признаков²⁰. В действительности же отказ от «фоноло-

¹⁶ Например, Антонсен с такой возможностью не считается (E. Anton sen, указ. соч., стр. 218—220).

¹⁷ И. А. Бодуэн де Куртене, Избранные труды по общему языкознанию, П. М., 1963, стр. 253; см. также: Ю. Д. Апресян, указ. соч., стр. 25. Ясно, что при таком разграничении не возникает трудностей с отнесением фонемного и звукового уровней соответственно к языку и речи (см. выше).

¹⁸ А. Артымович, On the potentiality of language, сб. «A Prague school reader in linguistics», Bloomington, 1964, стр. 78—79. В статье развиваются идеи В. Матезиуса (см.: В. Матезиус, О потенциальности языковых явлений, в кн. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967, стр. 42—69), который, кстати, также не оперировал «вариантами».

¹⁹ В. В. Иванов, Теория фонологических различительных признаков, «Новое в лингвистике», П. М., 1962, стр. 172 [там же ссылка на его более раннюю работу «Вероятностное определение лингвистического времени» (сб. «Вопросы статистики речи», Л., 1958)]; см. также: В. Трнка, O současném stavu bádání ve fonologii, стр. 169; А. Мартини, Принципы экономики в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 106—107. Сообщаемые В. В. Ивановым примеры исторических изменений «на один признак» относятся к так называемым «спонтанным» изменениям (германское передвижение согласных, «сдвиг гласных» в английском языке). Ясно, что различительный признак как единица исторического развития годится и для изменений комбинаторных.

²⁰ Скажем, авторы фонологических трактовок умлаута по сути дела описывают, каким образом переднеязычное качество (огубленных?) гласных перед *-i, -j* следующего слога становилось для них релевантным. Правда, описания эти спорно вводятся не вполне четкими формулировками. Так, поскольку умлаутный вариант исходной фонемы противопоставлен всем прочим ее вариантам, то «фонологизация в варианте», естественно, говорят только в первом случае и не говорят во втором; в результате, сходное развитие двух новых фонем (умлаутной и неумлаутной) фактически получает различное истолкование. Не подчеркивается, что каждая из двух новых фонем отличается от исходной фонемы на один признак — палатальность, либо непалатальность. Попутно отметим нечеткость широко распрост-

гизации аллофона» в пользу «фонологизации признака»²¹ несет с собой важное новшество. Оно сводится к тому простому выводу, что расщепление фонемы всегда происходит только на две части: признак и его противоположность. И вывод этот, кстати сказать, прямо следует как из признания действительно оппозитивными именно дифференциальных элементов, а не фонем²², так и из «закона» одновременной смены не более одного различительного признака²³.

Какую же пользу извлечет диахроническая фонология, оперируя именно бинарными признаками? Прежде всего, появится возможность строже описывать позиции, в которых происходят изменения. Это значит, что описания вроде «перед велярными смычными и щелевыми при велярном гласном следующего слога» или «перед невелярными нелабиальными согласными, особенно когда в следующем слоге было *i» (см. выше стр. 39) — будут признаны недостаточно фонологическими; их уточнение, однако, далеко не всегда явится простым делом: ведь надо моделировать «цель» расщепления и, далее, функциональные и структурные факторы, обеспечивающие его²⁴. Точно так же не пригоден для диахронии принцип выделения позиций русского *e* — в соответствии с четырьмя степенями открытости/закрытости: *семь, сел, шесть, шест* (см. выше, стр. 38). Здесь в реализации реализаций участвуют два бинарных признака (мягкость/твердость предыдущей фонемы и мягкость/твердость последующей фонемы), тогда как всякое возможное расщепление *e* произошло бы по одному признаку (см. примеч. 20). Поэтому при расщеплении, скажем, в зависимости от качества предыдущей согласной, первая и вторая позиции (*семь, сел*) оказались бы противопоставлены третьей и четвертой (*шесть, шест*)²⁵. Поскольку позиции (условия!) расщепления фонемы *e* не совпали бы с позициями четырех аллофонов, то, естественно, потребовалось бы описать их иначе. А именно, для *семь, сел* речь пошла бы о фонологии *звонкого и закрытого* (пренебрегая различиями, обусловленными мягкостью/твердостью последующей согласной); тогда как для *шесть, шест* следовало бы говорить о фонологизации *e* открытого (опять же пренебрегая различиями из-за мягкости/твердости последующей согласной).

раненного выражения «вариант превращается в фонему», которым пользовался и автор (вариант не существует иначе, как реализация фонемы; ср.: Т. В. Булыгина, Пражская лингвистическая школа, в кн. «Основные направления структурализма», М., 1964, стр. 69—70.

²¹ Я. В. Крупаткин, К вопросу об аллофоническом уровне в фонологии, в кн. «Уровни языка и их взаимодействия». Тезисы научной конференции, М., 1967, стр. 84.

²² Подробнее см.: Т. В. Булыгина, указ. соч., стр. 64—65.

²³ M. I. Steblin-Kamenskij, The Scandinavian rhotacism and laws governing the change of distinctive features, «Philologica pragensia», VI, 1963, стр. 364. В целом, вероятно, любую аллофонную реконструкцию можно легко изложить в терминах дифференциальных признаков при условии, если в ней присутствует (1) два аллофона, например палатальный и велярный, (2) две группы аллофонов, например, палатальные и велярные или же (3) один аллофон (или одна группа аллофонов) и «прочие», например, палатальный и прочие.

²⁴ Ср.: Э. Косериу, Синхрония, диахрония и история, «Новое в лингвистике», III, М., 1963, стр. 290—291; R. Jakobson, Selected writings, I, Phonological studies, s'Gravenhage, 1962, стр. 652—653. Выделяя один признак, мы стремимся установить иерархию фактов, адекватную объекту, и при этом, естественно, отбрасываем какие-то элементы действительности. Это находится в полном соответствии с дедуктивным характером метода диахронической фонологии и едва ли означает «отрыв» — фонем от звуков речи, или признаков от звуков речи, или еще чего-нибудь от чего-нибудь; ср.: А. Мартине, указ. соч., стр. 30; Э. Косериу, указ. соч., стр. 171; М. И. Стеблин-Каменицкий, Несколько замечаний о структурализме, ВЯ, 1957, 1, стр. 35.

²⁵ См.: Я. В. Крупаткин, К вопросу об аллофоническом уровне в фонологии, стр. 83—84.

Однако дело не только в этом. В диахронической фонологии, видимо, полезно оперировать не просто бинарными признаками, но такими из них, которые принимают значение «да» и «нет». Именно об этом как будто свидетельствует опыт реконструкции англо-фризского сдвига $a > \text{æ}$. Обычно полагают, что из двух праанглийских фонем α и æ вторая образовалась на месте зап.-герм. $*a$ в результате фонологически необъяснимого «сдвига артикуляции вперед» или «палатализации», тогда как первая — либо продукт дальнейшего развития $\text{æ} > \alpha$ (в лабиовелярном окружении), либо непосредственное продолжение зап.-герм. $*a$. Между тем, обе фонемы могли возникнуть одновременно — вследствие того, что на открытые краткие гласные распространилась существовавшая у долгих оппозиция $\bar{\alpha} - \bar{\text{æ}}$, т. е. вследствие расщепления зап.-герм. $*a$ на α и æ . Действительно, как впервые показал Пенцл (стр. 165), сутью расщепления праанглийского рефлекса герм. \bar{e}_1 в связи с развитием нового $\bar{\alpha}$ из ai состояла в том, что это расщепление было проведено по признаку велярность/невелярность. Но если, далее, «цель» расщепления зап.-герм. a состояла в том, чтобы восстановить нарушенный параллелизм долгих и кратких гласных, то естественно, что и у кратких расщепление должно было осуществиться по тому же признаку. В таком случае из двух членов привативной оппозиции $\alpha - \text{æ}$ маркированное α должно иметь более узкую сферу употребления. И это на самом деле так, ибо, как подтверждают памятники, невелярное æ является нормой для всей массы односложных слов²⁶. Ясно, что подобное построение оказалось возможным именно потому, что оппозиция $\alpha - \text{æ}$ квалифицировалась как велярность/невелярность, вместо традиционной велярность/палатальность²⁷.

Отказ от «фонологизации аллофона» в пользу «фонологизации признака» означает, естественно, и отказ от признания фонетических (аллофонических) изменений²⁸: ведь ясно, что в случае признака не может быть «больше» и «меньше», а может быть только «да» и «нет». Это важно, поскольку и в наши дни широко распространено мнение, будто фонологическое изменение подготавливается или сопровождается изменением фонетическим, благодаря постепенному физическому изменению звука речи²⁹. «Фонология, — по словам Косериу, — еще не сумела преодолеть натурализм на

²⁶ Я. Б. Крупаткин, Становление древнеанглийского вокализма, стр. 19—22.

²⁷ В этой связи трудно согласиться с мнением, будто «определение положительных и отрицательных дифференциальных элементов никак не вытекает из наличия каких-нибудь объективных критериев» и что «с познавательной стороны существенно не то, какой дифференциальный элемент мы условимся считать положительным и какой — отрицательным, а констатация известных противопоставленных друг другу дифференциальных элементов» (С. К. Шаумян, Проблемы теоретической фонологии, М., 1962, стр. 138, 139). Также см.: А. А. Реформатский, Дихотомическая классификация дифференциальных признаков и фонематическая модель языка, в кн. «Вопросы теории языка в современном зарубежном языкознании», М., 1961, стр. 112.

²⁸ Говоря о фонетических изменениях, обычно имеют в виду либо нефункциональные звуковые изменения вообще (так называемые «чисто физиологические изменения»), либо нефункциональные звуковые изменения как предпосылку изменений функциональных, или фонологических.

²⁹ Ср.: «Идея постепенного изменения фонетических свойств звуков речи чужда по существу учению о фонеме. Различие между фонетической характеристикой вариантов одной фонемы образуется не постепенно вследствие незаметных отклонений, идущих в одном направлении, а обязательно существует всегда и с самого начала, так как в различных фонетических условиях..., в которых оказывается тот или иной вариант данной фонемы, он будет отличаться в большей или меньшей степени по артикуляции и по звучанию от других вариантов той же фонемы» (Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, Историческая фонетика немецкого языка, М.—Л., 1965, стр. 9—10).

историческом уровне» и «все еще рассматривает изменение как явление, происходящее между двумя состояниями языка» (разрядка автора. — Я. К.)³⁰. Когда, изучая изменения праанглийских кратких гласных в связи с изменениями у долгих, автор этих строк пришел к выводу, что первые из них осуществлялись «не по оси диахронии („тенденция“), а через сдвиги на оси синхронии»³¹, и что диахрония как бы «исчезла», — это ему самому сперва казалось довольно фантастичным. Позже, однако, выяснилось, что в предположении такого механизма звукового изменения автор не был оригинальным: идею уже сформулировал Р. О. Якобсон. «Фонологическое изменение, — писал он, — есть переход от одного кода к другому...», поэтому «оно прежде всего есть проблема семиотическая»³². «Любое звуковое изменение в процессе своего осуществления является фактом синхроническим»³³. И «так как в процессе изменения его два элемента, исходный и конечный, с необходимостью встречаются рядом и могут быть сравнены в отношении их места и функции в системе, мы можем и даже должны искать цель изменения»³⁴.

Подведем некоторые итоги. Есть основания думать, что отказ от реконструкции аллофонов не угрожает существованию диахронической фонологии. Напротив, переход к последовательному анализу по признакам делает возможным более синтетическое понимание фонологических процессов³⁵, способствует превращению диахронического структурализма из простой «диахронии» в структуральную историю³⁶. Именно после освобождения от бумажной «фонологии аллофонов» диахроническая фонология приближается к своему идеалу — науке об эволюции фонологических единиц языка, где перед лингвистикой впервые забрезжила надежда изучать механизмы языкового изменения³⁷.

³⁰ Э. Косериу, указ. соч., стр. 333. Еще в 1943 г. Б. Трнка пришел к важному выводу, что «все изменения в артикуляции, если они не являются чисто физиологическими, должны соответствовать определенным фонологическим сдвигам, тогда как, с другой стороны, фонологические мутации не обязаны сопровождаться изменениями в артикуляции» (B. T r n k a, Obecné otázky strukturálního jazykozpytu, SaS, IX, 1943, стр. 61). Новый шаг к последовательной фонологической точке зрения принадлежит Косериу, по мнению которого «„фонетические“ изменения не существуют и не могут существовать. Все звуковые изменения являются „фонологическими“, поскольку даже те изменения, которые не нарушают „систему“ (различительные противопоставления), имеют системное, а не физиологическое объяснение» (указ. соч., стр. 265). Ср. также: «Хотя вполне возможно, чтобы характер звуков речи оставался неизменным, как правило, меняется и он, а не только фонемный состав языка. Однако артикуляторно-акустические изменения сами по себе не обуславливают фонологической эволюции, не могут быть ее причиной» (Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева, указ. соч., стр. 14).

³¹ Я. В. Крупаткин, Становление древнеанглийского вокализма, стр. 29.

³² Р. Якобсон, указ. соч. стр. 651.

³³ Р. Якобсон, М. Халле, Фонология и ее отношение к фонетике, «Новое в лингвистике», II, М., 1962, стр. 276.

³⁴ Р. Якобсон, указ. соч., стр. 652.

³⁵ Там же, стр. 651.

³⁶ Э. Косериу, указ. соч., стр. 333.

³⁷ Автор искренне благодарен Ю. Д. Апресяну, Е. Л. Гинзбургу, М. Я. Гловинской, А. Б. Долгопольскому, Б. М. Задорожню, И. П. Ивановой, Л. Л. Касаткину, А. А. Леонтьеву, А. С. Либерману, Г. П. Мельникову, И. А. Мельчуку, В. Я. Плоткину, М. И. Стеблин-Каменскому, О. С. Широкову, которые охотно обсуждали с ним вопросы историко-фонологических описаний и тем способствовали появлению этой статьи.

Ю. К. КУЗЬМЕНКО

ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ФОНОЛОГИЯ АФФРИКАТ В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

Фонема, реализующаяся как аффрицированный согласный, является фонологической аффрикатой только в том случае, если она имеет и смычный, и щелевой корреляты. Так, аффрикативность — различительный признак русских фонем /c/ и /č/, поскольку обе они имеют и смычные корреляты, а именно /t/ и /t'/, и щелевые корреляты, а именно /s/ и /š'/¹; в немецком языке аффрикативность есть различительный признак фонем /pf/ и /ts/, так как в системе существуют и /p/, /t/ и /f/, /s/. Если же фонема, реализующаяся как аффрицированный согласный, имеет только щелевой коррелят, но не имеет смычного коррелята, то ее следует рассматривать как фонологический смычный. Именно так рассматривает Ч. Хоккет аффрицированные согласные в языках Шавне, Хидатса, Сьерры Мивок и т. д.² В тех языках, в которых аффрицированный не противопоставлен щелевому, его следует рассматривать как фонему, для которой релевантна щелевость³.

Аффриката — это такая фонема, которая по способу образования обязательно находится в одномерной оппозиции с двумя фонемами — смычной и щелевой, т. е. аффрикативность — это такой признак, который позволяет различать по одной категории различительных признаков, т. е. по способу образования, три фонемы — смычный, аффрикату и щелевой.

Для установления причин появления аффрикат необходимо дать описание системы фонем того периода, когда еще не существовало различительного признака аффрикативности⁴. История появления аффрикат в тех языках, в которых раньше их не было, — это история появления нового различительного признака — способа образования. Поэтому основной нашей задачей является установление оппозиций смычных и щелевых фонем периода, когда еще не существовало аффрикат, для того, чтобы определить, каким образом отношения этих смычных и щелевых могли способствовать появлению различительного признака аффрикативности.

В данной статье нас будут интересовать древнешведские, древненорвежские, древнефризские и древнеанглийские аффрикаты, источниками которых были палатализованные веллярные смычные.

¹ Обычно долгий палатализованный шипящий обозначается [š':]; долгота, однако, иррелевантна для этой фонемы, поскольку она не противопоставляется простой палатализованной шипящей.

² Ч. Hockett, A manual of phonology, Baltimore, 1955, стр. 109.

³ Так рассматривает испанское сочетание /ts/ А. Мартине. См.: A. Martinet, *Occlusives and affricates with reference to some problem of Romance philology*, «Word», 5, 2, 1949, стр. 117.

⁴ нас будет интересовать появление аффрикат в системах, в которых ранее не существовало различительного признака аффрикативности, и мы исключаем вопрос о заполнении так называемых пустых клеток, т. е. те случаи, когда аффрикаты появляются в системах, имеющих уже различительный признак аффрикативности.

Установим сначала возможные причины появления аффрикат в древнешведском и древнорвежском языках. В этих языках существовали только две дорсальные аффрикаты — глухая и звонкая. Поэтому естественно, что в исходном срезе наше внимание в первую очередь должны привлечь фонемы, различительным признаком которых могла бы быть дорсальность, и те фонемы, которые были источниками дорсальных в современных шведском и норвежском языках.

Рассмотрим вначале вопрос о том, какие щелевые дорсальные фонемы могли существовать до появления аффрикат. Этот вопрос связан с фонологической интерпретацией среднеязычного звонкого щелевого, т. е. [j], и с определенным фонологическим статусом фарингального, палатального и веларного глухих спирантов.

Попробуем установить, реализацией какой фонемы был [j].

М. И. Стеблин-Каменский считает, что после скандинавского преломления [i] и [j] были аллофонами одной фонемы и приводит следующие доказательства: 1) [i] и [j] никогда не встречаются в одинаковом окружении; 2) невозможно сочетание [i] и [j] в одной морфеме; 3) в ряде положений старое [j] перешло в слоговое [i]⁵. То, что [j] и [i] в древнескандинавских языках являются аллофонами одной фонемы, подтверждается еще и тем, что они не различались графически. Хр. Бенедиктсон говорит, что в древнеисландском существовало два варианта буквы *i*, т. е. *i* и *j*, причем буква *j* употреблялась редко. Он же указывает, что неслогового гласный [j] обычно обозначался на письме буквой *i*⁶. Э. Вессен приводит примеры, которые доказывают, что и в древнешведском языке *i* и *j* были графическими вариантами одной и той же буквы; ср. такие написания, как *vi*, *vij*, *vj*, которые употреблялись для обозначения слова *vi* «мы»⁷. Приведенные факты говорят о том, что [i] и [j] действительно могли быть аллофонами одной фонемы, если они не были членами косвенно-фонологической оппозиции, так как основным критерием выделения фонем остается критерий тождества их различительных признаков. Признаком, общим только для [i] и [j], является их место образования, т. е. среднеязычность.

Многие фonetисты считают, что вообще согласный [j] отличается от гласного [i] степенью подъема спинки языка к нёбу⁸. Г. Страка приводит убедительные, на наш взгляд, доказательства того, что [i] и [j] не различаются степенью подъема спинки языка⁹.

Таким образом, в древнескандинавских языках звуки, имеющие одинаковое место образования, находятся в отношении дополнительной дистрибуции на слоговом уровне — [i] выступает как слононоситель, т. е. гласный, а [j] — как неслононоситель, т. е. согласный. Следовательно, [i] и [j] являются аллофонами одной фонемы. В древнескандинавских языках существовало противопоставление гласных фонем по долготе — краткости, т. е. долгое *i* противопоставлялось краткому *i*. Возможно, что [j] выступал в консонантной позиции нейтрализации этого противопоставления.

Если все соображения, приведенные выше, верны, то [j] — не согласная фонема, и, следовательно, оно не может быть щелевым коррелятом дорсальных смычных фонем.

⁵ М. И. Стеблин-Каменский, Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков, Л., 1967, стр. 43.

⁶ Н. Г. Бенедиктссон, Early Icelandic script, Reykjavík, 1956, стр. 46.

⁷ E. Wessén, Svensk språkhistoria, Stockholm, 1945, стр. 34.

⁸ См. например: Р. И. Аванесов, Фонетика русского языка, М., 1956, стр. 156; Л. В. Щерба, Фонетика французского языка, М., 1957, стр. 33.

⁹ G. Straka, A propos de la question des demi-voyelles, «Zeitschrift für Phonetik», 17, 24, 1964, стр. 303.

Возникает вопрос, существовала ли вообще в древнескандинавских языках фонема, которая была щелевым коррелятом дорсальных смычных фонем и которая могла стать щелевым коррелятом появившейся аффрикаты. На этот вопрос мы получим ответ только в том случае, если установим фонологическую значимость трех глухих спирантов: палатального [ç], велярного [x] и фарингального [h], которые в древних скандинавских языках были распределены комплементарно¹⁰.

Принято считать, что в общегерманский период существовала фонема, которая имела два аллофона — фарингальный глухой спирант и велярный глухой спирант¹¹, после гласных переднего ряда допускается наличие палатального аллофона¹². Можно, соответственно, предположить, что в общескандинавский период после преломления существовала фонема, которая реализовалась как фарингальный спирант перед гласными, как велярный спирант перед согласными и как палатальный спирант перед [j]. Если [h], [x] и [ç] являлись аллофонами одной фонемы, то различительным признаком этой фонемы не может быть дорсальность, поскольку эта фонема имеет фарингальный аллофон. Понятно, что такая фонема не может быть щелевым коррелятом глухих дорсальных смычных фонем. Таким образом, если мы выделяем фонемы, основываясь только на принципе дополнительной дистрибуции, то оказывается, что в древних скандинавских языках не существовало щелевой фонемы, для которой было бы релевантно дорсальное место образования.

Однако не все исследователи считают, что фарингальный спирант и дорсальные спиранты должны быть аллофонами одной фонемы только потому, что они находятся в отношении дополнительной дистрибуции. В. Моултон, например, считает, что в общегерманский период существовали две фонемы [x] и [h], так как, хотя фарингальный и велярный спиранты и были распределены комплементарно, они не могли быть аллофонами одной фонемы, поскольку единственные общие для них признаки — щелевость и глухость — характерны не только для них, но и для других согласных фонем¹³. Налицо косвенно-фонологическая оппозиция. О путях фонологизации фарингального спиранта в общегерманский период говорит А. С. Либман: после выпадения /ŋ/ перед /x/ и деназализации долгих гласных /h/ и /x/ оказались возможными в одинаковых позициях¹⁴.

Мы уже говорили о том, что в древних скандинавских языках фарингальный спирант встречается перед гласным, велярный перед /v/ и палатальный перед [j]. Может показаться, что [h], [x] и [ç] находились в отношении дополнительной дистрибуции. Но даже если это действительно так, они не могли быть аллофонами одной фонемы, поскольку они были членами косвенно-фонологической оппозиции, так как щелевость и глухость характерны не только для них, но и для ряда других согласных фонем. Если же верно предположение о том, что [j] и [i] в древнескандинавских языках — аллофоны одной фонемы, то существовала и позиция противо-

¹⁰ О существовании таких звуков в древнешведском и древнеисландском языках см.: A. Noreen, *Altschwedische Grammatik*, Halle, 1897, стр. 31; E. Wessén, указ. соч., стр. 23; A. Noreen, *Altisländische und altnorwegische Grammatik*, Halle, 1923, стр. 41.

¹¹ См., например: «Сравнительная грамматика германских языков», II, М., 1965, стр. 54.

¹² Э. Прокош, *Сравнительная грамматика германских языков*, М., 1954, стр. 78.

¹³ W. Moulton, *The stops and spirants of Early Germanic*, «Language», 30, 1, 1954, стр. 39.

¹⁴ А. С. Либман, *Общегерманское /h/ и некоторые закономерности звуковых изменений*, ВЯ, 1967, 1, стр. 10.

поставления фарингального спиранта [h] и палатального спиранта [ç] перед этой фонемой.

Особая судьба фарингального спиранта, отличная от судьбы дорсальных спирантов, подтверждает то, что фарингальный спирант был самостоятельной фонемой. В большинстве шведских и норвежских диалектов, а также в шведском и норвежском литературном языках /h/ сохранилось до сих пор, а старые [x] и [ç] исчезли. В одних диалектах старые дорсальные спиранты исчезли бесследно, в других превратились в соответствующие смычные фонемы в определенных позициях¹⁵.

Итак, мы установили, что в древних скандинавских языках существовала самостоятельная фонема /h/, которая реализовалась в фарингальном спиранте. Глухой палатальный щелевой и глухой веларный щелевой находились в отношении дополнительной дистрибуции и не были членами косвенно-фонологической оппозиции, так как они — единственные глухие спиранты, образующиеся дорсально. Таким образом, [x] и [ç] являлись аллофонами одной фонемы, различительным признаком которой была дорсальность¹⁶. По месту образования эта фонема отличалась от фарингального /h/ и переднеязычного /s/.

Теперь мы переходим к выяснению вопроса о том, какие смычные корреляты имела эта фонема.

Г. В. Воронкова предполагает, что в древних скандинавских языках существовали палатализованные заднеязычные фонемы, которые на письме обозначались буквами *kkj*, *kj*, *ggj*, *gj*¹⁷. Аргументация Г. В. Воронковой представляется нам убедительной. Нам бы хотелось добавить, что существование различительного признака палатальности можно вывести и из диахронических фактов.

Фонема, обозначающаяся в древних скандинавских языках как *ggj*, имела два источника. Она возникла по закону Хольцмана из прагерманского долгого /j/, например, др.-исл. *tveggja*, *deggja*, *egg* < **eggja* и т. д., и в результате изменения заднеязычного звонкого щелевого после краткой гласной, например, **lagjan* > *leggja*, **stugian* > *stygga* и т. д. То, что *ggj* в словах *tveggja*, *leggja* и т. п. обозначало фонему, различительным признаком которой была палатальность, очевидно, поскольку ее источником был среднеязычный звонкий щелевой; мы делаем такой вывод на основании предположения В. Остина о том, что за один раз фонема меняет не более одного различительного признака¹⁸. Если /j/ превратился в смычный по закону Хольцмана, то остальные два признака, т. е. место образования и звонкость фонемы, должны были остаться без изменения.

В древних скандинавских языках, так же как и в других древних германских языках, палатализованные заднеязычные никогда не противопоставлялись среднеязычным, т. е. палатальным, а составляли с ними корреляционные пары. С фонологической точки зрения, следовательно, в дан-

¹⁵ Переход /ch/ > /k/ перед /v/ произошел в некоторых областях Емгленда и Даларны, в южном Вестерботтене и северном Онгерманланде, в ряде шведских диалектов Финляндии (в южной Васе, Сатакунге, Бэндё, Хоутшер) и Эстонии (Дарё, Рогё, Вихтерпаль), а также по всей территории Норвегии за исключением юго-восточной части, на Фарерских островах и на севере и западе Исландии. См.: М. К р и с т е н с е n, *Folkemål og Sproghistorie*, København, 1933, стр. 68; О. Н у л т м а n, *Föreläsningar över de östsvenska dialekterna*, Helsingfors, 1939, стр. 245; А. К а r s t e n, *Kökmålå lets ljud och formlära*, Helsingfors, 1891, стр. 24.

¹⁶ Для обозначения этой фонемы мы будем пользоваться знаком /ch/.

¹⁷ Г. В. В о р о н к о в а. Сибиланты в норвежском. Канд., диссерт., Л., 1967, стр. 153—155.

¹⁸ W. M. A u s t i n, *Criteria for phonetic similarity*, «Language», 33, 4, стр. 38. М. И. Стеблин-Каменский считает, что вывод Остина является одним из законов диахронической фонологии. См.: М. И. С т е б л и н - К а м е н с к и й, К теории звуковых изменений, ВЯ, 1967, 2, стр. 79.

ном случае нет разницы между палатализованными заднеязычными и среднеязычными. В дальнейшем мы будем называть и те и другие палатальными.

Изменение германского звонкого щелевого [ɣ] в словах типа * *lagjan* [laɣjan] было, несомненно, каким-то образом связано с долгой предшествующей гласной, поскольку происходило только после краткого гласного. Однако изменились только заднеязычные, тогда как остальные согласные в аналогичных позициях сохранились. В. М. Жирмунский пишет, что «удвоение в западногерманских языках и скандинавских языках не следует отождествлять, поскольку в скандинавских оно обусловлено особенностью артикуляции заднеязычных согласных, тогда как в западногерманских языках имеет характер универсальной закономерности»¹⁹.

То, что результаты скандинавского удлинения заднеязычных после краткой гласной совпали с результатами закона Хольцмана, говорит нам о сходности процесса изменения [ɣ] перед [j] в [gg'] с изменением [j] в [gg'] по закону Хольцмана. Интересно в связи с этим привести высказывание В. Беннета, что «это древнескандинавское удлинение согласных касается только веларных смычных /k/ и /g/ и это ограничение находится в соответствии с действием закона Хольцмана, который также способствовал появлению долгих веларных в древнескандинавском языке»²⁰. Нам кажется, что в данном случае следует говорить не о появлении новых долгих веларных смычных, а об увеличении количества позиций палатальных. Сам В. Беннет говорит, что «*ggj < j*, возможно, было первоначально передней смычной»²¹.

В дальнейшем палатальные, появившиеся по закону Хольцмана и в результате скандинавского удлинения после краткого гласного, совпадают в своем развитии и становятся источниками аффрикат.

Типологическая схожесть закона Хольцмана с удлинением после краткой гласной заключается в том, что и в том и в другом случае мы имеем дело с изменением среднеязычного звонкого щелевого. Если верно то, что /g/ в середине слова имело щелевую реализацию в середине слова в общегерманский период — а так считают все без исключения германисты, — то антропофонически это щелевое никогда не могло быть заднеязычным перед [j]. По-видимому, в формах глаголов типа * *lagian* существовало чередование /j/ — /g/. В формах инфинитива выступало /j/, а в остальных формах /g/. Следовательно, * *lagian* было /laɣjan/. Переход /j/ > /g'/, по-видимому, происходил одновременно с исчезновением фонемы /j/ вообще²². Оставшийся среднеязычный звонкий щелевой согласный и гласный [i] стали аллофонами одной фонемы. Интересно, что в словах с предшествующей долгой гласной, в которых не происходило удлинения, сохранился среднеязычный звонкий щелевой. Написания *gj* в древнем и современном исландском языке в середине слова и *ghi* в древнешведском в словах типа: др.-исл. *vigja* «освещать», *plögja* «пахать», др.-швед. *vighja*, *plöghia* и т. д. употреблялись для обозначения среднеязычной звонкой щелевой²³. Буквы *g* и *gh* появились в этих словах в результате аналогич-

¹⁹ В. М. Жирмунский, Введение в сравнительное изучение германских языков, М.—Л., 1964, стр. 112.

²⁰ W. H. Bennett, The cause of the West German consonant lengthening, «Language», 1, 22, 1946, стр. 112.

²¹ Там же.

²² М. И. Стеблин-Каменский предполагает, что /j/ исчезло как самостоятельная фонема до VIII в. (см.: М. И. Стеблин-Каменский, Очерки по диакронической фонологии скандинавских языков, стр. 44).

²³ A. Noreen, Altisländische Grammatik, стр. 101; A. Noreen, Altswedische Grammatik, стр. 18, 40; O. Ottelin, Studier över Codex Bureanus 1, «Uppsala Universitets Arsskrift», 1900, стр. 94—95.

ного воздействия форм с /g/. Одновременно с палатальной звонкой появилась и соответствующая глухая фонема.

Итак, в древнескандинавских языках существовали фонемы, различительным признаком которых была палатальность. В древнешведском языке эти фонемы на письме обозначаются, как правило, буквами *ggi*, *kki* и *ki*, *gi*. Геминированность не является различительным признаком палатальных в древнешведском языке, так как, если и существовали фонетические геминаты, о чем можно судить по написанию *ggi* и *kki*, то они не могли быть самостоятельными фонемами, так как они никогда не противопоставлялись простым палатальным. Палатальные геминаты могли стоять только после кратких гласных, а в остальных случаях встречались простые, негеминированные согласные. В древнеисландском языке существовало противопоставление глухой палатальной смычной геминаты и глухой палатальной смычной простой фонем.

Мы установили, таким образом, что в древнешведском языке до появления аффрикат существовала следующая система дорсальных. Палатальные смычные /k'/ и /g'/ противопоставлялись по месту образования простым веларным /k/ и /g/ и веларным геминатам /kk/ и /gg/. Глухая дорсальная щелевая фонема, которая реализовалась в зависимости от позиции — то как палатальный, то как веларный спирант, противопоставлялась по способу образования двум смычным фонемам — веларному /k/ и палатальному /k'/. Для звонкой веларной фонемы /g/ способ образования был irrelevant и она имела смычный и щелевой аллофоны — смычный в начале слова и после /n/ и щелевой между гласными заднего ряда. Можно установить следующие оппозиции дорсальных: 1) противопоставление по звонкости — глухости — /k/ — /g/; /k'/ — /g'/; /kk/ — /gg/; /g/ — /ch/; 2) по месту образования: /k'/ — /k/; /k'/ — /kk/; /g'/ — /g/; /g'/ — /gg/; 3) по способу образования: /k'/ — /ch/; /k/ — /ch/.

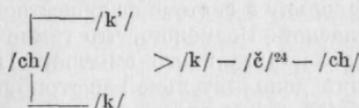
Мы видим, что в данный период одна щелевая фонема, т. е. /ch/ противопоставлена двум смычным, т. е. /k/ и /k'/, которые отличаются друг от друга местом образования. Признака способа образования в данном случае недостаточно для различения этих трех фонем. /k/ отличается от /ch/ как веларный смычный, а /k'/ от /ch/ как палатальный смычный от щелевого. Смычность и щелевость не обеспечивают противопоставления трех фонем, но это противопоставление возможно, так как существует дополнительный признак, т. е. место образования.

В древнорвежском языке существовали точно такие же отношения, с тем исключением, что в нем глухая палатальная геминированная противопоставлялась глухой палатальной простой фонеме.

Мы уже говорили о том, что аффрикативность является таким признаком, который позволяет различать по способу образования три фонемы. Нам кажется, что аффрикаты могут появляться как раз в тех случаях, когда два вида различительных признаков — в нашем случае способ образования и место образования — могут быть заменены одним видом, т. е. способом образования, а количество фонем, участвующих в противопоставлениях, сохраняется. Это изменение возможно в том случае, когда одна щелевая противопоставляется двум смычным или, наоборот, когда одна смычная противопоставляется двум щелевым.

В древнешведском и древнорвежском языках такая ситуация, когда одна щелевая фонема противопоставляется двум смычным, отличающимся друг от друга дополнительным признаком места образования, приводит к тому, что появляется новый различительный признак — признак аффрикативности — и происходит дефонологизация палатальности, поскольку при появлении аффрикативности три фонемы могут различаться уже только по способу образования. Графически это изменение можно

представить следующим образом:



Это доказательство того, что палатальность перестала быть различительным признаком /k/ и следствием этого было появление у фонемы /k/ аллофонов перед гласным переднего ряда. Источником таких аллофонов было /k/ перед общескандинавским дифтонгом /au/, который в большинстве диалектов стянулся позднее, чем другие дифтонги²⁵. Во многих диалектах /k/ и /g/ сохраняются перед /ø/ < /au/ до сих пор²⁶. В дальнейшем количество аллофонов /k/ и /g/ перед гласными переднего ряда увеличивается за счет заимствований и новообразований.

Довольно часто возникновение аффрикат связывается с появлением у заднеязычной смычной фонемы аллофонов перед гласными переднего ряда. Х. Пенцл считает, что причиной фонологизации переднего аллофона старого /k/ в древнеанглийском языке было сохранение веларного перед улаутированными гласными²⁷. Но, если принимать такое объяснение, остается неясным, почему этот аллофон появился у /k/, а не слился со старым аллофоном /k/ перед первичными гласными переднего ряда.

Фонологическое объяснение, которое удовлетворяется констатацией того факта, что аллофоны одной фонемы, оказавшись в одинаковом окружении, становятся разными фонемами, не является объяснением в собственном смысле слова, а только указывает на механизм изменения, на то, в каких позициях могли появиться новые фонемы. Так называемая фонологизация аллофона есть лишь следствие того, что в системе появляется новый различительный признак. Объяснение Х. Пенцла нуждается, по-видимому, в дальнейшей разработке.

Для ответа на вопрос, почему в древнеанглийском языке появился различительный признак аффрикативности и почему у /k/ появились аллофоны перед гласными переднего ряда, необходимо, как и в случае со шведскими и норвежскими аффрикатами, установить соотношение смычных и щелевых фонем периода до появления аффрикат.

И. П. Иванова считает, что после улаута в английском языке существовали следующие дорсальные фонемы: /k'/, /kk'/, /gg'/, /g/, /k/, /kk/, /gg/, /gh/ и /h/²⁸. Фонема /h/ имела три аллофона — фарингальный, веларный и палатальный спиранты, фонема /gh/ имела два аллофона — веларный и палатальный спиранты²⁹.

Нам кажется, что данное описание не вполне точно отражает состояние древнеанглийского языка раннего периода. Геминированность была пр-

²⁴ Значком /č/ мы обозначаем фонему, для которой релевантна аффрикативность и дорсальность.

²⁵ Многие ученые утверждают, что открытое *o* из *au* стянулось в закрытое после палатализации *k* и *sk*; см., например: G. Kallstenius, *Värmlandska bergslagsmälets ljudlära*, Stockholm, 1902, стр. 141; A. Kock, *Studier över fornsvensk ljudlära*, Lund, 1882—1888, стр. 52; N. Hänninger, *Fornskånsk ljudutveckling*, Lund, 1913, стр. 244.

²⁶ /k/ сохранилось перед /ø/ в диалектах Торпа, Урсы, в Вермландском Бергслегене; см.: P. Vorgen, *Torpamålets ljud och formlära*, Stockholm, 1921, стр. 129; J. Voethius, *Orsamålet i Dalarna*, Stockholm, 1918—1920, стр. 23; G. Kallstenius, указ. соч., стр. 82.

²⁷ H. Penzl, *The phonemic split of Germanic (k) in old English*, «Language», 23, 1, 1947, стр. 41—42.

²⁸ И. П. Иванова, Система согласных и ее динамика в древнеанглийском языке, ФН, 1963, 3, стр. 32.

²⁹ И. П. Иванова, указ. соч., стр. 35.

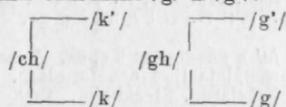
релевантна для палатальной геминированной звонкой смычной согласной, т. е. для /gg'/, поскольку в системе не существовало соответствующей негеминированной согласной. Возможно, что геминированность была иррелевантна и для глухого палатального смычного, поскольку /k'/ и /kk'/ находились в отношении дополнительной дистрибуции. Геминированная палатальная глухая была возможна только после краткой гласной, а негеминированная — во всех остальных позициях. Палатальный и велярный глухие спиранты не являлись аллофонами одной фонемы с фарингальным спирантом, поскольку [ç] и [x], с одной стороны, и [h], с другой, были членами косвенно-фонологической оппозиции. Спиранты [ç] и [x] были аллофонами дорсальной фонемы, которая противопоставлялась звонкой фонеме /gh/, также имеющей палатальный и велярный аллофоны.

Спорным представляется существование различительного признака палатальности в этот период древнеанглийского языка, т. е. после умлаута. После умлаута фонемы /k/ и /g/ могли иметь аллофоны перед гласными переднего ряда и это указывает на то, что палатальность перестала быть релевантной в системе дорсальных.

Нам кажется, что развитие дорсальных фонем в древнеанглийском языке происходило следующим образом. В результате западногерманского изменения фонем после краткой гласной появляется различительный признак палатализованности. Л. Р. Зиндер говорит, что «согласные, возникшие в результате западногерманского удлинения, имели палатализованный характер, так как палатализирующее влияние *j* с общefonетической точки зрения следует считать обязательным»³⁰. Он же говорит о том, что палатализованные согласные существовали как фонемы и в древневерхненемецком языке³¹.

С появлением различительного признака палатализованности аллофоны /k/ перед гласными переднего ряда отходят к новой фонеме /k'/. Смычные /k/ и /k'/ противопоставлялись одной щелевой фонеме /ch/, которая имела палатализованный велярный и велярный аллофоны. Смычное звонкое /g/ являлось и до умлаута самостоятельной фонемой, так как, хотя оно и находилось в комплементарной дистрибуции со звонкими щелевыми [γ] и [j], оно не было аллофоном фонемы, для которой способ образования был бы иррелевантным признаком, поскольку /g/, с одной стороны, и [γ] и [j] с другой, — члены косвенно-фонологической оппозиции, так как звонкость и дорсальность присущи не только им, но и фонеме /g'/. Звонкий велярный щелевой [γ] и звонкий палатальный щелевой [j] были аллофонами одной фонемы, так как они — единственные звонкие дорсальные щелевые. До умлаута система дорсальных фонем в праанглийском выглядела следующим образом: /k/ — /g/; /k'/ — /g'/; /gh/ — /ch/; /k/ — /ch/; /k'/ — /ch/; /g'/ — /gh/; /g/ — /gh/.

Различительный признак способа образования недостаточен для противопоставления дорсальных смычных и щелевых. Дорсальный глухой щелевой /ch/ противопоставлялся двум смычным фонемам — палатальной /k'/ и велярной /k/, точно так же дорсальный звонкий щелевой противопоставлялся двум звонким смычным /g/ и /g'/:

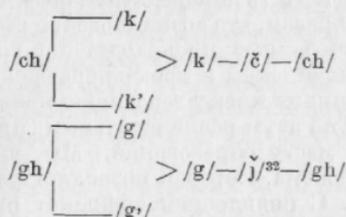


И в древнеанглийском языке тенденция к устранению такого состояния, когда одна щелевая фонема противопоставлена двум смычным разного

³⁰ Л. Р. Зиндер, Историческая фонетика немецкого языка, М.—Л., 1965, стр. 79.

³¹ Там же.

места образования, выражается в появлении различительного признака аффрикативности. Признак, позволяющий различать /k/ и /k'/ и /g/ и /g'/ по месту образования, т. е. палатальность, исчезает. Три фонемы, различаются теперь только по способу образования. Графически это изменение можно представить следующим образом:



То, что обычно считается причиной появления различительного признака палатальности в древнеанглийском, а именно появление у /k/ и /g/ аллофонов перед гласными переднего ряда после умлаута, в действительности указывает как раз на исчезновение этого признака. Ясно, что появление палатальных аллофонов у /k/ и /g/ является следствием возникновения аффрикат. Нам кажется, что в тот период древнеанглийского языка, систему которого описывает И. П. Иванова в своей статье, существовал уже различительный признак аффрикативности.

Аналогичное развитие имело место, по-видимому, и в древнефризском языке. Т. Зибс указывает на существование в древнефризском языке палатализованных велярных смычных согласных, которые появились после умлаута перед первичными гласными переднего ряда³³. Палатальные согласные появились, по-видимому, в общий англофризский период в результате западногерманского удлинения. В описываемый же Т. Зибсом период, т. е. после умлаута, палатальность уже исчезла как различительный признак и появились дорсальные аффрикаты. В древнефризском языке дорсальные аффрикаты возникают после умлаута как реакция на несовершенство противопоставления трех фонем по способу образования. И в данном случае дополнительный признак палатальности помогал различать одну щелевую и две смычные фонемы. Дорсальные спиранты [ç] и [x] и в древнефризском языке были аллофонами фонемы, для которой была релевантна щелевость и дорсальность и которая противопоставлялась звонкой щелевой фонеме /gh/ с аллофонами [ɣ] и [j].

Дорсальные аффрикаты существовали в древнеанглийском и древнефризском языках до позднего периода. Затем различительный признак аффрикативности исчезает из ряда дорсальных и появляется в ряду переднеязычных. Р. Фоккема даже рассматривает аффрицированный переднеязычный [ts] в современном фризском как бифонемное сочетание³⁴. Однако в ряде фризских диалектов, по-видимому, до сих пор сохранились дорсальные аффрикаты³⁵.

Появление различительного признака аффрикативности в ряду переднеязычных в древнеанглийском и древнефризском языках происходило в системе, в которой ранее уже существовал этот признак, хотя в другом локальном ряду. Это изменение уже может быть и не связано с противопо-

³² Значки /č/ и /ȝ/ обозначают фонемы с различительными признаками дорсальности и аффрикативности.

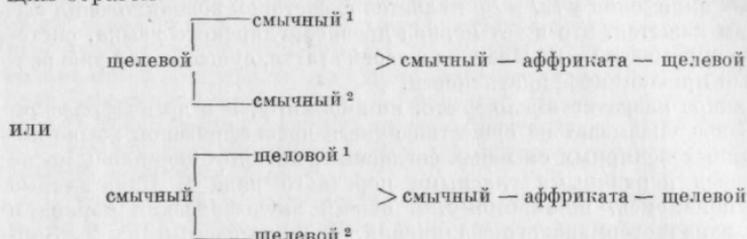
³³ Фонетическую систему древнефризских согласных приводят В. Штеллер и Т. Зибс; см.: T. h. S i e b s, указ. соч., стр. 1251; W. S t e l l e r, Abriß der Altfrisischen Grammatik, Halle, 1928, стр. 20.

³⁴ K. F o k k e m a, De konsonanten en klinkerphonemen in het Fries, «Zeitschrift für Mundartforschung», 27, 1, 1959, стр. 52.

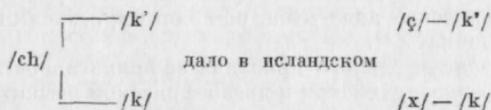
³⁵ T. h. S i e b s, указ. соч., стр. 1288.

ставлением трех фонем по двум видам различительных признаков, и поэтому оно выходит за рамки данной статьи. Следует только обратить внимание на то, что происходило не изменение /k'/ > /tʃ'/ и /g'/ > /dʒ'/ в древнеанглийском и /k'/ > /ts/ и /g'/ > /dz/ в древнефризском, а переход дорсальных аффрикат /ç/ и /ǰ/ в переднеязычные аффрикаты.

Мы видим, таким образом, что возникновение аффрикат в древнеанглийском и древнефризском языках происходит под воздействием тех же факторов, что и в древнешведском и древненорвежском языках. Можно сделать вывод, что аффрикаты имеют тенденцию появляться там, где фонемы противопоставляются по двум различительным признакам, т. е. по способу образования и по месту образования. Мы уже говорили о том, что аффриката — такая фонема, которая позволяет различать три фонемы по способу образования. С появлением аффрикат происходит исчезновение дополнительного признака места образования и возникает новое противопоставление по способу образования. В результате этого изменения три фонемы противопоставляются теперь только по одному виду различительных признаков. В общем виде это изменение можно изобразить следующим образом:



Вообще, по-видимому, такое состояние, когда одна смычная фонема противопоставляется двум щелевым или, наоборот, одна щелевая — двум смычным, неустойчиво. Оно, однако, не всегда может быть источником аффрикат. Во многих языках такое состояние устраняется другим путем. Интересно в связи с этим проследить судьбу треугольника фонем, противопоставленных по двум видам различительных признаков, в родственных языках и диалектах. Общескандинавское состояние, когда одна глухая щелевая дорсальная фонема противопоставлялась двум смычным — велярной и палатальной, способствовало появлению аффрикат только в древнешведском и в древненорвежском языках, в исландском же языке такое состояние привело к расщеплению щелевой фонемы на две таким образом, что каждая смычная получила свой щелевой коррелят, т. е. общескандинавское состояние:



В ряде шведских диалектов Упланда щелевая фонема /ch/ вообще исчезла³⁶ и для палатального /k'/ и велярного /k/ смычность перестала быть релевантным признаком. В древневерхненемецком, в котором, по-видимому, тоже существовали отношения, сходные с отношениями в других

³⁶ G. A. Tiselius, *Ljud och formlära för Fasternamålet i Roslagen, Stockholm, 1902—1903*, стр. 102; A. Schagerström, *Upplysning om Vätöområdet i Roslagen, «Nyare bidrag till undersökningar av svenska landsmål och svenskt folkliv», II, 4, Stockholm, 1882*, стр. 33—36.

западногерманских языках — древнеанглийском и древнефризском, исчезает различительный признак палатальности, но не возникает дорсальных аффрикат.

Таким образом, появление различительного признака аффрикативности — только один из путей устранения такого состояния, когда две фонемы, отличающиеся по месту образования, противопоставляются одной фонеме по способу образования. Если же перед нами язык, в котором существует различительный признак аффрикативности, и нас интересует диахрония аффрикат, необходимо выяснить, не является ли их появление следствием замены противопоставления трех фонем по двум видам различительных признаков — противопоставлением по одному виду, а именно по способу образования.

Насколько универсален вывод, сделанный нами на материале некоторых древних германских языков, могут показать типологические исследования возникновения аффрикат.

Н. А. БАСКАКОВ

К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ГРАММАТИКИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

1. Современное тюркское языкознание накопило богатый опыт в отношении монографического описания грамматической структуры подавляющего большинства языков и диалектов, как и в отношении учета лексики всех основных тюркских языков, который реализован в двуязычных и толковых словарях. Имеются, хотя и не исчерпывающие, но значительные исследования сравнительно-исторического характера, представленные как собственно тюркологическими трудами (О. Бётлингк, В. Радлов, В. Банг, М. Рясянен, Н. Катанов и др.), так и более широкими по охвату алтаистическими и урало-алтаистическими штудиями (Б. Я. Владимирцев, В. Котвич, Г. Рамstedт, Н. Поппе, М. Рясянен, Д. Шинор, Дж. Клоусен, Л. Лигети и др.). Начаты исторические исследования конкретных тюркских языков. Делаются попытки применить математические методы к изучению тюркских языков. Предпринимается лингво-ареальное изучение всех тюркских языков и диалектов в виде общетюркского лингвистического атласа. Традиционная тюркология, начиная с середины XIX в., имеет своими основами и наиболее многочисленными исследованиями — исследование описательного типологического характера. Подавляющее большинство тюркологов-лингвистов занималось описанием строя тюркских конкретных языков, их лексической, грамматической и фонологической структуры. Таким образом, современное тюркское языкознание обладает значительными достижениями в отношении понимания природы и сущности различных явлений фонологической, грамматической и лексической структуры тюркских языков.

Успехам в познании специфики структуры тюркских языков мы обязаны в значительной степени русской и советской школе тюркологов-грамматистов Ильминского — Мелиоранского — Самойловича — Гордлевского — Дмитриева, которые в своих грамматических исследованиях вскрыли и показали сущность и природу многих явлений тюркской грамматики в сопоставлении с соответствующими явлениями индоевропейской и, в частности, русской грамматики.

Новые достижения и успехи общего языкознания, более совершенные методы, применяемые в языкознании, ставят перед тюркологами новые актуальные задачи изучения тюркских языков, в частности их грамматической структуры.

В связи с постановкой общей проблемы типологического изучения всех языков мира, с задачами изучения типологических схождений и расхождений языков различных систем и установления универсальных констант, общих для всех языков, перед тюркологами стоит задача более тщательного типологического исследования тюркских языков в сравнительно-историческом плане.

Распространенные в современной тюркологии концепции грамматического описания конкретных тюркских языков, базирующиеся в значитель-

ной степени на сопоставлении фактов данного тюркского языка с фактами языка иной структуры, не охватывают всех специфических особенностей типологии описываемого тюркского языка и требуют замещения новыми концепциями, исходящими непосредственно из специфики изучаемых языков. Только скрупулезное отражение типологического своеобразия каждого конкретного языка или группы родственных языков позволит исследователю в дальнейшем типологическом сопоставлении данных разноразличных языков точно определить то универсальное и то специфическое, что характеризует каждый язык или каждую группу родственных языков.

Структурно-типологические сопоставления при описании конкретного языка с фактами одного языка иной системы часто препятствуют истинному отражению специфики явления. Можно сослаться, например, на характерное для исследователей современной традиционной грамматики многих тюркских языков смешение причастного оборота и придаточного предложения вследствие того, что придаточному предложению в русском языке в структуре тюркских языков чаще по смыслу, и только по смыслу, соответствует конструкция причастного оборота, синонимичная придаточному предложению.

Между тем, более полное раскрытие типологических особенностей конкретных языков или группы родственных языков может быть ключом к раскрытию некоторых общих вопросов языкознания и, в частности, вопросов отношения категорий языка и мышления, вопроса происхождения языка, установления общих типологических универсалий и проч.

2. Историко-типологическая грамматика тюркских языков предусматривает установление системы тех синтаксических, морфологических, лексических и фонологических единиц, которые определяют общий структурный тип тюркских языков, их специфическую идеальную, или образцовую, структуру. Под идеальной, или образцовой, структурой мы понимаем структуру, которая концентрирует в себе общие черты фонологического и морфологического строения слова и синтаксического строя словосочетания и предложения и исключает все специфические черты, характеризующие отдельные конкретные тюркские языки. Историко-типологическая грамматика тюркских языков должна быть основана на сравнении законов развития конкретных родственных языков в различные этапы их развития и иметь своими задачами: 1) выявление характерной для тюркских языков идеальной структуры и тех основных признаков, которые характеризуют ее; 2) раскрытие процессов становления этой идеальной структуры и ее модификаций, которые образовались под влиянием внутреннего развития и под влиянием внешних факторов и в том числе различного рода субстратов и адстратов; 3) изучение общей системы взаимозависимости и иерархии всех аспектов или уровней языка, а также основных типов синтаксических, морфологических и фонологических единиц тюркских языков.

При установлении характерной для тюркских языков идеальной структуры, сформировавшейся на определенной стадии их развития, необходимо синхроническое сопоставление соответствующих синтаксических, морфологических и фонологических моделей, встречающихся во всех конкретных языках, чтобы, сопоставляя эти синхронные модели, можно было определить их развитие от наиболее древних конструкций к более новым, образовавшимся под воздействием внутренних и внешних факторов. В таком диахроническом сопоставлении определяется и исходный, наиболее характерный для всех тюркских языков эталон каждой модели, а также диахроническая последовательность развития модификаций данного конкретного явления, представленного разнообразными моделями в конкретных тюркских языках.

Таким образом, в сопоставлении различных типов, разрядов, видов и модификаций моделей различных элементов языка в синхроническом плане определяются также и диахронические последовательные процессы формирования этих моделей, поскольку эти модели отражают собой неравномерное развитие языковых явлений, конструкций, их элементов и форм. Так, например, структура предложения в тюркских языках на различных ступенях своего развития имеет особые дифференциальные признаки, по которым можно установить относительную хронологию эволюции предложения в тюркских языках вообще.

Историко-типологический подход к изучению языка показывает, что в каждом конкретном тюркском языке есть то общее, что имеет идеальная структура, установленная для определенного этапа развития всех тюркских языков, и то различное, те отклонения в структуре, которые возникли в процессе формирования данного конкретного языка под воздействием внутриязыковых и внешняязыковых факторов.

Историко-типологический анализ поможет установить и определить своеобразие общих синтаксических, морфологических и фонологических моделей для всех тюркских языков и тех специфических моделей, которые характерны для каждого конкретного тюркского языка, а также позволит определить иерархию этих моделей как между соответствующими уровнями, так и внутри каждого уровня и соотносительность синтаксических значений с теми специфическими средствами морфологического выражения, которыми они оформлены, а также продуктивность разных способов морфологического выражения по отдельным конкретным языкам (например, продуктивность причастий на *-мыш*, *-ган* или *масдаров* на *-мап*, *-ыш*, *-уш* по конкретным языкам).

При установившемся в тюркологии подходе к изучению грамматики тюркских языков анализ всех явлений языка производится не в единстве всех его аспектов или уровней, а в расчленении и изоляции отдельных аспектов языка на уровни лексический, синтаксический, морфологический и фонологический без их увязки в единую систему, без выявления взаимосвязи языковых фактов, без анализа причинности этих фактов. Историко-типологический подход к изучению грамматики тюркских языков требует от исследователя, с одной стороны, аналитического подхода к трактовке конкретных явлений языка на отдельных его уровнях, а с другой — синтетического осмысления всех уровней и аспектов языка в определенной единой их системе. Для этого представляется необходимым применение различных методов для исследования конкретных языковых явлений и для последовательного их изложения в определенной единой системе.

Если для исследования тех или иных явлений языка необходим индуктивный подход (от более конкретных явлений к их обобщенным категориям, от анализа конкретных дифференциальных фонологических, лексических, морфологических и синтаксических явлений и установления конкретных видов и типов соответствующих моделей к их синтезу и установлению более общих интегральных категорий, общих явлений и типов моделей), то для констатации и описания общей структуры языка уместен дедуктивный метод установления последовательности — от наиболее общих исходных категорий языка, от обобщенных типов моделей к конкретной реализации этих исходных общих категорий в более частных их проявлениях и в более конкретных моделях. Если при исследовании первого рода возможно расчленение языковых явлений по отдельным аспектам изучения языка (фонология, лексика, морфология, синтаксис) и регистрация соответствующих частных конкретных моделей и их типов по отдельным аспектам языка, то для констатации и описания общей структуры языка в единой системе всех аспектов необходим единый последователь-

ный порядок изложения от более общих категорий синтаксиса к лексическим, морфологическим и фонологическим категориям, выражающим эти синтаксические категории в их причинных связях и взаимоотношениях.

Раскрытие общей типологической структуры тюркских языков во взаимосвязи всех уровней языка будет способствовать более успешному достижению конечной цели типологических исследований — определению языковых универсалий и их конкретных модификаций, т. е. установлению общей для всех тюркских языков структуры и ее реализации по конкретным языкам.

3. Наиболее общими и едиными по своей сущности константами, определяющими языковые универсалии, являются мыслительные акты, реализующие мышление человека. Из мыслительных актов, общих для всего человечества, и наиболее универсальных констант в языке, какими являются предложения и словосочетания (именно они выражают эти мыслительные акты в языке), следует исходить при установлении всех других языковых универсалий, а также их модификаций в различных конкретных языках. Следовательно, универсальные константы, а также их конкретные специфические модификации могут быть вскрыты только при точном определении отношений категорий мышления и категорий языка.

При историко-типологическом исследовании группы родственных языков, в данном случае тюркских языков, таким образом, необходимо рассмотрение и анализ основных мыслительных актов, установление основных их типов и их реализаций в языке. Структура тюркских языков может быть определена прежде всего при условии изучения соотношения основных типов и категорий мышления и тех различных языковых форм их реализации, выраженных различными моделями синтаксических конструкций, которые имеют в диахронном разрезе различное оформление и различную синтаксическую структуру. Эти различные модели имеют различную степень продуктивности по отдельным родственным языкам, что позволяет наметить их хронологию и определить закономерности процессов их становления. Типологические сопоставления различных синтаксических конструкций и их морфологического оформления позволяют наметить основные этапы развития всех конкретных родственных языков и определить общую специфику типологии данных родственных языков, их образцовую, или идеальную, структуру, модификации которой представлены в каждом родственном языке со специфическими их особенностями, вызванными: с одной стороны, внутренними закономерностями их развития, а с другой — влиянием различного рода субстратов и адстратов.

Дихотомическое противопоставление и диалектика всех явлений реальной действительности выявляется и в оппозиции двух основных мыслительных актов человеческого мышления: а) акта дифференциации, конкретизации, реализующегося в языке в атрибуции — в атрибутивных словосочетаниях, и б) акта интеграции, абстрагирования, обобщения, реализующегося в языке в предикации — в предикативных словосочетаниях, или предложениях. И словосочетания, и предложения являются наиболее общими и универсальными константами в языках всего человечества, реализующимися, однако, во множестве различных типов, видов и вариантов, структурно различающихся по конкретным языкам.

Историко-типологическая грамматика группы родственных, в данном случае тюркских, языков по существу должна дать точное представление о взаимоотношении и взаимозависимости категорий мышления, общих для всего человечества, и категорий данного языка или группы языков, которые реализуют эти единые для всех категории мышления, но имеют различную языковую форму, которая, однако, имеет общие типологические черты.

Единое мышление и единые общие принципы соотношения категорий мышления и категорий языка позволяют предполагать, что во всех языках существует структурный единый каркас для каждой из основных синтаксических единиц — словосочетания и предложения — и что только детали этого каркаса, двухсоставного по своей природе, выражают специфику конкретных языков, в которых они реализуются.

Проблема синтагматической оппозиции словосочетания и предложения как категорий, реализующих в языке два основных типа мыслительных актов, совершенно не изучена и ставится впервые, так как до настоящего времени словосочетания не рассматривались как синтагматические единицы, противопоставляющиеся предложению, но трактовались только как некий «строительный материал для предложения».

В историко-типологическом плане очень важно изучить все модели словосочетаний и предложений, установить их основные типы, виды, подвиды и отдельные конкретные модели, встречающиеся во всех конкретных языках во всем многообразии разновременных их модификаций.

4. Если основной оппозицией в синтаксическом плане является противопоставление основных синтаксических конструктивных единиц предложения и словосочетания, выражающих в языке два основных акта мышления, то основной лексико-семантической оппозицией в грамматическом плане является, во-первых, противопоставление, с одной стороны, слов с реальным значением и, с другой — служебно-грамматических слов. Далее, все слова с реальным значением можно противопоставлять по их функциям, в которых слова выступают в составе словосочетаний и предложений, т. е. противопоставлять, с одной стороны, слова с субстантивным значением, выступающие в роли определяемых членов словосочетания и предложения, и, с другой стороны, слова с атрибутивным значением, выступающие в роли определяющих членов словосочетаний и предложений. Наконец, важным грамматическим противопоставлением основных лексико-грамматических категорий являются имена и глаголы, выражающие в языке два основных типа понятий — статические и динамические, которые в свою очередь имеют в семантическом плане более конкретные градации.

В плане историко-типологического изучения тюркских языков необходимо исследовать лексико-грамматические модели, характеризующие различные структурные типы и виды имен и глаголов, встречающиеся в различных конкретных языках. Особенно важно изучать типологию морфемного строения слов, так как именно морфемы служат средством выражения в языке всех указанных противопоставлений.

Типологические сопоставления синтаксических конструкций и их морфологического выражения позволяют заметить общие для тюркских языков функциональные морфологические категории, выражающие те или иные элементы каждой синтаксической конструкции. Установление функциональных морфологических категорий в свою очередь позволяет сделать более точной лексико-грамматическую классификацию словарного состава языка. Наконец, точное понимание всех типов синтаксических конструкций поможет также типологическому анализу морфологической структуры слова, а также обнаружению и классификации соответствующих морфологических моделей слова.

Типологический анализ слова подразумевает вычленение и классификацию: а) всех морфологических моделей структуры слова, которые имеются в тюркских языках и которые ограничены определенными типами и определенной сочетаемостью их морфологических элементов; б) основных типов корневой морфемы; в) основных типов двухморфемного слова (т. е. слова, состоящего из корневой морфемы и различных типов аффиксаль-

ной морфемы); г) основных типов многоморфемных слов, а также установление предела многоморфемности.

В тюркских языках морфологическая структура слова строго соответствует синтаксической структуре словосочетания и предложения (определение перед определяемым, дополнение перед дополняемым, подлежащее перед сказуемым), т. е. в системе словообразования распределение корневой морфемы и аффиксальных морфем имеет тот же порядок — более абстрактные категории находятся в *постпозиции* по отношению к конкретным (определяемые категории находятся в позиции после определений). В связи с этим допустимо принять предположение о том, что каждая аффиксальная морфема на более раннем этапе развития тюркских языков представляла собой служебные слова, а еще раньше самостоятельное слово с реальным вещественным значением.

Любопытны в этом отношении типологические параллели между тюркскими агглютинативными языками и изолирующими, например, китайским или кхмерским языками¹. В китайском языке, например, некоторые глагольные основы выражают в грамматическом плане видовые оттенки глагола; в отдельных случаях эти основы фонетически редуцировались и превратились в соответствующие грамматические показатели — форманты или аффиксы; с тем же реальным и грамматическим видовым значениями встречаются основы глагола в тюркских языках. Так, кит. *лай-*, тюрк. *кел-* «приходить» в видовом значении служат детерминатами направления к говорящему лицу (тюрк. *йумалап кел-* «прикатиться»); кит. *цуй-*, тюрк. *кет-* «уходить» или *бар-* «отправляться» указывают на направление от говорящего лица (тюрк. *йумалап кет-* «укатиться», *йумалап бар-* «покатиться»); кит. *цзинь-*, тюрк. *кир-* «входить» — на направление внутрь (тюрк. *йумалап кир-* «вкатиться»); кит. *чу-*, тюрк. *чық-* «выходить» — на направление вне, изнутри (тюрк. *йумалап чық-* «выкатиться»); кит. *ся-*, тюрк. *түш-* / *түс-* «спускаться, сходить» — на направление сверху вниз (тюрк. *йумалап түш-* «скатиться»). Временные оттенки передают, например, глаголы кит. *цзай-*, тюрк. *тур-* «стоять, являться, существовать, жить», которые служат в китайском и тюркских языках показателями длительного настоящего времени (тюрк. *оқур-* *тур-* «длительно учиться»); кит. *яо-* «хотеть, желать» служит детерминативом будущего времени, с семантикой пожелания связано происхождение будущего времени и в тюркских языках; кит. *вань-*, тюрк. *бит-* / *бүт-* «заканчивать, завершать» — показатель совершенности действия и т. п.²

Общие закономерности развития видовых модификаций глагола в китайском, кхмерском и в некоторых других изолирующих языках, а также в тюркских и других агглютинативных языках, как и другие общие типологические черты, позволяют глубже проникнуть в изучение морфологической структуры тюркского сложного слова, состоящего из корневой морфемы и одного или нескольких словообразовательных аффиксов, представлявших на более ранней стадии развития языка самостоятельные слова сначала с реальным конкретным, затем с абстрактным и, наконец, со служебным грамматическим значением.

Итак, морфологический анализ состоит из установления определенных основных констант, или конструктивных единиц, внутри структуры слова и выявления основных типов корневой морфемы и основных типов аффиксальных морфем, группирующихся в определенные парадигматические ряды.

¹ См.: Ю. А. Горгониев, Явления параллелизма в становлении грамматических категорий в языках изолирующего типа, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965, стр. 132—134.

² Китайские примеры взяты из указ. статьи Ю. А. Горгониева.

Типы корневых морфем характеризуются, с одной стороны, своим фонематическим составом, а с другой стороны — своим лексическим значением, семантикой. Все корневые морфемы с знаменательным реальным значением разделяются на две основные категории именных и глагольных морфем.

Более сложную систему представляют аффиксальные морфемы, которые типологически классифицируются на несколько основных типов: 1) тип лексико-грамматических морфем, изменяющих реальное значение и имеющих два основных подтипа морфем или аффиксов: а) модифицирующих значение корневой морфемы без трансформации ее из глагольной в именную или из именной в глагольную и б) конвертирующих значение, т. е. трансформирующих корневую морфему из глагольной в именную и из именной в глагольную; 2) тип функционально-грамматических морфем, изменяющих функциональное назначение слова и имеющих два основных подтипа: а) субстантивизирующих и б) атрибутивирующих морфем или аффиксов; последние в свою очередь имеют еще два вида: адвербиализующих и адъективирующих; 3) тип словоизменительных морфем, выражающих отношения конструктивных членов словосочетания и предложения и разделяющихся на два основных подтипа: а) выражающих предикативные отношения (лицо и число) и б) атрибутивные и атрибутивно-объектные отношения (принадлежность и падежи). Каждый тип как основная типологическая единица в морфемном членении слова представляет собой сложную систему конкретных выражений, составляющих своеобразные словообразовательные и словоизменительные ряды.

Весь словарный состав каждого конкретного языка, таким образом, укладывается в определенную систему словообразовательных моделей, которые образуют своеобразную иерархическую лестницу от более общих словообразовательных типов, подтипов, к более конкретным видам и подвидам.

Словообразовательные аффиксы, если иметь в виду только живую продуктивную и малопродуктивную их часть, легко обозримы и составляют, как уже отмечалось выше, систему своеобразных словообразовательных парадигм, т. е. во всяком случае те аффиксы, которые легко отделяются от основы, сохраняющей после выделения аффикса конкретные смысловые значения, что по существу является основным критерием для определения живых и продуктивных, а с другой стороны, мертвых и непродуктивных аффиксов.

При историко-типологическом изучении морфемного состава слова необходимо устанавливать не только основные типы, подтипы и конкретные модели аффиксальных морфем как по форме и составу (простые, сплавленные в определенные сочетания, сложные и проч.), так и по значению, но и те основы слов, которые составляют многообразные сочетания корневых морфем с аффиксальными.

Итак, типологическое изучение морфологической структуры слова заключается: 1) в определении основных типологических единиц, к которым правомерно отнесены: корневые морфемы, словообразовательные лексико-грамматические и функционально-грамматические морфемы и словоизменительные морфемы с их делением на типы, подтипы, виды и подвиды; 2) в установлении основных типологических разновидностей основ слов по их морфемному составу — аналитических и синтетических моделей, а также моделей основ слов, состоящих из различных комбинаций морфем и т. д.; 3) в группировке типов, видов и подвидов в определенную систему словообразовательных и словоизменительных рядов или парадигм, т. е. в выявлении групп или совокупностей форм, объединенных одной категорией и характеризующих данный словоизменительный (число, паде-

жи, принадлежность, лицо) или словообразовательный (залог, виды, времена, наклонения — для глагола и уменьшительные формы имени, аффиксы профессии и проч. — для имен) ряды.

5. Морфологическая структура слова и установление тиличных ее моделей является ключом к определению и классификации моделей слов по их фонематическому составу («фонологическая модель слова») в данном конкретном языке или в группе данных родственных языков.

Типологическое изучение фонологической структуры слова имеет своей задачей рассмотрение, учет и классификацию всех фонологических моделей структуры слова, имеющих в тюркских языках. Фонологические модели слов также ограничены определенными типами и определенной сочетаемостью их фонологических элементов. Основными типами фонологических моделей являются однофонемные, двухфонемные, трехфонемные, четырехфонемные и многофонемные типы слов.

Фонологическая структура слова реализуется в многообразии конкретных звуковых оболочек, которые группируются в свою очередь в определенные типы, виды и конкретные реализации — модели. Фонологические модели корневых морфем реализуются в тюркских языках в виде сочетания двух согласных, согласных, характеризующихся определенными дифференциальными признаками, которые диктуют данной модели определенную интерконсонантную огласовку. Фонологические модели аффиксальных морфем характеризуются разнообразием структуры морфем первичных по своей природе или вторичных, сложных, сплавленных из двух или нескольких морфем. Наконец, необходимо изучить фонологические модели целых слов, состоящих из корневых и аффиксальных морфем (словообразовательных и словоизменительных).

Установление фонологических моделей морфем и слов имеет своей целью выяснить все возможные сочетания фонем во всех позициях в слове или корневой или аффиксальной морфеме и определить основные типы этих моделей и их конкретные модификации.

6. Итак, объектами историко-типологического изучения строя тюркских языков являются следующие взаимно противопоставляющиеся категории:

I. Исходя из общей системы языка как результата мыслительной деятельности человека, представленной двумя ее типами — атрибуцией (т. е. дифференциацией и конкретизацией понятий) и предикацией (т. е. интеграцией и абстрагированием понятий), — основными объектами типологического изучения синтаксиса в логико-грамматическом аспекте будут: 1а — атрибутивные словосочетания как выражение результата атрибуции во всем многообразии их типов, видов и конкретных моделей, с одной стороны, и 1б — предикативные словосочетания, или предложения, как выражение результата предикации также во всем многообразии их типов, видов и конкретных моделей — с другой стороны.

II. Исходя из того, что в грамматико-логическом плане вся лексическая система в тюркских языках представлена также двумя противопоставляющимися группами, отражающими основные отношения слов между собой как в атрибутивном, так и в предикативных словосочетаниях (а именно: отношения определяемых слов — слов с субстантивным значением и определяющих слов — слов с атрибутивным значением), основными единицами-объектами типологического изучения лексики в логико-грамматическом аспекте будут: 2а — субстантивные функциональные формы слов, выступающие в функции определяемых членов в словосочетаниях и предложениях и 2б — атрибутивные функциональные формы слов, выступающие в функции определяющих членов в словосочетаниях и предложениях. Аtribuтивные функциональные формы слов, в зависимости от их

сочетаемости с субстантивными или с атрибутивными категориями, т. е. в зависимости от логико-грамматических значений, указывающих на признак субстанции или на признак атрибута, имеют в свою очередь два основных типа — а) атрибутивно-определятельный и б) атрибутивно-обстоятельный, — представленные в системе языка в многообразных конкретных моделях.

III. Исходя из того, что в лексико-семантическом плане как субстантивные, так и атрибутивные формы слов выражают статические и динамические понятия, основными объектами типологического изучения лексики в лексико-семантическом аспекте будут: 3а — имена как выражения статических категорий, выступающие как в субстантивной, так и в атрибутивной функциональной формах; 3б — глаголы как выражения динамических категорий, выступающие так же как в субстантивной, так и в атрибутивной формах.

IV. Исходя из морфологической структуры слова, состоящего из корневых и аффиксальных морфем, объектами-единицами типологического изучения в структуре слова в грамматическом аспекте будут: 4а — корневые морфемы, разделяющиеся в свою очередь на два основных типа: 1) глагольные и 2) именные; 4б — аффиксальные морфемы, разделяющиеся в свою очередь на два основных типа: 1) словообразовательные с двумя видами А) лексико-грамматическим с двумя подвидами: а) конвертирующими и б) модифицирующими и Б) лексико-функциональными с двумя подвидами: а) субстантивирующие и б) атрибутивирующие, и 2) словоизменительные с четырьмя типами, выражающими отношения слов в составе предложения и словосочетания, а именно — предикативные отношения (число, лицо) и атрибутивные (категория принадлежности и падежа).

V. Наконец, исходя из фонологической первичной структуры корневого слова, состоящего из сочетания двух согласных, характеризующихся определенными дифференциальными признаками, которые диктуют каждой данной модели определенную интерконсонантную огласовку, основными единицами-объектами типологического изучения фонологической структуры слова будут: типы фонологических моделей, состоящие либо из фонем, реализующихся в виде начальных задних согласных ($h - \bar{h}$, $h - j$, $h - v$), либо из фонем, реализующихся в виде начальных средних согласных ($j - \bar{h}$, $j - j$, $j - v$), либо из фонем, реализующихся в виде начальных передних согласных ($v - \bar{h}$, $v - j$, $v - v$) во всем многообразии конкретных их моделей.

Таковы основные единицы-объекты историко-типологического изучения грамматического строя тюркских языков.

М. А. КУМАХОВ

ЧИСЛО И ГРАММАТИКА

Грамматическая категория числа тесно связана с числовыми разграничениями самих предметов и явлений окружающего нас мира, и тем не менее понятие числа в грамматике не совпадает с понятием количества. В категории числа четко проявляется асимметричность языкового знака. Значение мн. числа далеко не всегда выражается грамматической формой мн. числа. Так, способность имен существительных в форме ед. числа обозначать множественность объектов — обычное явление в языках различных типов. В предложении *На катке было много народу* существительное *народ* в форме ед. числа имеет значение «люди», однако значение этого слова не нарушает правила согласования в современном русском литературном языке: форма ед. числа независимо от числового значения сочетается только с формами ед. числа синтаксически связанных с ней слов. Грамматическая сочетаемость (согласование) не изменяется также при употреблении формы ед. числа в значении, безотносительном к числу. Например: «И путь по нем широкий шел: И конь скакал, и влекся вол, И своего верблюда вел Степной купец...» (Пушкин, Обвал).

Иначе обстоит дело в языках, различающих общее и мн. число. Своеобразие числовых корреляций, обусловленное наличием общего числа, характерно для языков различных типов. Однако общее число, как и категория числа в целом, проявляется в различных языках по-разному. В этом отношении абхазо-адыгские языки, на материале которых преимущественно основывается данная статья, представляют интерес не только для теории грамматики и типологии числа, но и в плане соотношения языка и мышления¹.

Характерной особенностью абхазо-адыгской группы языков являются имена существительные, выступающие с недифференцированным значением числа. См., например, в кабардино-черкесском: *цӀыхуым йэшI* «человек строит» и *цӀыхуым йашI* «люди строят», *фызым жегӀэ* «женщина говорит» и *фызым жагӀэ* «женщины говорят», *хъэшIэм къехъ* «гость несет» и *хъэшIэм къахъ* «гости несут», *сабийм йэшIэ* «ребенок знает» и *сабийм йашIэ* «дети знают», где словоформы *цӀыхуым* «человек, люди», *фызым* «женщина, женщины», *хъэшIэм* «гость, гости», *сабий* «ребенок, дети» нейтральны в отношении грамматического числа. Эти словоформы сочетаются с личными формами глагола и ед. и мн. числа: в первом случае они указывают на единственный объект, во втором — на множественность объектов². Применительно к рассматриваемому явлению термин «общее число» вполне оправдан с грамматической точки зрения.

¹ В ином аспекте соотношения числа и грамматики рассматриваются (в основном на материале русского языка) в статье А. А. Реформатского «Число и грамматика» (сб. «Вопросы грамматики», М.—Л., 1960).

² Здесь и далее под объектом понимается не грамматический объект (дополнение), а предмет в широком смысле этого слова.

Типологически сходное явление — слабая выраженность категории числа в именах существительных — засвидетельствовано в ряде других языков³.

В определительных конструкциях имена существительные общего числа, выполняющие функцию определения, сочетаются с определяемыми притяжательными формами имен ед. и мн. числа: *цълыхым йыпсаулэ* «жизнь человека» и *цълыхым йапсалъэ* «жизнь людей», *фызым йыпсалъэ* «слово женщины» и *фызым йапсалъэ* «слово женщин», *хъэшлэм йымурад* «намерение гостя» и *хъэшлэм йамурад* «намерение гостей», *сабийм йыгъэл* «характер ребенка» и *сабийм йагъэл* «характер детей». Число в данном случае выражается с помощью притяжательного аффикса, входящего в состав определяемого.

Показательны данные убыхского языка, характеризующегося ущербностью грамматической категории числа. В этом языке нет полной парадигмы склонения во мн. числе. В языках с ограниченной сферой употребления формы мн. числа противопоставление форм числа чаще всего реализуется в именительном падеже и снимается в косвенных падежах — что например, наблюдается в чукотском, финском, мордовских языках. Любопытно, что в убыхском языке число выражается только в эргативном падеже, в других падежах, в том числе именительном, отсутствуют числовые корреляции, если имя существительное не выступает в притяжательной или указательной форме; например, *тыт* «человек, люди» (им. п.), *тытым* «человек» (эргативн. п. ед. ч.), *тытна* «люди» (эргативн. п. мн. ч.)⁴. Число в убыхском выражается морфологически лишь в отдельных грамматических формах, в частности, в притяжательных и указательных формах имени существительного. Причем в этих формах число выражено не специальным аффиксом числа, а путем противопоставления самих префиксов притяжательности или указательности. Так, притяжательные префиксы различаются в зависимости от числа предметов обладания при отсутствии показателя числа в самом существительном. Например: *сы-чы* «мой конь», *со-чы* «мой кони», *уы-чы* «твой конь», *уо-чы* «твой кони», *гъа-чы* «его конь», *гъо-чы* «его кони»; см. также указательные формы: *йы-чы* «этот конь», *йыльы-чы* «эти кони». Нейтральная форма имени существительного согласуется не только с формой ед., но и мн. числа глагола, например: *ача-гъы агъыбжътанан ант'ан члажагъан* «И всадники разозлились и подошли к двери»⁵, где общая форма *ача* «всадник, всадники» согласуется с

³ См. например: М. К и з д а, Грамматика японского языка, I, М., 1958, стр. 78, 80, 81; А. А. Х о л о д о в и ч, Очерк грамматики корейского языка, М., 1954, стр. 51—52; В. З. П а н ф и л о в, Грамматическое число существительных в нивхском языке, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», XI, М.—Л., 1958; е г о ж е, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 91—118; В. А. В о р и н, Грамматика нанайского языка, I, М.—Л., 1959, стр. 133—141; П. Я. С к о р и к, Грамматика чукотского языка, ч. 1, М.—Л., 1961, стр. 139—155; Б. А. С е р е б р е н и к о в, Историческая морфология пермских языков, М., 1963, стр. 84—99; А. П. Ф е о к т и с т о в, Мокшанский язык. «Языки народов СССР», III, М., 1966, стр. 180—181, 204—205; О. П. С у н и к, Удгейский язык, там же, V, Л., 1968, стр. 215; Т. К о w a l s k i, Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes *-lar, -lär* in den Türkischen Sprachen, Kraków, 1936; D. W e s t e r m a n, Pluralbildung und Nominalklassen in einigen afrikanischen Sprachen, «Abhandl. der Deutschen Akademie der Wissenschaften», 1, 1945—1946.

⁴ Из сходных фактов других языков можно указать на неразличение чисел в прямых падежах в курдском и белуджском языках. Об этом см.: В. Н. Т о п о р о в, Индо-арийские языки СССР (Введение), «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 35; Ч. Х. Б а к а е в, Курдский язык, там же, стр. 263; В. С. Р а с т о р г у е в а, Белуджский язык, там же, стр. 329; Б. А. У с п е н с к и й, Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии, ВЯ, 1968, 6, стр. 10.

⁵ Пример приведен из кн.: Н. V o g t, Dictionnaire de la langue oubykh. [Oslo], 1963, стр. 37

глагольными формами мн. числа. В убыхском обращает на себя внимание контрастность разных классов слов — существительных и глаголов — с точки зрения выражения в них грамматической категории числа. При очень слабой выраженности категории числа у существительных глагол характеризуется разнообразием числовых форм: здесь различаются формы единичности, множественности и коллективности, сочетающиеся с общим числом имени существительного.

Как отмечалось выше, недостаточная выраженность противопоставления по числу характерна для ряда других языков. Нерегулярностью противопоставления форм ед. и мн. числа и своей типологической близостью в этом отношении с абхазо-адыгскими языками интересны некоторые палеоазиатские языки. Так, в нивхском языке имя существительное, внешне совпадающее с основой, может обозначать не только единичность и собирательность объекта, но также раздельное множество тех или иных однородных предметов⁶. В нивхском языке возможен отмеченный выше тип связи, при котором подлежащее в форме ед. числа сочетается со сказуемым в форме мн. числа; например: *Имг дан ыд'гу* «их собаки залаяли» (*дан* «собаки» — подлежащее в форме ед. числа, *ыд'гу* «залаяли» — сказуемое в форме мн. числа)⁷. Подобное явление для ограниченного числа имен существительных отмечено в кетском языке⁸.

Характеризуя слабую выраженность противопоставления по числу имен существительных в тех или иных языках, исследователи все еще обращают недостаточное внимание на характер согласования между подлежащим и сказуемым. Между тем, с грамматической точки зрения главным критерием выделения формы общего числа может служить лишь сочетаемость одной и той же формы подлежащего с формами и ед. и мн. числа сказуемого или с формами другого (синтаксически зависимого от подлежащего) члена синтагмы или предложения. Употребление формы ед. числа имени в значении множественности само по себе еще не дает оснований для выделения общего числа, если такая форма не обладает сочетаемостью форм обоих чисел.

[Не только имя существительное, но и глагол может быть нейтральным в отношении грамматических форм числа. Нейтрализация числовых различий у глагола в синтагме или предложении возмещается грамматической формой подлежащего. Возможность конструкций с нейтральной формой глагола типа кабард.-черкес. *ар матхэ* «он пишет» и *ахэр матхэ* «они пишут» обеспечивается реализацией противопоставления форм числа у подлежащего (местоимения), в то время как возможность конструкций с нейтральной формой имени существительного типа *чыгууым йэшI* «человек строит» и *чыгууым йашI* «люди строят» обеспечивается реализацией противопоставления форм числа у другого члена — сказуемого (глагола). Отсюда видно, что согласование в числе между членами основного синтаксического ядра (подлежащее + сказуемое) с грамматической точки зрения, по существу, является избыточным: вполне достаточным оказывается наличие числовых корреляций лишь у одного члена, второй член может быть внекоррелятивным, т. е. нейтральным к форме числа. Отсутствие числовых противопоставлений в подлежащем или сказуемом отнюдь не свидетельствует о недостаточной реализации логической категории числа лингвистическими символами. Принцип экономной сочетаемости слов, основанный на устранении избыточности грамматического согласования в

⁶ См.: В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, стр. 98—99.

⁷ Там же, стр. 99.

⁸ См.: Е. А. Рейнович, Способы действия в глаголе кетского языка, «Кетский сборник», М., 1968, стр. 79—80; В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян, Об изучении имени в кетском, там же, стр. 235—236.

числе между подлежащим и сказуемым, широко используется в языках. Однако осуществляется этот принцип чаще всего путем нейтрализации числовых противопоставлений в глаголе. При этом бывают разные типы ограничений, накладываемых на числовые противопоставления в глаголе. Так, в глаголе числовые противопоставления часто ограничены определенными парадигматическими рядами внутри данного класса слов. Например, числовые противопоставления снимаются во всех формах прошедшего времени в английском языке (за исключением *was — were*), в форме 3-го лица непереходных глаголов в адыгских языках. Неполнота реализации числовых противопоставлений в глаголе нередко связана с семантическими категориями имен существительных, в частности, с делением на класс человека и класс вещей, на названия одушевленных предметов и названия неодушевленных предметов. Например, в современном грузинском языке согласование в числе между членами предикативной синтагмы (имя + глагол), как правило, осуществляется в случаях, когда именной член относится к группе существительных одушевленных; например: *bavšvi izrdeba* «ребенок растет», *bavšvebi izrdebian* «дети растут», но: *xe izrdeba* «дерево растет», *xeebi izrdeba* «деревья растут»⁹. Аналогичный принцип сочетаемости слов проводится в тюркских языках, где традиционная норма, как отмечал Н. К. Дмитриев, «сводилась к тому, что при подлежащем неодушевленного предмета, хотя бы оно стояло во множественном числе, сказуемое должно было оставаться в единственном»¹⁰. Например: турецк. *dağlar yüksek* «горы высоки», башк. *ağastar tora* «деревья стоят». Бывает и так — это уже более редкий случай, — что ограничения, накладываемые на числовые противопоставления в глаголе, обусловлены формой выражения числа у другого члена предикативной синтагмы. Так обстоит дело именно в древнегрузинском языке, где глагол согласуется с именем (реальным субъектом) во мн. числе, если от именного члена синтагмы мн. число образовано с помощью суффикса *-n*, но число остается невыраженным в глаголе, если мн. число образовано от именного члена синтагмы с помощью суффикса *-eb*. Например: *moçapeni iŋqyan* «ученики говорят», но: *aŋprinda sirebi* «взлетели птички»¹¹. Наконец, числовые противопоставления могут сниматься полностью в глаголе, как это происходит, например, в агульском, бенгальском, датском, лезгинском языках. Характерно, что указанный принцип экономайности сочетаемости слов применяется даже и в искусственных языках — например, в эсперанто, где нейтральная форма глагола употребляется с формами ед. и мн. числа подлежащего.

Итак, в абхазо-адыгских языках числовые противопоставления нейтрализуются в именах существительных, что, несомненно, является более специфичным и идиоматичным по сравнению с нейтрализацией числовых противопоставлений в глаголе. На первый взгляд может показаться, что конструкции типа *цЫхуым йаиI* «человек строит» и *цЫхуым йаиI* «люди строят» грамматически конфликтны, т. е. в них нарушены законы грамматической сочетаемости. В действительности разбираемые конструкции не содержат внутреннего противоречия, хотя одна и та же форма именных членов обладает одновременно сочетаемостью *singularia* и *pluralia tantum*. Для выражения отношений числа между подлежащим и сказуемым достаточным оказывается противопоставление форм числа в сказуемом. Свообразие согласования состоит в том, что появление формы числа гла-

⁹ Подробнее об этом см. А р н. Ч и к о б а в а, Проблема простого предложения в грузинском языке. I. Подлежащее и дополнение в древнегрузинском языке, Тбилиси, 1968, стр. 269—280 (на груз. яз.).

¹⁰ См.: Н. К. Д м и т р и е в, Категория числа. ИСГТЯ, II, М., 1956, стр. 70—71.

¹¹ А р н. Ч и к о б а в а, указ. соч., стр. 269—280.

гола предсказано не формой числа, а числовым значением имени существительного. Это положение обратимо, поскольку компоненты основного синтаксического ядра находятся в отношениях взаимной обусловленности: числовое значение имени существительного определяется формой глагола.

В конструкциях типа *цГыхуым йэшI* «человек строит» и *цГыхуым йашI* «люди строят» способ выражения числа остается грамматическим, хотя выражается оно опосредствованным путем, т. е. через форму другого слова. Число оказывается категорией внеграмматической при отсутствии числовых корреляций у обоих компонентов основного ядра предложения. Так, многозначность предложения *ЦГыхуыр шьысшь 1)* «Человек сидит», 2) «Люди сидят» обусловлена тем, что нейтральная форма имени существительного *цГыхуыр* «человек, люди» сочетается с такой же нейтральной формой глагола *шьысшь* «сидит, сидят». Синтетические формы глагола типа *шьысхшь* «сидят» являются инновацией, причем в функциональном плане они избыточны и свободно замещаются нейтральными формами типа *шьысшь* «сидит, сидят». В речи грамматическое значение форм слов конкретизируется, что исключает их многозначность и нейтральность. Приведенное предложение приобретает конкретное значение, его компоненты становятся однозначными лишь тогда, когда оно вводится в широкий контекст. Таким образом, число, выражаемое существительным *цГыхуыр*, устанавливается не формой самого слова и не формой согласования его с другими словами. Числовое значение формы *цГыхуыр* не выясняется в пределах одного предложения, поскольку и форма глагола (как и форма существительного) не имеет числовых корреляций.

Формы типа *цГыху* «человек, фыз» «женщина, женщины», *хьэшIэ* «гость, гости», *сабий* «ребенок, дети» при синхронном анализе можно рассматривать как немаркированное употребление формы ед. числа, так как существительные разбираемой группы обладают в то же время и числовыми корреляциями, т. е. грамматически различают формы ед. и мн. числа. Сосуществование форм общего и мн. числа создает своеобразные числовые корреляции у имен существительных. Немаркированная форма выражается нулевым формативом, форма мн. числа имеет свой морфологический показатель суффикс *-хэ*. Иными словами, нулевая форма сама по себе не содержит прямого указания на конкретное число: в зависимости от формы глагола или посессивного имени, речь может идти как об одном объекте, так и о множестве объектов. Более того, при нейтральности глагольной формы вся конструкция типа «существительное + глагол» оказывается немаркированной, например: *ХьэшIэ кьэтхуэкIуашь 1)* «К нам пришел гость», 2) «К нам пришли гости», *Тхылъ кьэсшьгьэхуашь 1)* «Я купил книгу», 2) «Я купил книги». Нулевая форма способна выступать вместо формы мн. числа, но обратное исключено. Ср.: *хьэшIэм жэлэ = хьэшIэхэм жэлэ* «гости говорят», *сабийм йашIэ = сабийхэм йашIэ* «дети знают», *цГыхуыр шьысшь = цГыхуэр шьысшь* «люди сидят». В отличие от нулевой формы, выступающей как немаркированный член числовой корреляции, форма мн. числа содержит прямое указание на множественность обозначаемых объектов, являясь маркированным членом числовой корреляции. Соответственно немаркированный член сочетается с формами ед. и мн. числа, а маркированный член — с формами мн. числа. Ср. в даргинском: *маза бакIуб* «овца пришла», *маза дакIуб = мазни дакIуб* «овцы пришли».

В языках со слабой выраженностью категории числа попытка дифференцировать числовое значение с помощью специального форматива не всегда приводит к маркированному употреблению формы мн. числа, как это имеет место в адыгских языках. Показательны в этом отношении данные японского языка. Сочетание нейтральной формы *томо* «друг, друзья»

с формативом *-дати* в японском не привело к образованию грамматической оппозиции числа: *томо-дати*, как и *томо*, употребляется и в значении ед., и в значении мн. числа. Немаркированная форма *ко* имеет значение «ребенок, дети». В таком же значении употребляется форма *ко-домо*, включающая форматив числа *-домо*. Чтобы маркировать значение числа, к форме *ко-домо* «ребенок, дети» присоединяется второй форматив числа *-ра*: *ко-домо-ра* «дети»¹². Образования типа *ко-домо-ра*, в основе которых лежит недифференцированная в числовом отношении форма имени, отличаются от числового плеоназма, обусловленного асемантизацией или переосмыслением формата мн. числа¹³, см., например, плеонастические формы мн. числа в абазинском *ягъа-ча-ква* «мужчины», *анхагIв-ча-ква* «труженики».

Весьма своеобразно числовое противопоставление у имен существительных, образующее форму треугольника (в терминологии А. А. Реформатского)¹⁴. Ср., например, в адыгейском языке, с одной стороны, коррелятивную пару *чылэ* «село» — *чылэхэр* «села», а с другой — внекоррелятивную форму *чылэ* «жители села». В отличие от нулевых немаркированных форм типа *цIгыху* «человек, люди», *фыз* «женщина, женщины», *хьэшIэ* «гость, гости», *сабий* «ребенок, дети» нулевая (коррелятивная) форма *чылэ* указывает на единичность объекта и сочетается только с личной формой ед. числа глагола. Нулевая внекоррелятивная форма *чылэ* указывает на множественность объектов и согласуется с личной формой мн. числа глагола. Внекоррелятивная форма *чылэ* по своей форме относится к *singularia tantum*, по значению и форме согласования — к *pluralia tantum*.

С внекоррелятивными формами типа *чылэ* «жители села» сближаются по своей сочетаемости имена существительные, образованные путем редупликации второй части основы: это слова со значением коллективности типа *шIалэ-гьуалэ* «молодежь, молодые люди», *хьэчIэ-кхьуэчIэ* «звери» и др. Имея форму ед. числа, такие редуплицированные существительные согласуются с формами мн. числа глаголов и притяжательными формами мн. числа имени существительного. Например: *шIалэ-гьуалэм йашиI* «молодежь строит», *шIалэ-гьуалэм йамахуэ* «день молодежи». Возможна форма мн. числа от слов типа *шIалэ-гьуалэ* «молодежь, молодые люди». Подобные слова с суффиксом мн. числа *-хэ* и без него (т. е. в форме ед. числа) имеют только сочетаемость *pluralia tantum*: *шIалэ-гьуалэм* = *шIалэ-гьуалэхэм йашиI* «молодежь строит», *хьэчIэ-кхьуэчIэм* = *хьэчIэ-кхьуэчIэхэм йапсэуычIэ* «жизнь зверей (животных)», *хьэцэ-пацэм* = *хьэцэ-пацэхэм йаIуыхьыжыгьуэ* «время уборки колосовых».

Процессы, связанные с отношением маркированности — немаркированности в числовых противопоставлениях неодинаково протекают в разных группах имен существительных. Имена существительные типа *гуйл* «группа, коллектив» имеют свободное согласование: сочетаются с формами ед. и мн. числа глагола и зависимого существительного. Ср. в кабардино-черкесском языке: *гуйлым уынафэ йэшиI* «группа (коллектив) принимает решение» (*йэшиI* буквально «он (она) делает, принимает», *гуйлым уынафэ йашиI* «группа (коллектив) принимает решение» (*йашиI* буквально

¹² См.: А. А. Холодович, Категория множества в японском языке в свете общей теории множества в языке, «Уч. зап. [ЛГУ]». Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 27—28; М. Кизеда, указ. соч., стр. 78—81.

¹³ Плеонастическое образование мн. числа характерно для языков различных типов. См.: Г. Ф. Благова, Тюркский аффиксальный плеоназм в сравнительно-историческом и ареально-лингвистическом освещении, ВЯ, 1968, 6, стр. 87—92; Т. И. Поротова, Образование и употребление форм числа существительных кетского языка, Автореф. канд. диссерт., Томск, 1968, стр. 5—6; Е. А. Крейнович, Об изучении языка сымских кетов, ВЯ, 1969, 2, стр. 85.

¹⁴ См.: А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 394.

«они делают, принимают»), *гуыным йанэхъыжь* «глава группы» [*йанэхъыжь* буквально «его (ее) глава»], *гуыным йанэхъыжь* «глава группы» (*йанэхъыжь* буквально «их глава»). Иными словами, существительные рассматриваемого типа в форме ед. числа обладают одновременно сочетаемостью *singularia* и *pluralia tantum*.

В отношении имен собирательных описываемое явление находит типологическую аналогию в языках других групп. К примеру можно напомнить о сочетаемости слов типа *family, army* в английском языке¹⁵; характерно, что при этом форма согласования нередко определяется значением собирательного имени. Так, конструкции типа *my family are...* возможны только для имен собирательных, обозначающих живые существа¹⁶. Имена одушевленные и неодушевленные с собирательным значением по-разному (хотя и не всегда последовательно) согласуются с глаголом во многих языках. Например, в древнегреческом: Μέρος τι ἀνθρώπων οὐχ ἴχθυνται θεῶς «Часть людей богов не признает» и в латинском: *Atria turba tenet, veniunt leve vulgus eunIQUE* «Толпа занимает передние; легкомысленный народ приходит и уходит» (при *turba* «толпа» сказуемое стоит в ед. числе, при *vulgus* «народ» — во мн. числе)¹⁷; в старославянском (Мариинское евангелие): *народось иже не вѣсть закона проклати сѣтъ* (при одном подлежащем в форме ед. числа сказуемые стоят в разных числах); в русских народных говорах: *Мѣладѣжь собралися; Вся Масква хѣранили; по: Табун-то идѣть; Пльвѣть стадо лѣбядѣнское*¹⁸.

Сочетаемостью и *singularia tantum* и *pluralia tantum* обладают не только имена со значением коллективности, но и существительные типа *цГылу* «человек, люди», *хъшлэ* «гость, гости», *фыз* «женщина, женщины», *тхылъ* «книга, книги», т. е. слова, обозначающие исчисляемые объекты (например: *тхылъм дэлъшь* «в книге лежит», *тхылъм йахълъшь* «лежит среди книг»). Последние в сочетании с личными формами ед. числа глагола обозначают единичность объекта, а в сочетании с личными формами мн. числа глагола — множественность объектов. Числовое значение слов типа *гуып* «группа» не меняется в зависимости от формы числа глагола, т. е. форма ед. числа *гуып*, в отличие от формы ед. числа *цГылу, хъшлэ, тхылъ*, маркирована, хотя имеет свободное согласование с глаголом, сочетаясь с личными формами ед. и мн. числа. Имена существительные типа *гуып* принимают также морфему мн. числа *-хэ*, выражая множественность того, что обозначается существительным: *гуып* «группа (коллектив)» — *гуыпхэр* «группы (коллективы)». Члены грамматической оппозиции *гуып* — *гуыпхэр*, различаясь по признаку единичности — множественности, объединяются тем, что оба сочетаются с личными формами мн. числа гла-

¹⁵ Рассматривая возможность сочетания собирательного имени в форме ед. числа с формой мн. числа глагола без каких-либо оснований как противоречие между восприятием говорящего и грамматической системой языка, еще Г. Пауль писал: «Такое отклонение субъективного восприятия проявляется в нарушении грамматического согласования в числе, с которым в ряде случаев связано нарушение грамматического согласования в роде» (Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 322). Той же точки зрения придерживался и Г. Суит, который считал «антиграмматическими» конструкции типа *the party were assembled* (H. Sweet, A new English grammar, logical and historical, pt. I, Oxford, 1930, стр. 44—45). О развитии категории собирательности и ее отношении к другим формам грамматического числа см.: J. Schmidt, Die Pluralbildungen der indogermanischen Neutra, Weimar, 1889; J. Knobloch, Reste von Singulativbildungen im Indogermanischen, отд. отт. из «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 3, 1965; Б. А. Серебряников, Существовали ли в протоуральском языке именные классы?, ВЯ, 1969, 3.

¹⁶ О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1968, стр. 226.

¹⁷ См.: С. И. Соболевский, Древнегреческий язык, М., 1948, стр. 244; его же, Грамматика латинского языка, ч. 1, М., 1948, стр. 125.

¹⁸ См.: А. Б. Шапиро, Очерки по синтаксису русских народных говоров, М., 1953, стр. 179, 180.

года: *губным уынафэ йашI* «группа принимает решение», *губнхэм уынафэ йашI* «группы принимают решение» (эргатив ед. числа *губным*, как и эргатив мн. числа *губнхэм*, согласуется с личной формой глагола мн. числа *йашI* «они принимают»). Ср. также в абхазском *агуыл икъарцIоулI* «группа делает», *агуылкуа икъарцIоулI* «группы делают», где *агуыл* в ед. числе, как и мн. число *агуылкуа*, сочетается с личной субъектной формой мн. числа глагола (*и-къа-р-цIоулI* «они делают что-то», *и-* — префикс прямого объекта, *р-* — префикс субъекта 3-го лица мн. числа).

Итак, в дистрибутивном плане члены грамматической оппозиции *губыл* — *губнхэр* могут быть взаимозаменяемыми. Это сближает слова типа *губыл* со словами типа *хъэшIэ* «гость», *цIыгу* «человек», *фыз* «женщина», *соби* «ребенок», маркированные и немаркированные формы которых взаимозаменяемы в тождественных окружениях. Ср. *хъэшIэм жаIэ* = *хъэшIэхэм жаIэ* «гости говорят», *цIыгуым йашI* = *цIыгухэм йашI* «люди строят», *собиым йашIэ* = *собиыхэм йашIэ* «дети знают». Различие только в том, что формы ед. и мн. числа в конструкциях типа *хъэшIэм жаIэ* = *хъэшIэхэм жаIэ* «гости говорят» синонимичны по значению, тогда как формы ед. и мн. числа слов типа *губыл* противопоставляются по значению: *губыл* «группа, коллектив», *губнхэр* «группы, коллективы». Отсутствие параллелизма в выражении числого значения между рассматриваемыми группами имен существительных схематически можно представить так:

Слова типа <i>хъэшIэ</i> «гость»		Слова типа <i>губыл</i> «группа»
форма ед. числа		форма ед. числа
единичность объекта	множественность объектов	единичность совокупности объектов
форма мн. числа		форма мн. числа
множественность объектов		множественность совокупностей объектов

Как видно, двум секторам формы ед. числа слов типа *хъэшIэ* «гость» соответствует один сектор формы ед. числа слов типа *губыл* «группа». Эти различия отсутствуют в форме мн. числа. В результате этого у слов типа *хъэшIэ* «гость» маркирована лишь форма мн. числа, а у слов типа *губыл* «группа» маркированы формы и ед. и мн. числа. Слова типа *хъэшIэ* «гость» в значении мн. числа не независимо от их грамматической формы числа сочетаются с формами мн. числа синтаксически связанных с ними слов. Иными словами, слова типа *хъэшIэ* «гость» как в форме ед., так и в форме мн. числа в сочетании с формами мн. числа других слов обозначают множественность объектов. Слова типа *губыл* «группа» в форме ед. числа обозначают только единичность совокупности объектов, но сочетаются с формами ед. и мн. числа других слов, т. е. обладают свободной сочетаемостью. Параллелизм между разбираемыми типами слов обнаруживается лишь в том, что в форме мн. числа они сочетаются с формами мн. числа.

Сосуществование общего и мн. числа может свидетельствовать как о незавершенности процесса становления категории числа, так и об усилении элементов синтетизма в морфологии, что является общей тенденцией развития грамматической системы абхахо-адыгской группы языков. Развитие синтетического способа выражения числа, точнее замена нейтраль-

ной формы коррелятивными формами стимулируется не только внутренними, но и внешними факторами эволюции грамматической системы. Среди экстралингвистических факторов, оказывающих воздействие на развитие числовых корреляций, наибольшую роль за последнее время сыграло создание письменности. Письменный язык, в отличие от неписьменной формы, всегда проявляет тенденцию к избыточной информации. Как отмечалось, числовые корреляции у существительного при наличии числовых корреляций у глагола (или, наоборот, числовые корреляции у глагола при наличии числовых корреляций у существительного) можно рассматривать как избыточные. В письменной же речи появление морфемы числа при каждом из компонентов основного синтаксического ядра нередко поддерживается влиянием иной языковой среды, т. е. является результатом языковой интерференции. Ср., например, в кабардинском языке отсутствие противопоставления личных форм ед. и мн. числа в живой разговорной речи и стремление к реализации противопоставления этих форм в письменном языке: *ар макГуз* «он идет», *азэр макГуз* «они идут» (в живой разговорной речи), *ар макГуз* «он идет», *азэр макГузэзэр* «они идут» (в письменном языке)¹⁹. В то же время нужно признать, что экстралингвистические факторы не могут одинаково воздействовать на развитие всех типов числовых корреляций. Так, по сравнению с внекоррелятивной формой 3-го лица одноличного глагола коррелятивные формы числа 2 и 3-го лица, выражаемые личными аффиксами, характеризуются высокой стабильностью и непроницаемостью. Иными словами, члены грамматической оппозиции проявляют большую устойчивость, в то время как та личная форма глагола, которая не входит в коррелятивный ряд, подвержена изменениям, т. е. оказывается менее защищенной от воздействия внешних факторов. Развитие грамматических форм выражения числа при взаимодействии разных языковых систем определяется типологией категории числа, степенью интенсивности языковых контактов и общей тенденцией развития всей морфологической системы в определенную историческую эпоху.

Старая трехступенчатая типологическая доктрина, объявившая корневой строй начальной стадией развития языка, хотя она давно отвергнута ходом развития науки о языке, оказывается удивительно живучей, находя отражение во взглядах исследователей на историю конкретных языков. В лингвистической литературе до сих пор господствует мнение, согласно которому недостаточная выраженность категории числа в именах существительных рассматривается как архаизм, отражающий более ранние ступени развития грамматической системы. Поэтому отсутствие или слабая выраженность числовых противопоставлений у имен существительных непременно приписывается состоянию языка, хронологически предшествующему образованию числовых корреляций. Между тем, развитие человеческой речи представляет слишком сложное и недостаточно изученное явление, чтобы можно было допустить во всех случаях такую упрощенную и одностороннюю интерпретацию. Не только в языках различных типов, но и в одном и том же языке в разные исторические эпохи отмечаются разные тенденции — аналитические средства выражения числа вытесняются синтетическими, а синтетические, в свою очередь, либо вытесняются аналитическими, либо сосуществуют с первыми. Все это совсем не составляет того полного круговорота в духе младограмматической теории, который исключает фактор развития и совершенствования языка в

¹⁹ Ср. замечание Н. К. Дмитриева: «... в современной татарской и башкирской речи наблюдается возникшая под влиянием русского синтаксиса тенденция — проводить полное согласование подлежащего и сказуемого в числе, не считаясь ни с какими семантическими оттенками» (указ. соч., стр. 71).

целом. В то же время история развития и становления грамматических категорий далеко не всегда может служить примером однонаправленного развития языковой структуры. Так, в свое время И. Шмидт, исходя из способа выражения, характерного для греческого языка, где существительные среднего рода в форме мн. числа сочетаются с глаголом в форме ед. числа, показал отсутствие числового противопоставления у существительных среднего рода в индоевропейском²⁰. В современных адыгских языках нейтрализация числового противопоставления имеет широкое распространение, охватывая самые различные группы имен существительных. Возможность снятия числовых противопоставлений в именительном падеже отражает состояние языка, хронологически предшествующее реализации числовых противопоставлений путем форматива *-xə*. В то же время немаркированность числа в эргативе — падеже деятеля при переходном глаголе относится к области инновации, возникшей после распада общеадыгского языка, что доказывается данными внутренней реконструкции (ср. противопоставление форм ед. и мн. числа общеадыгского эргатива с помощью формативов *-m*, *-mə*²¹). Наряду со слабой выраженностью категории числа в именах существительных убыхского, адыгейского и кабардино-черкесского языков в абхазском и абазинском удерживается способ числовой дифференциации с помощью классных аффиксов. Иными словами, общее число имен существительных может быть не только архаизмом или исходным явлением, но и инновацией, возникшей в результате нивелировки числовой дифференциации. Недостаточный учет этого фактора характерен для многих работ, в которых исследуется или затрагивается история развития и становления грамматической категории числа²².

²⁰ J. Schmidt, указ. соч.

²¹ Аналогичный процесс — возникновение общей формы имен существительных вследствие нейтрализации числового противопоставления — наблюдался в истории пермских языков (см.: Б. А. Серебrenников, указ. соч., стр. 96—98).

²² Автор выражает благодарность за ценные замечания Э. А. Макаеву и В. З. Панфилову, прочитавшим статью в рукописи.

Ю. Д. АПРЕСЯН

СИНОНИМИЯ И СИНОНИМЫ

Цель данной статьи состоит в том, чтобы внести некоторые уточнения в теорию лексических синонимов. Почва для этого в достаточной мере подготовлена практической работой по составлению синонимических словарей¹, в ходе которой был систематизирован богатый, ранее не изучавшийся фактический материал, и теоретическими исследованиями в области семантики², которые позволяют обосновать новую точку зрения на синонимы.

I. Средства лексической синонимии

Любой естественный язык располагает синонимическими средствами, т. е. разными средствами выражения одного и того же содержания. К их числу можно отнести:

1) Чисто синтаксические трансформации, при которых меняется словоупорядок, словообразовательный или словоизменительный статус входящих в трансформируемое выражение слов, а состав лексических морфем остается постоянным. Примерами чисто синтаксических трансформаций могут служить преобразования *Я не хочу, чтобы он уходил — Я хочу, чтобы он не уходил, Я верю в его честность — Я верю, что он честен, Я предлагаю вам уйти — Я предлагаю, чтобы вы ушли, Он проверяет семена на всхожесть — Он проверяет всхожесть семян, Он покался мне во всем — Он покался передо мной во всем* и т. д.

2) Лексические преобразования, основанные на замене данного слова а) его конверсивом, ср. *Бутылка вмещает три литра — В бутылку входит три литра, Он отстаёт от сестры в развитии — Сестра опережает его в развитии, Он скорее прожектор, чем мечтатель — Он не столько*

¹ За последние 10—12 лет вышло несколько словарей синонимов, в частности: Н. В é n а с, Dictionnaire de synonymes conforme au Dictionnaire de l'Académie française, Paris, 1956; «Webster's dictionary of synonyms», Springfield, 1957; З. Е. А лек с а н д р о в а, Словарь синонимов русского языка, М., 1968. В связи с подготовкой «толкового» словаря синонимов русского языка были опубликованы десятки статей по различным вопросам синонимии, содержащих большой и в значительной степени новый фактический материал. См., например, сборники «Очерки по синонимике современного русского литературного языка», М.—Л., 1966; «Лексическая синонимия», М., 1967.

² Имеется в виду в особенности теория равнозначных преобразований языковых выражений. См.: Z. S. H a g g i s, Transformational theory, «Language», 41, 1965; А. К. Ж о л к о в с к и й, И. А. М е л ь ч у к, Об одном способе и инструментах семантического синтеза, «Научно-техническая информация», 1965, 6; U. W e i n g e i c h, Explorations in semantic theory, «Current trends in linguistics», III — Theoretical foundations, London — The Hague — Paris, 1966; J. F. S t a a l, Some semantic relations between sentoids, «Foundations of language. International journal of language and philosophy», 3, 1, 1967; Н. Н. И з, Computable and uncomputable elements of syntax, «Transformations and discourse analysis papers», University of Pennsylvania, 69, 1967; А. К. Ж о л к о в с к и й, И. А. М е л ь ч у к, О семантическом синтезе, «Проблемы кибернетики», 19, 1967.

мечтатель, сколько прожектор³; б) его антонимом, ср. сомневаться — не быть уверенным, отсутствовать — не присутствовать, помнить — не забывать, включая (данный случай) — не исключая (данного случая); в) родовым термином с видовой модификацией, ср. карты — карточная игра, игра в карты, лингвистика — лингвистическая наука, готика — готическая архитектура, земля — земельные угодья, шептать — говорить шепотом; г) производным словом, ср. Он помогает мне — Он оказывает мне помощь — Я пользуюсь его помощью — Он мой помощник; Эти обязанности тяготят его — Эти обязанности тягостны ему — Эти обязанности ему в тягость; Он скрыл свой отъезд — Он уехал тайно; д) словом, которое находится в заданном смысловом отношении к исходному слову, ср. Он царствовал 30 лет — Он просидел на престоле 30 лет (престол = «инструмент царствования»), Он похоронен за селом — Его могила — за селом (могила = «место, где хоронят»), Он ушел по моему совету — Он последовал моему совету уйти (следовать совету = «реализовать требование ситуации», «совет») ⁴; е) семантическим кодом, ср. обесмысливать — лишать смысла, выпаривать — уничтожать паром, выбивать (ковер) — выбивать пыль (из ковра), а также более сложные и интересные случаи типа Кроме нас никто не пришел — Он был единственным, кто пришел, Я жду от вас искреннего раскаяния — Вы должны искренне раскаяться, Его ждали в субботу — Он должен был приехать в субботу, Вчера он закончил перевозку вещей с дачи — Вчера он перевез с дачи последние вещи; ж) лексическим синонимом, ср. Расстояние между ними уменьшилось (сократилось) вдвое.

Перечисленные средства составляют в совокупности синонимию в широком смысле слова и образуют предмет теории равнозначных преобразований. Поскольку лексические синонимы в узком смысле [пункт ж)] — один из источников синонимии в широком смысле, они тоже подлежат исследованию с точки зрения того, в какой мере они могут служить средством равнозначного преобразования языковых выражений.

II. Определение лексических синонимов в узком смысле

Обычно лексические синонимы определяются как слова, обозначающие одну и ту же вещь, но выделяющие различные ее аспекты, или как слова, имеющие одно и то же значение, но различающиеся его оттенками.

³ Еще Ш. Балли (Ch. Bally, *Traité de stylistique française*, 2-е éd. Paris, стр. 141) обратил внимание на выражения типа *avoir le droit* «иметь право» и *être légitime* «быть законным» как на один из источников лексической синонимии (ср. *Он имел право протестовать — Его протест был законным*). Задолго до современных исследований аналогичные соображения высказывал З. Харрис (Z. S. Harris, *Discourse analysis*, «Language», 28, 1, 1952; см. в особенности анализ глаголов *to buy* «покупать» — *to sell* «продавать»).

⁴ Продуктивные средства образования синонимичных выражений, перечисленные в пунктах 2а) — 2д), были изучены и формализованы в исследованиях А. К. Жолковского и И. А. Мельчука (см. примеч. 2). Некоторые из средств, упомянутых в пунктах 1) и 2г), подробно описаны в книге автора «Экспериментальное исследование семантики русского глагола», М., 1967. Производность как источник лексической синонимии и раньше привлекала внимание лингвистов; см., например: Ch. Bally, указ. соч., § 85; А. М. Пешковский, Глагольность как выразительное средство, сб. «Методика родного языка, лингвистика, стилистика, поэтика», Л., 1925; Г. О. Винокур, Глагол или имя?, «Русская речь», Новая серия, III, Л., 1928; С. И. Ожегов. О структуре фразеологии, «Лексикографический сборник», 2, М., 1957, стр. 44; L. Zawadowski, *Constructions grammaticales et formes périphrastiques*, Kraków — Wrocław — Warszawa, 1959, стр. 114; А. П. Евгеньева, Основные вопросы лексической синонимии, «Очерки...», стр. 7.

Не имея возможности входить здесь в детали, отметим две общие черты таких определений. Во-первых, поскольку в них фигурируют такие лишённые ясного содержания термины, как «аспект вещи» или «оттенок значения», ни одно из них не может быть признано вполне точным. Во-вторых, в большинстве определений упор делается не на общие семантические свойства синонимов, а на различия между ними⁵.

Если мы хотим дать эффективное определение синонимов, опирающееся на сравнение их значений, мы должны располагать исчерпывающим описанием значений слов данного языка (толковым словарем), выполненным с соблюдением ряда условий. Одни из них относятся к логической структуре толкования, другие — к тому семантическому языку, перевод на который и составляет толкование данного значения, а третьи — к структуре толкуемого выражения (в общем случае толкуемое выражение — это не отдельное слово естественного языка, а особым образом препарированное предложение или словосочетание).

Условия, которым должны удовлетворять т о л к о в а н и я, состоят в том, что 1) в них не должно быть тавтологического круга, 2) значение определяемого и определяющего выражений должны быть тождественны: если $A = \langle BC \rangle$, то $\langle BC \rangle$ должно быть необходимо и достаточно для A . Заметим, в частности, что если $\langle BC \rangle$ необходимо для A , но недостаточно (в действительности $A = \langle BCD \rangle$), то различные по значению слова A и A' ($A' = \langle BC \rangle$) могут оказаться представленными как синонимы. Если же $\langle BC \rangle$ достаточно для A , но не целиком необходимо, то фактически синонимичные слова A и A' могут оказаться представленными как не совпадающие по значению⁶.

Рассмотрим теперь условия, которым должен удовлетворять я з ы к т о л к о в а н и й (семантический метаязык).

Первое из них, касающееся словаря семантического языка, может быть сформулировано следующим образом: каждое слово в словаре семантического языка должно выражать ровно одно значение, а каждое значение должно выражаться ровно одним словом семантического языка, совершенно не зависимо от того, в составе какого толкования оно встречается (значения и их наименования должны находиться во взаимно-однозначном соответствии). Например, если какая-то часть значения прилагательного *короткий* толкуется с помощью слова «небольшой», то в толкованиях прилагательных *низкий*, *узкий*, *тонкий*, *легкий* и др. под. она должна быть представлена тем же самым словом, а не словами «малый», «незначительный», как это принято в обычных словарях. С другой стороны, если в толкованиях прилагательных *узкий* и *широкий* фигурирует выражение «в поперечнике», его не должно быть в толкованиях прилагательных *тонкий* и *толстый*; в противном случае, как об этом свидетельствует обычная лексикографическая практика, оно неизбежно получает два разных осмысления: «в ширину» для первой пары прилагательных и «в сечении» — для второй. Иными словами, в словаре семантического языка не должно быть ни синонимии, ни омонимии имен значений. Без этого невозможно представить семантические тождества и различия слов естественного языка в явном виде.

⁵ Ср. следующее характерное высказывание: «...общее мнение сошлось на том, что синонимами не являются слова различного звукового состава, полностью совпадающие по своему значению. ... синонимами являются слова, ...содержащие в своих, сходных в целом, значениях те или иные различия» (А. Б. Шапиро, Некоторые вопросы теории синонимов, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», 8, 1955, стр. 72).

⁶ Этот вопрос подробно рассматривается автором в работе «Толкование лексических значений как проблема теоретической семантики» (ИАН ОЛЯ, 1969, 1).

Сформулированное условие необходимо, но недостаточно. Пусть элементарные значения «не» и «начинать» находятся во взаимно-однозначном соответствии со словами семантического языка *не* и *начинать*. Из этого еще не следует, что слова и выражения естественного языка, в состав значений которых они входят, будут описаны вполне однозначно. Дело в том, что значения слов естественного языка могут отличаться друг от друга не элементарными значениями, которые входят в их состав, а исключительно их синтаксической организацией; ср. *не приступить (к работе)* =

= «не начинать (работать)», а *переставать (работать)* = *прекращать (работу)* = «начинать не (работать)». Следовательно, другим необходимым условием корректного истолкования значений является условие определенной синтаксической организации толкований.

Соблюдение этих двух требований к семантическому языку обеспечивает возможность формального сравнения толкований с целью обнаружения смысловых тождеств и различий между ними и, следовательно, ставит на твердую основу изучение синонимии. В противном случае утверждения о большем или меньшем «сходстве значений», а вместе с ними и утверждения о синонимии слов становятся, строго говоря, беспредметными.

Нам остается рассмотреть условия, которым должна удовлетворять структура толкуемого выражения. Прежде чем их сформулировать, разберем тот материал, который вынуждает нас вообще иметь с ними дело. Во всех толковых словарях русского языка *репутация* определяется через *мнение*; ср. *репутация* = «создавшееся общее мнение о достоинствах и недостатках кого-чего-л.». Эта формулировка не вполне правильна, так как она трактует репутацию как разновидность мнения. В действительности *репутация* и *мнение* обнаруживают интересное залоговое различие, сводимое к различию между глагольными формами (или глаголами) *считаться* и *считать*: *NN считается у них хорошим* = *NN имеет у них хорошую репутацию*, но *Они считают NN хорошим* = *Они имеют об NN хорошее мнение*. Следовательно, *репутация* и *мнение* — конверсивы: *репутация А у Х-ов* = *мнение Х-ов об А*. В этом, как и во многих других случаях конверсивности (*давать* и *получать*, *быть больше* и *быть меньше* и т. д.), в принципе нельзя добиться того, чтобы конверсивам были поставлены в соответствие разные толкования. В силу семантической неравноправности конверсивов в естественном языке на оба слова распространяется то толкование, которое приписано исходному слову, т. е. слову, обозначающему «прямое» отношение. Тем не менее, поскольку конверсивы — не синонимы, различие между теми и другими должно быть как-то фиксировано. Так как в тексте толкований оно не может быть выражено, остается только одно — попытаться выразить его через какое-нибудь различие в структуре толкуемых единиц. Вернемся к нашему примеру. Слова *мнение* и *репутация* синтаксически двухвалентны; различие между ними состоит в том, что первая валентность слова *мнение* — субъектная (ср. *мнение Х-ов*), а вторая — объектная (ср. *мнение об А*), в то время как у слова *репутация* первая валентность — объектная (ср. *репутация А* = «то, что об А думают»), а вторая — субъектная (ср. *репутация у Х-ов* = «то, что Х-ы считают») ⁷. Из рассмотрения этого примера следует тот вывод, что предварительным шагом к установлению синонимии должно быть не только сравнение формальных толкований слов, но и фиксация и сравнение их валентностных структур. Два слова,

⁷ Валентности нумеруются в порядке убывания их обязательности.

имеющие одно и то же толкование, не являются, тем не менее, синонимами, если их валентностные структуры различны (отличаются номерами одноименных валентностей).

Итак, мы рассмотрели условия, которым должны удовлетворять толкования, язык толкований и толкуемые выражения, чтобы синонимические отношения между словами могли стать предметом строгого исследования.

Если рассматривать лексические синонимы в рамках теории равнозначных языковых преобразований (а мы преследуем именно эту цель), то господствующие представления потребуют еще одного уточнения. Выше мы сказали, что в большинстве определений лексических синонимов упор делается не на их общие семантические свойства, а на различия между ними. Между тем, в равнозначных преобразованиях могут участвовать лишь такие лексические синонимы, которые имеют в точности совпадающее значение. Поэтому в обширном классе слов и (семантически неразложимых) фразеологических единиц, обычно называемых синонимами, необходимо выделить более или менее узкий подкласс, элементы которого могут иметь совершенно одинаковые толкования. Их-то мы и будем называть лексическими синонимами в узком смысле слова, в отличие от квазисинонимов (идеографических синонимов, по терминологии В. В. Виноградова), обнаруживающих существенное, но не полное совпадение значения.

Итак, для признания двух слов (или фразеологических единиц) *A* и *B* лексическими синонимами необходимо и достаточно, 1) чтобы они имели полностью совпадающее толкование, т. е. переводились в одно и то же выражение семантического языка, и 2) чтобы они имели одинаковое число синтаксических валентностей, причем таких, что валентности с одним и тем же номером имеют одно и то же содержание.

Заметим, что не требуется ни совпадения синтаксических конструкций, в которых употребляются *A* и *B*, ни совпадения частей речи, к которым они принадлежат. Глаголы *находиться* (*под влиянием*), *подвергаться* (*влиянию*), *испытывать* (*влияние*) являются синонимами, несмотря на то, что они управляют разными предложно-падежными формами существительных. С другой стороны, слова *стбит* (*ему войти*) и *как только* (*он входит*) — тоже синонимы, хотя первое из них — глагол, а второе союз; ср. также *только* (частица) и *один* (прилагательное) в предложениях типа *Мы обязаны только одному* *ему*.

Существует и очень широко распространено мнение, что «точных» или «абсолютных» синонимов в естественных языках нет. Неопределенность содержания этих терминов не дает возможности судить о том, насколько верно приведенное суждение. Можно, однако, утверждать, что если понимать точные синонимы в определенном выше смысле, в естественных языках их не так уж мало; действительно редка лишь синонимия, упоминаемая ниже в пункте (1). Точными синонимами могут быть:

(1) Исконные разнокоренные слова в их основных неэкспрессивных значениях, ср. *кидать* — *бросать*, *гасить* — *тушить*, *глядеть* — *смотреть*, *выворачивать* — *выкручивать*, *торопиться* — *спешить*, *безумие* — *сумасшествие*, *противник* — *неприятель*, *битва* — *сражение*, *громадный* — *огромный*, *беззаботный* — *беспечный*, *быстрый* — *скорый*, *езде* — *всюду*, *впору* — *как раз*, *галопом* — *вскачь*, *едва* — *с трудом* — *насилу* — *еле*.

(2) Заимствованное и исконное слова, ср. *абсурд* — *нелепость*, *автономия* — *самоуправление*, *аналогия* — *сходство*, *аплодировать* — *рукоплескать*, *аргумент* — *довод*, *информация* — *сведения*, *компенсировать* — *возмещать*, *концентрировать* — *сосредоточивать*, *лингвистика* — *язы-*

кознание, негативный — отрицательный, транжирить — мотать, фундамент — основание.

(3) Однокоренные слова, ср. *впихивать* — *запихивать*, *всовывать* — *засовывать*, *бросать* — *сбрасывать* (бомбы), *рвать* — *взрывать* (мост), *менять* — *разменивать* (деньги), *закалка* — *закаливание*, *основа* — *основание*, *болезнь* — *заболевание*, *решительный* — *решающий* (бой), *похожий* — *схожий* — *схожим*, *целиком* — *всецело*, *всюду* — *повсюду*, *во-время* — *своевременно*, *видимо* — *по-видимому*⁸.

(4) Слово и фразеологическая единица или две фразеологических единицы, ср. *бездельничать* — *бить баклуши*, *побеждать* — *брать верх*, *вероятно* — *надо думать*, *загнать в угол* — *припереть к стене*, *быть на вершок от (гибели)* — *быть на краю (гибели)*, *во всю ивановскую* — *благим матом*, *в мгновение ока* — *глазом не успел моргнуть* (как).

(5) Слова в экспрессивных значениях, ср. *вкатить [влепить] (выговор)*, *валандаться* — *канителиться*, *пустомеля* — *пустозвон* — *пустобрех*, *баракло* — *монашки*, *азинья* — *белиберда* — *галиматья* — *бред*, *безголовый* — *безмозглый*, *бездна (дел)* — *беда сколько (дел)*⁹.

(6) Слова в переносных значениях, ср. *мчаться* — *нестись* — *лететь*, *выходить* — *получаться* (*Из него выйдет [получится] хороший спринтер*), *идти* — *течь* (о крови из раны), *выпадать* — *вылезать* (о шерсти), *бить* — *стрелять* (по окопам), *входить* — *влезать* (в чехол), *маска* — *личина* (равнодушия), *душа* — *сердце*.

(7) Слова в так называемых фразеологически связанных значениях, ср. *Создается [складывается] (впечатление)*, (*Ветер* *стих [улегся]*), (*Дорога* *берет [забирает] влево*), (*Вино* *ударяет [бросается] в голову*, *впадать [приходить] (в отчаяние)*), *ставить [брать] что-л. (под контроль)*, *безутешное [безысходное] (горе)*, *дословный [буквальный] (перевод)*, *несметные [несчетные] (полчища)*, *заклятый [злейший] (враг)*, *бесконечная [безмерная] (благодарность)*¹⁰.

Во всех перечисленных случаях имеет место точная лексическая синонимия, т. е. полное совпадение формальных толкований и полная идентичность синтаксических валентностей соответствующих единиц¹¹. Тем

⁸ Обилие однокоренных синонимов, особенно среди глаголов, составляет, по-видимому, типологическую особенность синонимии в русском языке; см.: А. П. Егеньева, О некоторых особенностях лексической синонимии русского языка, «Лексическая синонимия...», стр. 67.

⁹ Еще Ж. Вандриес обратил внимание на легкость, с которой устанавливаются синонимические отношения в сфере «аффективной» лексики (Ж. В а н д р и е с, Язык. Лингвистическое введение в историю, М., 1937, стр. 149 и сл.). См. аналогичные наблюдения в работах А. Б. Шапиро (указ. соч., стр. 75 и сл.), Е. А. Иванниковой («Очерки...», стр. 93), Е. Н. Толкиной («Очерки...», стр. 103), К. С. Горбачевич («Лексическая синонимия...», стр. 77) и др.

¹⁰ Лексические синонимы большинства перечисленных здесь разрядов (которые, разумеется, ни в какой мере не составляют научной классификации) стали предметом детального лингвистического анализа лишь в последние 10—15 лет. Неудивительно поэтому, что даже в таком полном и тщательно обработанном собрании синонимов, каким является словарь З. Е. Александровой (см. примеч. 1) многие из них отсутствуют (например, *грань* — *различие* (ср. *Стираются грани (различия) между устным и физическим трудом*), *выпадать* — *выдаваться* (о деньке), *падать* — *ложиться* (об ответственности), *брать* — *поворачивать (влево; о дороге)*, *испытывать (влияние)* — *находиться (под влиянием)*, *быть* — *стоять (у власти)*, *выходить (из-под власти)* — *освобождаться (от власти)*, *запасаться* — *вооружаться (терпением)*, *неопробужимый* — *неотразимый (довод)*, *впору* — *по мерке, едва — стобит — чуть и т. д.*).

¹¹ В литературе по поводу таких случаев нет единомыслия. Слова *тушить* — *гасить*, *кидать* — *бросать* признаются синонимами; слова *забастовка* — *стачка*, *лингвистика* — *языковедение* называются иногда синонимами, а иногда — дублетами; слова *закалка* — *закаливание*, *всюду* — *повсюду* квалифицируются либо как синонимы, либо как варианты слова. Эта дифференциация представляется нам чисто словесной; фактически же она лишает ясного содержания не только термин «синоним», но и термины «дублет» и «вариант».

не менее, даже в такой ситуации между синонимами могут обнаруживаться интересные различия, а именно различия в семантической, лексической и синтаксической сочетаемости.

III. Типы различий между лексическими синонимами

Подробному рассмотрению различий в семантической, лексической и синтаксической сочетаемости синонимов мы предположим несколько пояснений, касающихся самих этих понятий.

Под семантической сочетаемостью понимается способность данного слова синтаксически связываться с любым словом, в значение которого входит определенный семантический признак. Так, подлежащим при выражении *быть виновником* (= «вызывать») может быть любое существительное со значением одушевленности (ср. *Он был виновником всех ее бед*, но не **Стол* [или **Этот случай*] *был виновником всех ее бед*, в отличие от синонимичного выражения *быть причиной*, которое допускает такие сочетания).

Под лексической сочетаемостью понимается способность данного слова синтаксически связываться со словами из ограниченного списка. При этом несущественно, есть ли у них общие семантические признаки или нет. Слово *первый* в значении «главный в некоторой иерархии» идиоматично сочетается с ограниченным кругом существительных, значение которых необобщимо (ср. *первая скрипка*, *первый секретарь* [*заместитель*]). В противоположность этому, значения существительных, с которыми сочетается его синоним *верховный* (ср. *верховный главнокомандующий* [*совет*, *суд*], *верховная власть*), допускают обобщение: в них можно усмотреть общий семантический признак «власть». Тем не менее и здесь имеет место лексическая, а не семантическая сочетаемость: прилагательное *верховный* не сочетается с некоторыми существительными, имеющими признак «власть» (ср. неправильность словосочетания **верховный командир*, и, следовательно, существительные, с которыми оно может соединяться, должны быть заданы списком (примеры из работы, названной в примеч. 6)).

Под синтаксической сочетаемостью понимается способность данного слова подчинять словоформы некоторых синтаксических классов и подчиняться словоформам некоторых синтаксических классов. Синтаксический класс — это класс словоформ определенной части речи, взятых в одной и той же грамматической форме, например глагол совершенного вида 3-го лица ед. числа настоящего времени индикатива, существительное в твор. падеже ед. числа без предлога и т. д. В число классов словоформ условно включается и класс S, т. е. класс предложений. Как и в двух предыдущих случаях, синтаксическая сочетаемость синонимов может быть различной; ср. *косить* (*глаза на кого-л.*) и *коситься* (*глазами на кого-л.*), *тянуть* (*руку к звонку*) и *тянуться* (*рукой к звонку*) и другие глаголы этой группы.

Введя понятие семантической сочетаемости, мы неизбежно должны поставить вопрос о том, в каких случаях мы имеем дело с особенностью сочетаемости, и в каких — с особенностью значения слова. В большинстве случаев в пользу того или иного решения можно привести или экспериментальные данные, или логические доводы, эксплуатирующие, в основном, понятия простоты и полноты описания.

Глаголы *появляться* и *показываться* представляются на первый взгляд синонимичными, ср. *Среди туч появилась* [*показалась*] *луна*. Однако они не всегда могут фигурировать в одинаковых контекстах. Фразы типа *Мы появились на дороге в самый неподходящий момент* возможны, хотя

и не безупречны, а фразы типа **Мы показали на дороге в самый неподходящий момент* совершенно исключены. Нельзя объяснить этот запрет ссылкой на то, что глагол *показываться* не сочетается с местоимением 1-го лица в роли подлежащего: фразы типа *Они сказали, что мы показали на дороге в самый неподходящий момент* вполне правильны, хотя подлежащим при *показались* является местоимение 1-го лица, а фразы типа **Он сказал, что он показался на дороге в самый неподходящий момент* (при условии, что *он* в главном и придаточном предложении относится к одному и тому же лицу) недопустимы, хотя *показался* сочетается здесь с местоимением 3-го лица в роли подлежащего. Мы вынуждены сделать вывод, что перед нами — не особенность сочетаемости, а особенность значения глагола: *показываться* «становится видимым; субъект действия и субъект речи не совпадают».

Другой пример — прилагательные *вместительный* и *емкий*. Малый академический словарь (в четырех томах) определяет первое из них как «способный вместить большое количество к о г о - ч е г о - л.», а второе — как «способный вместить большое количество ч е г о - л.». Те же факты можно описывать иначе. Если, например, указать, что *емкий* принимает в качестве синтаксического «хозяина» только название вместилища для вещи, то можно будет исключить из словарных определений признаки «кого-чего-л.» (в толковании *вместительный*) и «чего-л.» (в толковании *емкий*). Тогда толкования этих прилагательных полностью совпадут, различаться они будут только семантической сочетаемостью, а тот факт, что *емкий* не может употребляться, по крайней мере, в современном русском, для описания просторной комнаты, камеры, каюты и т. д., будет следовать из толкований этих и других существительных, обозначающих вместилища. Второе решение следует предпочесть, потому что оно, не будучи более сложным, позволяет непринужденно объяснить большее число фактов (в частности, факт равнозначности словосочетаний *вместительный сосуд* [бак, чайник] — *емкий сосуд* [бак, чайник]).

Можно выделить два типа ограничений на (семантическую и лексическую) сочетаемость слова: рекомендации и предписания. *Рекомендация* — это указание об обычной сочетаемости слова, непосредственно вытекающей из толкования. *Ушибаться*, например, типично сочетается с названием физического предмета в качестве дополнения, *волна* — с названием водного резервуара в качестве определения (*морская волна, волна реки*), а *забубенный* — с названием лица или его параметра в качестве определяемого (*забубенный человек* [вид]). Рекомендация может не выполняться; тогда получается та или иная стилистическая фигура, чаще всего, смысловая ошибка, называемая метафорой, ср. *ушибаться об этот запах, волна судьбы, забубенная атмосфера*. *Предписание* — это указание о том, как данное слово должно сочетаться (не может не сочетаться) по законам данного языка. Иногда оно имеет вид запрета, фиксирующего типы сочетаний, которые по законам данного языка исключены, хотя и не противоречат толкованиям соответствующих слов. Слово *ухудшаться*, например, должно быть снабжено пометой о том, что ему запрещено сочетаться с названиями физических предметов (включая названия лиц) в качестве подлежащего (невозможно **Машина ухудшается, *Петр ухудшается*), хотя этот запрет никак не вытекает из значения *ухудшаться* «становиться хуже», ср. *Машина становится хуже, Петр становится хуже*. Предписание, в отличие от рекомендации, не может быть нарушено, так как это неизбежно порождает языковую (не смысловую!) ошибку. *Он ушибся об этот запах* — правильное предложение, потому что воплощенную в нем мысль нельзя выразить принципиально иным способом; напротив, предложение **Машина ухудшается* недопустимо, по-

тому что для выражения данной мысли существует узаконенный языком альтернативный способ ¹².

В дальнейшем мы будем иметь дело исключительно с предписаниями (запретами).

Помимо типов сочетаемости, лексические синонимы могут отличаться друг от друга по степени совпадения сочетаемости. В каждом из трех случаев возможно 1) полное совпадение сочетаемости, 2) включение сочетаемости, 3) пересечение сочетаемости и 4) полное несовпадение сочетаемости. Всего имеется, таким образом, $3 \times 4 = 12$ типов элементарных различий между лексическими синонимами. Рассмотрим их более подробно.

1. Полное совпадение сочетаемости

Полное совпадение семантической и синтаксической сочетаемости обычно имеет место в случаях (1)–(4) (см. стр. 79–80) и может быть иллюстрировано парами *кидать*—*бросать*, *аплодировать*—*рукоплескать*, *менять*—*разменивать*, *загнать в угол*—*припереть к стене*, *безумие*—*сумасшествие*, *аргумент*—*довод*, *позитивный*—*положительный*, *сходный*—*схожий*, *езде*—*всюду*, *едва*—*с трудом*. Полное совпадение лексической сочетаемости, характеризующее главным образом синонимию фразеологически связанных значений [пункт (7) на стр. 80], — явление несравненно более редкое, так как правила лексической сочетаемости, во всяком случае, при синхронном описании языка в значительной мере немотивированы. Одним из немногих примеров могут служить прилагательные *беспардонный*, *беззащитный*, *бессовестный*, *наглый*, которые в значении высокой степени сочетаются с существительными *ложь*, *обман*, *вранье* и соответствующими именами деятеля (*лжец*, *обманщик*, *врун*).

Что касается включения сочетаемости и, в особенности, пересечения и полного несовпадения сочетаемости, то они обычно встречаются в случае синонимии типа (5) — (7) (см. стр. 80).

2. Включение сочетаемости

1) **Семантическая сочетаемость.** В паре синонимов *уменьшается*—*сокращается* («становится меньше») первый глагол принимается в качестве подлежащего а) названия состояний, которые можно испытывать, ср. *Боль* [*голод*, *желание*] *уменьшается*; б) названия физических предметов, ср. *Каравай* [*яблоко*] *уменьшается*; в) названия измеримых параметров вещей, ср. *Расстояние* [*доход*, *объем*] *уменьшается*. В отличие от этого глагол *сокращается* способен принимать в качестве подлежащего только существительные последней категории, ср. *Расстояние* [*доход*, *объем*] *сокращается*, но не **Боль* [*каравай*] *сокращается*. Глаголы *браться (за X)*—*приниматься (за X)* со значением «начинать производить типичное действие (с X-ом)» принимают в качестве дополнения а) название действия, ср. *браться*[*приниматься*] *за работу* [*за чтение*] и б) название типичного объекта действия, ср. *браться* [*приниматься*] *за книгу*. Однако только первый синоним способен сочетаться с названием типичного инструмента действия (*браться за весла* [*за иглу*, *за перо*, *за оружие*]), но не **приниматься за весла* [*за иглу*, *за перо*, *за оружие*]). *Желанным* может быть

¹² Изложенные здесь соображения принципиально отличаются от тех представлений об «ограничениях на сочетаемость» (selectional restrictions), которые были развиты в рамках трансформационной порождающей грамматики. Выделение двух типов ограничений позволяет не только исключить неправильный языковой материал, но и смоделировать а) стандартное, штампованное владение языком, б) индивидуальное его использование со стилистическими эффектами.

и лицо и результат действия, а желательным — только последнее, ср. *Слова эти не произвели желанного/желательного/эффекта [результата]*, но только желанный гость. *Арендовать* можно и помещение (например, *квартиру, дом*) и землю (например, *земельный участок, лес с пашней*), а *снимать* — только помещение. *Едва*, как только сочетаются с глаголами и совершенного и несовершенного вида (т. е. с семантическими признаками перфективности и неперфективности), а их синоним *стóбит* — только с глаголами совершенного вида (т. е. только с признаком перфективности): *Едва [как только] он отошел, костер погас = Стоило ему отойти, как костер погас*, но только *Едва/как только/он отходил, костер гас* (нельзя **Стоило ему отходить, как костер гас*).

2) Лексическая сочетаемость. Существительные *основа* и *основание* в значении «то, на чем нечто основывается», способны выступать в качестве зависимых при глаголах *быть, служить, образовывать, составлять, лежать, иметь, класть*, ср. *быть [служить] основой [основанием] (гипотезы), образовывать [составлять] основу [основание] (гипотезы), иметь в основе [в основании] (факты), лежать в основе [в основании] (гипотезы), класть (факты) в основу [в основание] (гипотезы)*. Лексическая сочетаемость их синонимов *база* и *фундамент* гораздо уже: они могут выступать в качестве зависимых только при первых четырех глаголах; нельзя **лежать в фундаменте [в базе] (гипотезы), *иметь (факты) в фундаменте [в базе], *класть (факты) в фундаменте [в базу] (гипотезы)*. Сочетаемость выражения *причинять боль* лексически неограничена, а глагол *резать* в том же значении сочетается только с существительным *глаза*. Среди синонимов *враждебно, волком* и *в штыки* первый обладает самой широкой сочетаемостью. *Враждебно* можно и *смотреть* и *встречать*; в отличие от этого *волком* можно только *смотреть*, а *в штыки* — только *встречать*.

3) Синтаксическая сочетаемость. В ряду синонимов *как, будто, словно, точно* в сравнительно-уподобительном значении¹³ самой широкой синтаксической сочетаемостью обладает первый союз. Он присоединяет к предшествующему слову а) именную группу, ср. *твердый, как сталь; стоит, как изваяние; людей, как в муравейнике; двигалась, как во сне*. Эту особенность союз *как* делит с остальными синонимами, ср. *твердый, словно [будто, точно] сталь; стоит, словно [будто, точно] изваяние; людей, словно [будто, точно] в муравейнике; двигалась, словно [будто, точно] во сне*; б) придаточное предложение, ср. *шел, как ходят солдаты; стоял, как стоят обреченные*. В этой синтаксической конструкции союзы *словно, будто, точно* не употребляются (невозможно **шел, словно [будто точно] ходят солдаты*). Аналогичные различия обнаруживаются в ряду синонимов *только, исключительно, единственно* в ограничительном значении (А ест только В «А ест В; не существует С, отличного от В, которое бы А ел»). Все три синонима синтаксически связываются с существительными, ср. *Мы обязаны только [единственно, исключительно] ему, Он держался только [единственно, исключительно] силой духа*. Однако лишь первый из них способен синтаксически связываться с глаголами и наречиями: *Он только подумал об этом (но ничего не сказал), Я пойду только туда* (невозможно **Он единственно [исключительно] подумал об этом, *Я пойду единственно [исключительно] туда*, хотя второй запрет, по-видимому, менее категоричен). Глаголы *прекращать* и *переставать* могут подчинять инфинитив. Хотя для первого из них эта конструкция несколько архаична, словари Д. Н. Ушакова и Большой академический (в 17 томах) при-

¹³ Здесь не рассматривается сравнительно-предположительное значение, свойственное только союзам *будто, как будто, точно, словно*, ср. *Бежали с такой скоростью, (как) будто [точно, словно] за ними гнались; слышал так хорошо, словно стоял рядом* и т. д.

водят ее без всяких помет; ср. *прекратитъ* /*перестать*/ *заниматься*, *прекратите* /*перестаньте*/ *шуметь*. Глагол *прекращать*, кроме того, способен подчинять существительное, а с его синонимом эта конструкция недопустима, ср. *прекрацать* (но не **переставать*) *сопротивление* [стрельбу, переписку]. Слово *автор* в значении «тот, кто создал нечто» употребляется как с несогласованным определением, так и абсолютно: *автор картины* [музыки, книги, теории], *заключить договор с автором*. Его синоним *создатель* в не ироническом контексте абсолютно не употребляется: *создатель картины* [музыки, книги, теории], но не **заключить договор с создателем*. Особого употребления заслуживает тот случай, когда один из синонимов закрепляется в отрицательной, вопросительной, восклицательной или иной модальной конструкции, в то время как другой синоним имеет большую синтаксическую свободу. Таковы пары синонимов *один* — *единый*, *умный* — *далекый*, *понимать* — *смыслить*, *появляться* — *браться* («начинать быть у кого-л.»), *понимать* — *брать в толк*, ср. *Ни одного /ни единого/ пятнышка нет*, *Парень не очень умный /далекий/*, *Много ты понимаешь/смыслишь/ в этом!* *Что ты в этом понимаешь /смыслишь/?*, *Ничего ты в этом не понимаешь /не смыслишь/*, *Откуда появились /взялись/ у него деньги?*, *Он никак не мог понять /взять в толк/*, *что от него требуется* при неправомерности **Единое пятнышко есть* (надо *Одно пятнышко есть*), **Он все смыслит* (надо *Он все понимает*), **У него взялись деньги* (надо *У него появились деньги*) и т. д.

3. Пересечение сочетаемости

1) Семантическая сочетаемость. Глаголы *возрастать* и *увеличиваться* («начинать быть больше») принимают в роли подлежащих существительные, в значение которых входят смыслы «(измеримый) параметр», «душевное состояние» и некоторые другие, ср. *Объем работ [зарботок] возрос /увеличился/*, *Нетерпение [волнение] возросло /увеличилось/*. Однако только первый синоним свободно сочетается с существительными со значением потребности (ср. *Требования [нужды, запросы] возросли* при затруднительности **Требования [нужды, запросы] увеличились*) и только второй — с существительными с родовым значением типа «опухоль» или «организация», ср. *Отек [опухоль, нарыв] увеличивается*, *Компания [государство, группа] увеличивается* (но не **возрастает*). Существительные *создатель* и *автор* в значении «тот, кто создал нечто» равно свободно подчиняют себе названия а) произведений искусства и б) разработанных идей (*создатель /автор/ картины* [музыки, романа], *создатель /автор/ проекта* [теории]). Кроме того, первое из них принимает в качестве дополнения название организации или механизма, ср. *создатель армии* [колхоза, партии, оркестра], *создатель машины* [самолета, приспособления] при невозможности или ненормативности **автор армии* [оркестра], **автор машины* [приспособления]¹⁴. В свою очередь, только второе слово способно подчинять существительные со значением идеи, ср. *автор гипотезы* [замысла, идеи] при невозможности соответствующих сочетаний со словом *создатель*. И наречие *намного* и наречие *очень* в значении высокой степени может завязать от глагола со значением компаративности: *Он намного /очень/ обогнал* [опередил] *меня*, *Он намного /очень/ отстал от меня*. Однако только первое из них сочетается с прилагательным в сравнительной степени (*намного больше* [меньше, красивее]) и только второе — с некомпаративным глаго-

¹⁴ Если считать правильными сочетания типа *автор жатки*, *автор приспособления*, встречающиеся в современной прессе (с нашей точки зрения, они отклоняются от нормы), то сформулированное нами правило пришлось бы уточнить, не меняя его по существу.

лом (*Он очень страдает [старается, любит читать], но не *Он намного страдает [старается, любит читать]*)¹⁵.

2) Лексическая сочетаемость. Глаголы *испытывать, подвергаться и находиться (под)* в значении «быть под действием того, что обозначено зависимым существительным», могут приниматься в качестве дополнения существительные *влияние, давление, действие*; однако только первые два свободно сочетаются со словом *перегрузки* и только последнее — со словом *власть*; ср. *испытывать влияние [давление], подвергаться влиянию [давлению], находиться под влиянием [под давлением]*; *испытывать перегрузки, подвергаться перегрузкам* (при затруднительности **находиться под перегрузками*) и *находиться под властью* (при затруднительности или невозможности **испытывать власть, *подвергаться власти*). Глаголы *впадать и приходиться* в значении «начинать быть в состоянии, указанном зависимым существительным», одинаково свободно сочетаются с существительными *бешенство* и *ярость* (*впадать [приходиться] в бешенство [в ярость]*). Однако только первое из них образует словосочетания *впадать в транс [в забытье]* (нельзя **приходиться в транс [в забытье]*) и только второе — словосочетания *приходиться в восхищение [в изумление]* (нельзя **впадать в восхищение [в изумление]*). Прилагательные *близкий* и *скорый* в значении «такой, который должен начать иметь место через небольшой промежуток времени» равно употребительны в словосочетаниях *близкий [скорый] отъезд [—ая разлука]*; однако первое предпочтительнее в словосочетаниях *близкое будущее, близкая ночь [весна]* (нехорошо **скорое будущее, *скорая ночь [весна]*), а второе — в словосочетаниях *до скорого свидания, в скором времени* (невозможно **до близкого свидания, *в близком времени*). Прилагательные *первый* и *генеральный* в значении «главный в некоторой иерархии» одинаково свободно сочетаются с существительным *секретарь*; однако *заместитель* может быть только *первым*, а *прокурор* — только *генеральным* (невозможно **первый прокурор, *генеральный заместитель*). Прилагательные *всеобщий* и *повальный* в значении «охватывающий всех» сочетаются с существительным *увлечение* (*повальное [всеобщее] увлечение*), но только прилагательное *всеобщий* способно быть идиоматичным определением к слову *выборы* и только прилагательные *повальный* — к словам *обыски, аресты* (невозможно **всеобщие обыски [аресты], *повальные выборы*).

3) Синтаксическая сочетаемость. Этот случай представлен в нашем материале всего одним бесспорным примером — существительными *катастрофа* и *крушение* в значении «несчастный случай на транспорте». Их пассивные синтаксические свойства, т. е. способность выступать в качестве зависимых, идентичны, ср. *приводить к катастрофе [к крушению], Произошла катастрофа [крушение]*. Отличаются они друг от друга своими активными синтаксическими свойствами: (субъектная) валентность слова *катастрофа* выражается только прилагательным, а слова *крушение* — только существительным в родительном падеже; ср. *авиационная [железнодорожная, автомобильная] катастрофа, но не *катастрофа самолета [поезда, автомобиля]*; с другой стороны, *крушение судна [поезда], но не *судовое [железнодорожное] крушение*.

4. Полное несовпадение сочетаемости (дополнительное распределение синонимов)

1) Семантическая сочетаемость. Слова *замужем* и *женат* имеют совпадающее значение («состоящий в браке»), но совершенно различную семантическую сочетаемость, иллюстрировать которую нет необходимости.

¹⁵ В этом случае имеет место и различие в синтаксической сочетаемости.

2) **Лексическая сочетаемость.** Представление о том, что слова могут иметь абсолютно совпадающее значение и при этом совершенно разную лексическую сочетаемость, содержится в понятии «лексического параметра», как оно определено в работах А. К. Жолковского и И. А. Мельчука¹⁶. Примерами могут служить полувспомогательные глаголы *быть* (в восторге) и *питать* (уважение): нельзя **питать восторг* и **быть в уважении*. Аналогичные отношения имеют место в парах *подвергать критике* и *предавать проклятию*, *оказывать влияние* и *производить впечатление*, *косяк рыбы* и *стадо коров*, *ряды (партии)* и *состав (президиума)*, *апогей /зенит/ (славы)* и *верх (блаженства)*, *главный (врач)* и *верховный (главнокомандующий)*, *сплошная (коллективизация)* и *повальные (обыски)* и т. д.

3) **Синтаксическая сочетаемость.** Глагол *начинать* в основном значении управляет либо инфинитивом, либо существительным в винительном падеже. Его синоним *приступать* управляет предложно-падежной формой вида *к чему-л.* (*начинать работать*, *начинать работу*, но *приступать к работе*). Глагол *утрачивать* («переставать иметь») управляет винительным падежом существительного, а его синоним *лишаться* — родительным (*утрачивать влияние*, но *лишаться влияния*); ср. также *умножать (X на Y)* и *перемножать (X и Y)*, *дотрагиваться (до чего-л.)* и *прикасаться (к чему-л.)*, *вступать (в брак)* и *заключать (брак)*, *считать (кого кем)* и *рассматривать (кого как кого)*, *косить (глаза на кого-л.)* и *косяться (глазами на кого-л.)*, *возобладать* и *победить* (*Чувство долга возоблагодало над страхом — Чувство долга победило страх*), *недомогать* и *нездоровиться* (*Он недомогает — Ему нездоровится*), *жалеть* и *жаль* (*Он жалеет меня — Ему жаль меня*), *вряд ли [едва ли]* и *сомнительно* (*Вряд ли [едва ли] он придет — Сомнительно, чтобы он пришел, вопреки (протесту) и несмотря (на протест), как только [едва] (он видит меня) и стбит (ему увидет меня)*).

5. О неэлементарных различиях

Мы рассмотрели элементарные различия между лексическими синонимами. Само собою разумеется, что в данной паре синонимов может быть представлено сразу несколько элементарных различий. Так, в ряду *аналогичный*, *близкий*, *похожий*, *сходный*, *схожий* обнаруживаются, прежде всего, различия и тождества синтаксической сочетаемости: слова *сходный* и *схожий* имеют полностью совпадающую синтаксическую сочетаемость (*сходный [схожий] с кем-чем-л.*); для пары *аналогичный (чему) — близкий (чему, к чему)* имеет место включение синтаксической сочетаемости; во всех остальных случаях имеет место полное несовпадение сочетаемости (*аналогичный чему — похожий на что — сходный с чем*). Кроме того, перечисленные синонимы обнаруживают интересные различия в семантической сочетаемости. *Аналогичными* и *близкими* могут быть только свойства, явления, процессы, но не предметы, ср. *аналогичные [близкие] особенности [черты поведения]*, но не **аналогичные [близкие] студенты [горы, столы]*. Семантическая сочетаемость трех остальных синонимов шире: они могут быть определениями не только к именам явлений (свойств, процессов), но и к именам предметов, ср. *похожие [сходные, схожие] черты поведения, похожие [сходные, схожие] люди [горы]*.

¹⁶ См. работы, упомянутые в примеч. 2. Непосредственное отношение к этой теме имеет все, что написано В. В. Виноградовым о фразеологических сочетаниях и фразеологически связанных значениях (см. например, «Об основных типах фразеологических единиц в русском языке», сб. «А. А. Шахматов», М., 1947; «Основные типы лексических значений слова», ВЯ, 1953, 5). Ср. также соображения Е. А. Иванова и Ковой («Очерки...», «Синонимические отношения между фразеологическими единицами и словами», стр. 89—90).

Нет, однако, нужды особо рассматривать возможные комбинации элементарных различий; они могут быть исчислены на основании определенных типов сочетаемости, приведенных на стр. 81. Легко видеть, что семантическая сочетаемость — частный случай лексической: если слова имеют общий семантический признак, то они в принципе могут быть заданы списком; обратное неверно. Из этого следует, что если налицо различия в семантической сочетаемости синонимов, то (при условии, что речь идет об одной и той же их валентности) бессмысленно говорить о различиях в их лексической сочетаемости; если же имеет место какое-то различие в лексической сочетаемости синонимов, то (при том же условии) невозможно говорить о различиях в их семантической сочетаемости. Остаются комбинации различий в семантической и синтаксической сочетаемости, с одной стороны, и комбинации различий в лексической и синтаксической сочетаемости, с другой. Нетрудно убедиться, что в каждом из этих случаев возможно 16 комбинаций различий: пусть С обозначает «совпадение», В — «включение», П — «пересечение», а Н — «полное несовпадение» сочетаемости; тогда возможные комбинации различий суть СС, СВ, СП, СН, ВС, ВВ, ВП, ВН, ПС, ПВ, ПП, ПН, НС, НВ, НП, НН. Всего, следовательно, между точными лексическими синонимами возможны 32 неэлементарных типа различий.

IV. Некоторые другие вопросы теории лексических синонимов

1. Вопрос о взаимозаменяемости

Из сделанных выше замечаний о типах и степенях сочетаемостных различий между лексическими синонимами следует, что взаимозаменяемость является частым, но не обязательным их свойством. Синонимы взаимозаменяемы в случаях 1, 2 и 3 и не взаимозаменяемы в случае 4 (полное несовпадение сочетаемости). Более точно, для фиксированного типа сочетаемости в первом случае имеет место полная двусторонняя взаимозаменяемость (синонимы *A* и *B* способны заменять друг друга по смыслу в любом контексте); во втором случае имеет место полная заменимость в одну сторону и неполная заменимость в другую (синоним *A*, обладающий более широкой сочетаемостью, чем синоним *B*, способен заменять последний по смыслу в любом контексте; в отличие от этого *B* способен заменять *A* лишь в некоторых контекстах); в третьем случае имеет место неполная двусторонняя взаимозаменяемость (синонимы *A* и *B* способны заменять друг друга по смыслу лишь в некоторых контекстах). Если учесть, что реально в парах синонимов представлены не элементарные различия, а комбинации различий, картина еще более усложнится (см. анализ ряда *аналогичный, близкий, похожий, сходный* в предыдущем разделе)¹⁷.

Итак, взаимозаменяемость не есть обязательное свойство синонимов; с другой стороны, слова и выражения, не являющиеся синонимами, могут быть по смыслу взаимозаменяемы.

Такая возможность возникает для слов *A* и *B* в том случае, когда $A = \text{«}XYZ\text{»}$, $B = \text{«}XY\text{»}$, причем «*Z*» — смысл, нейтрализуемый в контексте *T*. Нейтрализуемыми являются обычно те элементы значения, которые включаются в его состав дизъюнктивно. *Бомбардировать* «сбрасывать бомбы

¹⁷ Имеется в виду лишь смысловая взаимозаменяемость синонимов; поскольку выбор синонима в конкретной ситуации говорения определяется многими другими факторами, помимо семантических, свобода взаимозамен в тексте несколько сокращается. Ср. крайнюю точку зрения Г. О. Винокура на этот вопрос (Г. О. Винокур, Проблема культуры речи, «Русский язык в советской школе», 1929, 5, стр. 85).

или обстреливать из орудий»¹⁸; *бомбить* «сбрасывать бомбы». Если субъектом этих действий является авиация, то возможность реализации значения «обстреливать из орудий» тем самым исключается, и глаголы оказываются взаимозаменяемыми: *Авиация бомбила [бомбардировала] город днем и ночью*. Однако в предложении *Город бомбила авиация и бомбардировала тяжелая артиллерия* налицо смысловое противопоставление глаголов. *Копать* отличается от *рыть* тем, что копают орудием, а роют орудием или органом (нормально *Лиса роет [не *копает!] нору*). Следовательно, условия для взаимозамены возникают в том случае, когда действие производится орудием, ср. *рыть [копать] заступом [лопатой] глубокую яму*. *Улучшаться* «становится лучше», *исправляться* «становится лучше или становится хорошим». Заметим, что в значении первого слова прилагательное входит в сравнительной степени, а в значении второго — и в сравнительной и в положительной (после дизъюнкции). Для того чтобы сформулировать условия взаимозамены и условия семантического противопоставления, достаточно, например, найти наречия, которые избирательно сочетаются либо со сравнительной степенью прилагательного, либо с положительной. Первым свойством обладают наречия типа *заметно*, *значительно* (ср. *заметно [значительно] лучше*), а вторым — наречия типа *довольно*, *вполне* (ср. *довольно [вполне] хороший*). Достаточно, следовательно, присоединить к глаголу *исправляться* наречие типа *заметно*, чтобы смысл, выраженный положительной степенью прилагательного, был нейтрализован, и возникли условия взаимозамены; ср. *Его поведение заметно улучшилось [исправилось]* («... стало заметно лучше») ¹⁹. С другой стороны, присоединение к глаголу *исправляться* наречия типа *вполне* нейтрализует смысл, выраженный сравнительной степенью прилагательного, и возникают условия семантического противопоставления; ср. *Его поведение вполне исправилось* («...стало вполне хорошим») при невозможности **Его поведение вполне улучшилось*.

Принципиально иная возможность для взаимозамены слов, не являющихся синонимами, возникает в тех случаях, когда $A = «XYZ»$, $B = «XY»$, причем обе единицы встречаются в контексте смысла «Z», который присоединяется к A и B конъюнктивно. Тогда $A + Z = «XYZZ»$, что, по правилам снятия тавтологии, дает «XYZ», а $B + Z = «XYZ»$. Рассмотрим уже приводившийся пример — глаголы *показываться* («появляться; субъект действия не совпадает с субъектом речи») и *появляться* («становиться видимым»). В условиях, где соблюден запрет, составляющий вторую (присоединяемую конъюнктивно) часть значения *показываться*, он соединяется и со значением «появляться», передавая вместе с ним то содержание, которое имеет первый глагол: *Они показались [появились] на дороге в самый неподходящий момент*. В условиях, где этот запрет не соблюден, употребляется только глагол *появляться* (см. стр. 82).

2. Вопрос о квазисинонимах и оттенках значения

Квазисинонимы — это слова, толкования которых имеют большую общую часть, но не совпадают полностью. В предшествующем параграфе мы уже имели с ними дело. Рассмотрим еще несколько примеров.

Добивается X-а «преодолевать препятствия для получения X-а», *домогаться X-а* «добиваться X-а, не имея на него права». *Давить* «прила-

¹⁸ Подчеркнем, что это — не два разных значения глагола *бомбардировать*, а одно; ср. *Город бомбардировали с воздуха и с моря*. Для многозначности характерна не включительная, а исключительная дизъюнкция значений (либо — либо).

¹⁹ Аналогичные условия возникают в несовершенном длительном: *Его поведение улучшается (исправляется) все больше и больше*.

гать к участку поверхности предмета силу, изменяющую его положение или форму; активная сила направлена с одной стороны»; *жать* «прилагать к участку поверхности предмета силу, изменяющую его положение или форму»; активная сила направлена с разных сторон»; ср. *давить на пуговку звонка, Торосы давят на корму, но жать арбуз, жать раскаленный кусок металла. Отрывать* «отделять рывком или рывками» (*отрывать листок календаря*); *отдирать* «отрывать, преодолевая большое сопротивление материала» (*отдирать обои*). *Дорога* «физический предмет, по которому ходят или ездят»; *путь* «то, по чему идут или едут» (не обязательно физический предмет). *Жадный (человек)* «(человек), сильно желающий приобрести X, которого у него нет и который не является для него необходимым» (\approx желающий захватить чужое); *скупой (человек)* «(человек), сильно не желающий утратить X, который у него есть и который не является для него необходимым» (\approx не желающий потерять свое).

Различия в степени того или иного признака — это тоже различия в значении; следовательно, такие ряды, как *рукой подать* — *рядом* — *близко* — *недалеко*, *далековато* — *далеко* — *у черта на куличках* — *на краю земли* и даже ряды *отвратительный* — *ужасный* — *из рук вон плохой* — *никуда не годный* — *никудышный* — *плохой* — *скверный* — *низкого качества* — *неважный* — *невысокого качества*, *хороший* — *высокого качества* — *отличный* — *превосходный* — *экстра класс* состоят не из синонимов, а из квазисинонимов.

Квазисинонимичны и многие так называемые стилистические синонимы. *Чело* — не просто «лоб», а «красивый лоб»; прыщавый или низкий лоб в непроницательном контексте нельзя назвать *челом*. *Очи* — не просто «глаза», а «красивые глаза» и т. д.²⁰

Все перечисленные слова обычно рассматриваются как синонимы, отличающиеся друг от друга либо оттенками значения, либо стилистической окраской, либо тем и другим вместе. Примеры типа *чело* — *лоб* дают основание предположить, что различная стилистическая окраска, во всяком случае, многие ее типы, порождает семантические различия, вполне подобные тем, которые обычно называются различиями в оттенках значения. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть понятие оттенка значения.

Мы уже говорили о том, что строго это понятие не определено. Попытаемся все же выяснить, что обычно имеют в виду, когда его используют.

Как видно из разобранных в данном параграфе примеров, под оттенками значения в большинстве случаев понимаются несовпадающие части сходных значений. Но тогда различие в оттенках значения — это различие в значении, и понятие оттенка оказывается излишним.

Чтобы предложить второй экспликат этого понятия, рассмотрим следующий пример. По свидетельству А. П. Евгеньевой, «для глагола *гаснуть* и его производных наиболее важным является указание на прекращение с в е ч е н и я, тогда как для *тухнуть* и его производных существенно также и прекращение г о р е н и я...»²¹. Таково в е р о я т н о е, но не обязательное различие в употреблении данных глаголов. Вполне правильны и предложения типа *Пламя погасло*, и предложения типа *Лампа потухла*. При этом указать отличительные признаки контекстов,

²⁰ Изучать квазисинонимы и составлять соответствующие словари необходимо (весьма вероятно, что, за исключением случаев полного совпадения сочетаемости, квазисинонимы обнаружат те же типы сочетаемых различий, что и точные синонимы). Целесообразно, однако, отличать их от синонимов в собственном смысле слова и выделять среди них те, которые допускают нейтрализацию.

²¹ А. П. Евгеньева, О некоторых особенностях лексической синонимии усского языка, сб. «Лексическая синонимия», стр. 79.

в которых реализация указанного А. П. Евгеньевой различия была бы обязательной, невозможно. Данное различие приобретает, таким образом, чисто вероятностный характер. Следовательно, второй экспликат понятия оттенка значения — это смысл, который в любых условиях имеет отличную от единицы вероятность реализации. С такими смыслами можно поступать двояким образом. Во-первых, их можно вовсе не фиксировать. Тогда слова типа *гаснуть* и *тухнуть* будут иметь в точности совпадающие толкования, т. е. одно и то же значение, и для «оттенков значения» места не остается. Во-вторых, они могут быть фиксированы в толковании значений соответствующих слов с указанием о вероятности их реализации: $A = XY$; « Y — с такой-то вероятностью». Но принципиального различия между такими смыслами и смыслами, вероятность реализации которых равна единице, нет. Следовательно, и в этом случае не возникнет необходимости в новом понятии сверх уже имеющегося понятия значения.

Можно предложить еще один экспликат понятия «оттенок значения». Иногда этот термин используется в ситуации, когда имеют место различия в семантической сочетаемости синонимов. Но говорить об оттенках в этом случае — значит представлять факты в мистифицированном виде: ведь здесь слова отличаются друг от друга не своим собственным содержанием (оттенками значения), а значением синтаксически сочетающихся с ними слов.

Итак, все существенные вопросы теории лексических синонимов можно обсуждать и без обращения к понятию оттенка значения. Отказ от его использования не грозит ничем, кроме повышения ясности лингвистических исследований²².

²² Автор благодарит Л. Н. Булатову и М. Я. Гловинскую за ценные критические замечания.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

И. П. РАСПОПОВ

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
О СИНТАКСИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМАТИКЕ

Сфера парадигматики, ограничиваемая до недавнего времени почти исключительно рамками морфологии, за последние десятилетия как в отечественном, так и в зарубежном языкознании приобретает все более широкие контуры, распространяясь на все ярусы языка и составляя, собственно, особый план лингвистического исследования, в котором языковые единицы различных уровней рассматриваются в их соотношении друг с другом как элементы системы, как структурные части целого.

Такой подход к изучению языковых единиц является, несомненно, плодотворным. Однако будучи (за пределами морфологии) в значительной степени пионерским, он пока еще не может считаться вполне обоснованным (в смысле эксплицитации оснований) и нуждается в уточнении ряда исходных понятий и необходимых критериев организации и квалификации материала.

Вполне очевидно, что синтаксические парадигмы должны представлять ряды соотношений («видоизменений») синтаксических (а не каких-либо иных) единиц. Но что это за единицы и по каким линиям могут быть установлены соответствующие парадигматические ряды?

Из теории синтаксиса, признающей объектами своего рассмотрения и соответственно выделяющей две синтаксические единицы — словосочетание и предложение, естественно вытекает, что каждая из названных единиц обладает собственными парадигмами и различие этих единиц заключается как раз в специфике их парадигм¹. С другой стороны, некоторые ученые не без оснований утверждают, что синтаксическими по своей природе должны быть признаны лишь парадигмы предложения, а «парадигмы словосочетаний, очевидно, были бы в строгом смысле не синтаксическими парадигмами, а скорее только комбинациями парадигм морфологических»².

Однако если мы согласимся с последним утверждением, т. е. признаем в качестве синтаксических только парадигмы предложения, этим вопрос еще не будет исчерпан, поскольку и о парадигмах предложения в современной лингвистической литературе высказываются весьма различные мнения.

Согласно одному из этих мнений, парадигматика предложения понимается в широком объеме, с включением сюда «видоизменений» того или

¹ См.: «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966, стр. 136—137.

² П. Адамец, К вопросу о синтаксической парадигматике, «Československá rusistika», XI, 2, 1966, стр. 76.

иною предложения по составу, конструктивному строению, модальному качеству и т. д. Таково, например, построение Д. С. Уорга, указывающего, что каждое предложение, как правило, входит одновременно в несколько парадигматических рядов, и различающего простые линейные парадигмы (в соотношениях типа: *Я писал — Я пишу — Я буду писать*, где меняется лишь модально-временной план, не затрагивая конструктивно-синтаксической формы предложения), простые нелинейные парадигмы (в соотношениях типа: *Он профессор — Он был профессором — Он будет профессором*, где смена модально-временного плана частично меняет и конструктивно-синтаксическую форму предложения) и комплексные парадигмы, представляющие определенные преобразования синтаксической модели (схемы конструктивного строения) предложения³.

В широком объеме парадигматика предложения понимается и П. Адамцем, который в трех парадигматических рядах различает трансформации, модификации и вариации исходного (так называемого ядерного) предложения⁴.

Согласно другому мнению, парадигму предложения составляет, собственно, только один ряд его видоизменений, связанных с выражением «категорий объективной модальности и синтаксического времени», т. е. ряд типа: *брат пишет (брат учитель) — брат писал (брат был учитель) — брат будет писать (брат будет учитель) — брат писал бы (брат был бы учитель) — пиши бы брат (будь бы брат учитель)* и т. д.⁵.

Какое же из этих мнений следует считать справедливым? Что нужно понимать вообще под видоизменением (или рядом видоизменений) предложения, признаваемым его синтаксической парадигмой?

Однозначно ответить на эти вопросы не составляло бы труда, если бы мы располагали достаточно строгим (чтобы не смешивать его с другими единицами языка) и достаточно емким (чтобы охватить все многообразие различных синтаксических образований, используемых в соответствующей функции в практике речевого общения) определением предложения. К сожалению, такого определения мы еще не имеем, и здесь будут высказаны лишь некоторые общие замечания о возможном подходе к содержательной характеристике предложения в той мере, в какой это необходимо для уточнения понятия синтаксических парадигм вообще и парадигм предложения в частности.

Представляется, что предложение как единица особого, так называемого коммуникативно-синтаксического уровня языковой системы с необходимостью характеризуется по меньшей мере следующими конститутивными свойствами: 1) оно имеет определенное целевое назначение и обладает определенным модальным качеством, т. е. выражает декларативное (повествовательное), вопросительное или побудительное сообщение, оцениваемое говорящим в его отношении к действительности; 2) оно развертывается то или иное сообщение в определенной коммуникативной перспективе, т. е. содержит в себе (и дифференцированно выражает) указание на то, о чем и что именно сообщается или запрашивается, к чему и кто именно побуждается и т. д.

Указанные два признака (к ним, может быть, следовало бы добавить еще два: момент адресованности высказываемого сообщения и его эмоционально-экспрессивную окраску), несомненно, обязательны для каж-

³ D. S. W o r t h, The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages, «American contributions to the V International congress of slavists», The Hague, 1963.

⁴ П. А д а м ц е в, указ. соч., стр. 78—79.

⁵ «Основы построения описательной грамматики...», стр. 135.

дого предложения. При этом нужно также иметь в виду, что любое предложение строится на определенной конструктивно-синтаксической базе, представляющей собой организованный по грамматическим правилам замкнутый ряд связанных друг с другом словесных форм (или в известных случаях — отдельное слово).

Последнее обстоятельство, по общему мнению, наиболее существенно для синтаксиса, поскольку синтаксис главным образом и занимается изучением связей слов в предложении (независимо от того, пользуются ли для этих целей промежуточным понятием словосочетания или обходятся без него). Однако признавая конструктивно-синтаксическую базу предложения его необходимой составной частью, все же нельзя считать правомерным отождествление этой базы с самим предложением, так как отмеченные выше специфические конститутивные признаки предложения (как единицы коммуникативно-синтаксического уровня непосредственно не связаны с его конструктивной базой, а, так сказать, надстраиваются над нею).

Отсюда следует, что, выявляя парадигмы предложения, нужно прежде всего дифференцированно подходить к тем «видоизменениям», которые затрагивают, с одной стороны, конструктивно-синтаксическую базу предложения (конструктивно-синтаксический аспект его структуры) и, с другой стороны, предложение как таковое (коммуникативно-синтаксический аспект его структуры). Иными словами, необходимо различать два класса синтаксических парадигм: парадигмы конструктивного синтаксиса и парадигмы коммуникативного синтаксиса.

Вполне понятно, что выявление каждой из синтаксических парадигм того или иного класса должно осуществляться на определенном общем основании (иначе было бы вообще некорректно говорить о каких-то видоизменениях предложения или его конструктивной базы). Такие общие основания для парадигм коммуникативного синтаксиса уже намечены выше: одним из них может быть целевое назначение и модальное качество выражаемого в предложении сообщения, другим — его коммуникативная перспектива.

Несколько сложнее обстоит дело с установлением соответствующих оснований для парадигм конструктивного синтаксиса. Какие свойства конструктивной базы предложения при известном многообразии по составу и строению синтаксических конструкций, используемых в качестве этой базы, являются общими, обязательными и существенными для нее? Исчерпывающего ответа на этот вопрос я дать не берусь и в данном случае ограничиваю свою задачу поиском указанных свойств лишь в отношении конструктивной базы предложений так называемого глагольного строя на материале современного русского языка.

В лингвистической литературе стало уже общим местом требование, абстрагируясь от конкретного многообразия реальных предложений, найти некоторое конечное число исходных инвариантных схем их конструктивного строения. Фактически, однако, при установлении подобных схем абстракция обычно не идет дальше отвлечения (полного или частичного) от конкретного лексического наполнения соответствующих синтаксических конструкций и вычленения в их составе так называемой структурной (или предикативной) основы, которая и признается схемой (формулой, моделью или образцом) конструктивного строения предложений того или иного типа. Причем различные авторы включают в структурную основу предложения либо только главные члены (подлежащее и сказуемое), либо, наряду с ними, еще так называемые комплементы (в нашем случае — второстепенные члены, которые непосредственно вытекают из валентно-

сти глагольного предиката)⁶. Последнее решение, по-видимому, более реалистично, так как оно имеет в виду условие необходимой завершенности конструктивной базы предложения, которое в ряде случаев не обеспечивается сочетанием одних лишь главных членов⁷. Но и это решение само по себе еще не подводит нас к поставленной цели.

Думается, что для выявления парадигм конструктивного синтаксиса применительно к предложениям глагольного строя необходимо учитывать не только обязательное наличие в составе конструктивной базы таких предложений глагольного предиката (со всеми его компонентами), но и его решающее влияние на построение конструкции в целом.

Отчасти это влияние учтено в схемах П. Адамца, который указывает, например, на возможность различного выражения при глагольном предикате функций субъекта. Однако глагольный предикат, как известно, влияет и на выражение функций объекта. Поэтому, очевидно, следует выделить объект из числа компонентов и предоставить ему особое место в схемах конструктивного строения предложений рассматриваемой группы. В результате соответствующие схемы в символическом изображении необходимых составных частей конструкции по выражаемым ими функциям предиката (Pd), субъекта (Sb), компонента (Cm) и объекта (Ob)⁸ получают следующий вид: а) по отношению к конструкциям, где функцию (Pd) выполняет непереходный лексически и синтаксически достаточный для завершения конструкции глагол — SbPd (ср. *Он спит — Ему спится*); б) по отношению к конструкциям, где функцию Pd выполняет непереходный или косвенно-переходный синтаксически недостаточный для завершения конструкции глагол — SbPdCm (*Мальчик любит море; Толпа бросилась к набережной*); в) по отношению к конструкциям, где функцию Pd выполняет одновалентный переходный глагол, — SbPdOb (ср. *Архитектор строит дом — Дом строится архитектором*); г) по отношению к конструкциям, где функцию Pd выполняет двухвалентный переходный глагол, — SbPdCmOb (ср. *Иван дает Петру книгу — Книга дается Петру Иваном*).

Предлагаемые инвариантные схемы конструктивного строения предложений с глагольным предикатом, очевидно, допускают дальнейшее обобщение, например, за счет расширения сферы Pd с включением в нее всех компонентов (однако отнюдь не за счет их «отсечения»). Но в любом случае из поля зрения не должен упускаться объект. Нужно иметь в виду, что ценность той или иной схемы (которая есть, конечно, только средство рационального описания фактов языковой действительности⁹) определяется ее объяснительной силой, и с этой точки зрения, в частности для конструкций, использующих в своем составе переходный глагол, трехчленная

⁶ См.: П. Адамец, указ. соч., стр. 76—77. См. также: F. r. D a n e š, *Syntaktický model a syntaktický vzorec*, «Ceskoslovenské přednášky pro V. Mezinárodní sjezd slavistů v Sofii», Praha, 1963.

⁷ Соответствующие примеры см. в ст.: И. П. Распопов, А.-А. Шахматов и актуальные проблемы современного синтаксиса, «Уч. зап. БГУ», 29. Серия филол. наук, 12 (16), Уфа, 1968, стр. 8.

⁸ Внимание здесь сосредотачивается именно на функциях, так как, по справедливому замечанию Т. П. Ломтева, «предметной областью парадигматических отношений является значимость, или выражаемая сторона единиц» [Т. П. Ломтев, Природа синтаксических явлений (К вопросу о предмете синтаксиса), ФН, 1961, 3, стр. 34].

⁹ Это обстоятельство можно было бы не подчеркивать специально, если бы в лингвистической литературе не встречались случаи фетишизации подобных схем, свойства которых (принадлежащие в значительной мере метаязыку исследования) приписываются феноменам реального языка, как это делает, например, Н. Ю. Шведова, отмечая в числе обязательных признаков простого предложения «отличительный характер его продуктивной синтаксической схемы» [см.: Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке (опыт типологии), сб. «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 7].

схема SbPdOb явно предпочтительнее двучленной SbPd (если бы мы включили Ob в Pd), поскольку она позволяет интерпретировать изменения в соотношении функциональных значений подлежащего и дополнения, обусловленные структурой глагольного предиката. С другой стороны, в наборе инвариантных конструктивных схем предложений глагольного строя можно обойтись без одночленной схемы Pd, по которой строится, например, некоторые из так называемых безличных предложений: последние интерпретируются посредством схемы SbPd как результат редукции Sb¹⁰.

Итак, если пойти по пути обобщения перечисленных инвариантных схем за счет включения Cm в Pd, мы получим в конечном итоге две схемы: SbPd и SbPdOb. Эти схемы, по-моему, и могут служить основанием для установления парадигм конструктивного синтаксиса по линии тех категорий, которыми обладает выполняющий функцию Pd финитный глагол и от которых зависит различное выражение функций Sb и Ob.

Так, по линии категории лица¹¹ устанавливается парадигма синтаксических конструкций, по-разному реализующих одну из инвариантных схем SbPd или SbPdOb: а) с детерминацией Sb в прямой субъект действия и выражением его именительным падежом субстантива или местоимения (*Кто-то постучал в дверь; Дежурный вызвал врача; Волна уносит лодку в море; Большой не спал; Буря свалила дерево*); б) с детерминацией Sb в неопределенный субъект действия, указываемый лишь формой глагольного предиката и не получающий выражения в отдельном компоненте конструкции (*В дверь постучали; Вызвали врача*); в) с редукцией Sb (*Лодку уносит в море*) или детерминацией его в косвенный субъект действия, выражаемый дательным падежом субстантива (*Больному не спалось*), или в субъект-агент, выражаемый творительным падежом субстантива (*Волной уносит лодку в море; Бурей свалило дерево*) и т. д.

Другая парадигма синтаксических конструкций, по-разному реализующих общую для них инвариантную схему SbPdOb, устанавливается по линии категории залога. В объединенных этой парадигмой синтаксических конструкциях реализация указанной схемы осуществляется: а) с детерминацией Sb в прямой субъект действия, выражаемый именительным падежом субстантива, и Ob в прямой объект того же действия, выражаемый винительным падежом другого субстантива (*Брат меня торопит; Отец встречает сына; Бухгалтер составляет смету; Товарищ часто вспоминает эту историю*); б) с редукцией Ob или детерминацией его в социативный субъект действия, выражаемый творительным падежом субстантива, при том же качестве Sb (*Брат торопится; Отец встречается с сыном*); в) с детерминацией Sb в субъект-агент действия, выражаемый творительным падежом субстантива, или в его косвенный субъект, выражаемый дательным падежом субстантива, когда Ob детерминируется в субъективированный объект, выражаемый именительным падежом другого субстантива (*Смета составляется бухгалтером; Товарищу часто вспоминается эта история*) и т. д.

¹⁰ Ср. замечание Е. Куридовича о том, что в соответствии с теоремой о двойной иерархии взаимных отношений элементов языковой системы безличные предложения «являются производными от полных двучленных предложений типа: подлежащее (группа подлежащего) + сказуемое (группа сказуемого)» (Е. Куридович, *Очерки по лингвистике*, М., 1962, стр. 18).

¹¹ Эта категория двойственна по своей природе и объединяет два ряда форм финитного глагола, различающихся: 1) по отношению глагольного действия к его субъекту (определенно-личная, неопределенно-личная и безличная формы) и 2) по отношению субъекта действия к субъекту речи (определенно-личные формы трех лиц ед. и мн. числа). В данном случае имеется в виду соотношение глагольных форм первого ряда.

Следует отметить, что обе эти парадигмы в полном объеме представляет только относительно большая масса синтаксических конструкций с глагольным предикатом, имеющим различное лексическое содержание. Если же иметь в виду конструкции, в составе которых функцию Р_d выполняет одна и та же глагольная лексема, то их парадигмы как по линии категории лица, так и по линии категории залога обычно ограничиваются двух- (иногда трех-) членным составом, что и видно из приведенных примеров¹², иллюстрирующих, разумеется, лишь некоторые образцы конструктивно-синтаксической парадигматики (автор вовсе не претендует на ее исчерпывающее выявление и описание даже в отношении предложений глагольного строя).

Вернемся теперь к парадигмам коммуникативного синтаксиса.

Как уже сказано выше, общими линиями, по которым могут быть установлены соответствующие парадигмы, являются, с одной стороны, целевое назначение и модальное качество выражаемого в предложении сообщения и, с другой стороны, его коммуникативная перспектива. Нетрудно заметить, что эти линии лишь частично совпадают с основаниями для выявления парадигм предложения, намеченными в работах Н. Ю. Шведовой. Н. Ю. Шведова считает, что предложение как единица коммуникации создается взаимодействием категории синтаксического времени и объективной модальности¹³, и здесь, очевидно, есть зерно истины, заключающееся в том, что выражение отношения высказываемого в предложении содержания к действительности (предикация) в самом деле обычно реализуется в формах времени и модальности. Однако названные категории, во-первых, далеко не исчерпывают релевантных свойств предложения, во-вторых же, например, категория времени в синтаксическом плане по существу целиком «поглощается» категорией модальности (формы времени представляют лишь варианты одной из форм модальности — так называемого индикатива).

Несомненно, что более существенными для содержательной характеристики предложения и установления его парадигм являются, наряду с категорией модальности, категории целевого назначения и коммуникативной перспективы, поскольку в значительной степени именно благодаря им предложение, так сказать, обретает жизнь и становится единицей с определенным коммуникативным смыслом.

Как известно, по линии целевого назначения выделяются и различаются повествовательный, вопросительный и побудительный типы предложения. В ряде случаев названные типы и образуют единую трехчленную парадигму, представляя соответствующие видоизменения (в формальном отношении исключительно за счет интонации) синтаксических конструкций одного и того же лексико-грамматического состава и строения, когда выполняющий в них функцию Р_d финитный глагол используется в формах 2 или 3-го лица будущего времени изъявительного наклонения, либо в формах 2 или 3-го лица сослагательного наклонения (синтаксические конструкции типа: *Ты прочитаешь эту книгу; Он прочитает эту книгу; Ты прочитал бы эту книгу; Он прочитал бы эту книгу*). Ср., например, употребление таких конструкций в качестве побудительных предложений: «— Вы, — обратился Сабуров к Масленникову, — останетесь в резерве, и когда дойдете до нашего переднего края, остановитесь, расположите всех, кто не уйдет с нами, и будете ждать рассвета» (К. Симонов, Дни и ночи); «В а с н е ц о в. Вместо раненого майора Луконина команду над ночной

¹² Другие примеры см. в ст.: И. П. Распопов, К характеристике конструктивных типов простого предложения, ФН, 1967, 3, стр. 23—33.

¹³ См.: «Основы построения описательной грамматики...», стр. 148.

ротой примет капитан Гулиашвили. Отправляйтесь» (К. Симонов, Парень из нашего города); «Т а т ь я н а (Нилу). Ты лучше отдохнул бы до дежурства» (М. Горький, Мецане); «А г р а ф е н а. Вы бы, Конь, не курили здесь вашу махорку, от нее лист на деревьях вянет...» (М. Горький, Враги)¹⁴.

В других случаях общая коммуникативно-синтаксическая парадигма предложений по линии целевого назначения складывается из комбинации двух частных парадигм, членами которых являются, с одной стороны, повествовательные (вопросительные) и побудительные предложения, а с другой стороны, — повествовательные и вопросительные предложения.

В реализации парадигмы «повествовательные (вопросительные) — побудительные предложения» решающую роль играет противопоставление (опозиция) глагольных форм изъявительного (сослагательного) и повелительного наклонений. Причем это противопоставление абсолютно только для соотношения с повелительным наклонением изъявительного в настоящем и прошедшем времени (конструкции с глагольным предикатом в форме повелительного наклонения в отдельном употреблении функционируют только как побудительные предложения; напротив, конструкции с глагольным предикатом в формах изъявительного наклонения настоящего и прошедшего времени — только как повествовательные или вопросительные предложения). Но это противопоставление оказывается относительным для форм повелительного наклонения и изъявительного в будущем времени или сослагательного наклонения, поскольку, как отмечено выше, конструкции с глагольным предикатом в формах изъявительного будущего времени или сослагательного наклонения могут функционировать не только в качестве повествовательных (вопросительных), но и в качестве побудительных предложений.

Кроме того, в реализации парадигмы «повествовательные (вопросительные) — побудительные предложения» принимают участие формы определенного лица. Так, конструкции с глагольным предикатом в форме 1-го лица могут выступать только как повествовательные или вопросительные, но не побудительные предложения¹⁵.

Для парадигмы «повествовательные — вопросительные предложения» формы глагольного предиката уже не играют никакой роли. Различия этих предложений при тождественном лексическом составе связаны лишь с интонацией (ср.: *Мы сегодня пойдем в театр.* — *Мы сегодня пойдем в театр?*).

Но для коммуникативного синтаксиса (как, впрочем, отчасти и для конструктивного), очевидно, существенно и то, какие лексические элементы (или во всяком случае классы этих элементов) входят в состав того или иного предложения, и в этом отношении вопросительные предложения в противоположность повествовательным характеризуются определенными особенностями, в частности использованием специальных лексических знаков выражения вопроса, каковыми являются вопросительные местоимения и вопросительные частицы (ср.: *Мы сегодня пойдем в театр.* — *Кто сегодня пойдет в театр?* — *Когда мы пойдем в театр?* — *Пойдем ли мы сегодня в театр?* — *Разве мы пойдем сегодня в театр?* и т. д.).

Таким образом, парадигма «повествовательные предложения — вопросительные предложения» оказывается по своей формальной природе лексико-грамматической парадигмой. Но по функции она, конечно, це-

¹⁴ Примеры на употребление подобного рода конструкций в качестве повествовательных и вопросительных предложений очевидны.

¹⁵ Исключение составляют конструкции с так называемой инклюзивной формой 1-го лица мн. числа (*Пойдемте домой, посидим, почитаем*), образование которой, однако, лексически ограничено.

ликом принадлежит коммуникативному синтаксису, поскольку члены ее противопоставлены именно и только по линии целевого назначения, т. е. свойства, принадлежащего предложению как единице коммуникации¹⁶.

Вторую ведущую линию парадигматики коммуникативного синтаксиса составляет различие предложений по их коммуникативной перспективе.

Под коммуникативной перспективой предложения, вслед за некоторыми чехословацкими лингвистами, здесь понимается целенаправленное развертывание высказываемого в предложении сообщения, которое осуществляется (главным образом за счет порядка слов и интонации) в соответствии с определенным коммуникативным заданием и проявляется в соотношении компонентов его так называемого актуального членения — темы и ремы.

Как известно, в функции названных компонентов могут выступать различные грамматические члены реального состава предложения того или иного типа. Поэтому при установлении парадигм по линии коммуникативной перспективы мы не можем опираться на инвариантные (в значительной степени нивелирующие этот состав) схемы их конструктивного строения, а должны исходить в каждом отдельном случае из конструктивно-синтаксической базы предложения в целом (т. е. с учетом всех членов ее состава, как обязательных, так и факультативных). Объем и характер соответствующих парадигм как раз и зависит от объема (степени распространенности) конструктивно-синтаксической базы предложения.

Так, для повествовательных предложений с конструктивно-синтаксической базой глагольного строя, включающей подлежащее и сказуемое, их парадигма по линии коммуникативной перспективы будет, очевидно, трехчленной, поскольку предложения этого состава могут выражать: а) тематически недетерминированное констатирующее сообщение — при так называемом обратном порядке грамматических членов и отсутствии специального акцентного выделения какого-либо из них: *Наступила осень*; *Пришел мальчик* и под. Литературные примеры: «Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь и копать, скрытую в его глубине» (М. Горький, *Мать*); «Моросил дождик» (К. Симонов, *Дни и ночи*); «Послышался смех» (В. Аксенов, *Коллеги*); б) тематически недетерминированное уточняющее сообщение — также при обратном порядке грамматических членов, но с особым акцентным выделением подлежащего: *Наступила осень* (а не весна); *Пришел мальчик* (а не девочка). Литературные примеры: «В дверь осторожно постучались, мать быстро подбежала, сняла крючок, — вошла Сашенька» (М. Горький, *Мать*); «Весь дом еще спал, стоя в сухом ослепительном свете. Не спал один старый хозяин» (Бунин, *Лица*); в) тематиче-

¹⁶ Повествовательный, вопросительный и побудительный типы предложения различаются, кроме того, по своему модальному качеству, дополнительно модифицируемому в рамках каждого типа с помощью глагольных наклонений, модальных слов и частиц, интонаций и т. д. (ср. различие в этом отношении утвердительных и отрицательных предложений повествовательного типа, собственно-вопросительных, удостоверительно-вопросительных и предположительно-вопросительных предложений, побудительных предложений, выражающих категорический приказ, просьбу, увещание, запрещение и т. п.). Разумеется, эта сторона структуры предложения также заслуживает рассмотрения в парадигматическом плане. Но здесь мы сталкиваемся с рядом трудностей, преодолеть которые (чтобы за разрозненными фактами увидеть стройную систему) пока не удается. Замечу, однако, что модальное качество предложения является, по моему, в значительной степени производным от его целевого назначения, а не наоборот, как, очевидно, думает Р. Ружичка, включивший в исходную инвариантную схему так называемой глубинной структуры предложения из всех категорий, свойственных предложению как коммуникативной единице языка, только модальность (R. R ů ž i ě k a, *Studien zur Theorie der russischen Syntax*, Berlin, 1966, стр. 25—26).

ски детерминированное констатирующее сообщение — при прямом порядке грамматических членов и переносом акцента на сказуемое: *Осень наступила; Мальчик (которого ожидали) пришел*. Литературные примеры: «Старуха дремала» (М. Горький, Старуха Изергиль); «Дождь все еще накрапывал» (К. Симонов, Дни и ночи); «Город горел» (там же).

Для повествовательных предложений с конструктивно-синтаксической базой глагольного строя, включающей подлежащее, сказуемое и объектное дополнение, объем и характер их парадигм уже изменится, в частности за счет того, что в выражаемых ими различных видах сообщения функцию темы или ремы (с уточняющим значением) может выполнять не только подлежащее, но и дополнение. Ср.: «Ласковый ветер с реки т р е п а л не п о с л у ш н ы е м о р о з к и н ы к у д р и» (Фадеев, Разгром)¹⁷ — «Непокрытые волосы ее шевелил м о к р ы й в е т е р» (В. Аксенов, Коллеги); «Особенно беспокоили Щедрина п р о г у л к и М а р и» (Паустовский, Северная повесть) — «Особенно мы боялись старика с о с т о р у б л е в ы м к р е д и т н ы м б и л е т о м» (Паустовский, Беспокойная юность). Кроме того, такие предложения (при определенном лексическом наполнении) могут выражать особый вид сообщения, функцию темы которого выполняют одновременно и подлежащее и дополнение, когда акцент переносится целиком на сказуемое, как в примерах: «Осень и зиму Павел н е л ю б и л» (Н. Островский, Как закалялась сталь); «Пондалевский п о б а и в а л с я Рудина» (Тургенев, Рудин); «Эта мысль п о р а з и л а доктора» (Лермонтов, Княжна Мери); «Главный инженер п о н р а в и л с я Зеленину» (В. Аксенов, Коллеги).

Если в конструктивный состав предложения включается еще и обстоятельственный второстепенный член, например, с пространственным или временным значением, то это опять-таки приводит к изменению объема и характера его парадигмы, поскольку обстоятельственный второстепенный член также может взять на себя одну из коммуникативно-синтаксических функций: ограничение тематической сферы сообщения или выражение его ремы. Ср.: «Я разыскал в Москве к в а р т и р у у в а ж а е м о г о п р о ф е с с о р а» (Паустовский, Беспокойная юность); — «Я разыскал Романина в д о м е с т а р о г о к с е н д з а» (там же); «На рассвете Извеков п р о в о ж а л с в о ю р о т у» (К. Федин, Необыкновенное лето) — «Он провожал свою роту н а р а с с в е т е».

Соответствующие наблюдения можно было бы продолжить, однако, разумеется, вовсе не до бесконечности. Парадигматика предложения по линии коммуникативной перспективы при всем ее многообразии имеет определенные пределы, во всяком случае в той мере, в какой предельно (а не безгранично) распространение конструктивно-синтаксической базы предложения, а главное в ней раскрываются некоторые весьма существенные для практики речевого общения закономерности языкового строя. Представляется, что именно с этой точки зрения и следует оценивать плодотворность парадигматического подхода к явлениям синтаксиса вообще. Он дает нам ключ к познанию законов, по которым строятся и соотносятся друг с другом различные синтаксические единицы в системе языка, позволяя описать эту систему как организованное целое в ориентированном на речевую практику целесообразном действии и взаимодействии всех ее составных частей.

¹⁷ Здесь и далее в примерах слова, выполняющие функцию ремы, выделены разрядкой.

М. А. КОРОСТОВЦЕВ

О ПРИРОДЕ ЕГИПЕТСКОГО ГЛАГОЛА

К египетскому глаголу вполне применимы слова Л. Теньера о том, что «большинство языков не отличают понятие процесса от понятия субстанции. Они рассматривают процесс как субстанцию и, следовательно, глагол воспринимают как существительное»¹.

Общезвестно, что в ряде языков инфинитив является одновременно и отглагольным именем, т. е. именем действия или состояния, выражаемого глаголом². В арабском языке инфинитив (масдар) «включается в систему глагола и рассматривается вместе с ним как категория, регулярно образуемая от всех глаголов...»³. Египетский инфинитив в этом отношении весьма близок к арабскому инфинитиву: он «является именем, обозначающим действие или состояние, выражаемое корнем глагола...»⁴. Египетский инфинитив отличается от других имен прежде всего той легкостью, с которой он может заменять повествовательные формы глагола и в качестве таковых иметь иногда собственный субъект и, главным образом, прямой объект. В качестве имени инфинитив может быть определен предшествующим ему притяжательным прилагательным или субстантивирован определенным артиклем⁵.

В предложении *ih p3 j . k ijt m = s3 . ir hdb . i* «что значит твое хождение за мной, чтобы убить меня?» (Orb. 7.4; из сказки о двух братьях) имеются два инфинитива: *ijt* буквально: «ходить» и *hdb* «убить». Если второй из этих инфинитивов выступает в форме глагола, имеющего прямой объект — *hdb . i* «убить меня», то первый инфинитив *ijt* «ходить» с предшествующим притяжательным прилагательным *p3 j . k* «твой» в данном предложении функционирует как имя. Отметим, что *p3 j . k ijt* «твое хождение» (буквально: «твой ходить») является по существу подлинным инфинитивом. Инфинитив очень часто встречается и в сложных описательных глагольных формах, в которых спрягается только вспомогательный глагол, а инфинитив знаменательного глагола с предшествующим предлогом не

¹ L. Tesnière, *Éléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959, стр. 61. Мы не затрагиваем здесь вопроса о том, насколько такое восприятие глагола действительно характерно для «большинства языков».

² Так, «в тюркских языках с развитой литературной традицией инфинитив комплектовался из глагольных имен...», и ученые до сих пор спорят, в каких из этих имен «глагольных свойств меньше», в каких больше, предлагая называть первые «именно-глагольными» формами, а вторые — «глагольно-именными» формами (Н. К. Дмитриев, *Грамматика башкирского языка*, М.—Л., 1948, стр. 171, 174, 176).

³ Б. М. Гранде, *Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении*, М., 1963, стр. 186.

⁴ A. Gardiner, *Egyptian grammar*, London, 1957, стр. 222.

⁵ Точно также и тюркский «инфинитив» «склоняется и принимает аффиксы принадлежности по общей схеме с именами и принимает аффиксы отрицания по общей схеме с глаголами» (Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 176). Реализуя свои глагольные потенции, «инфинитив» в турецком языке, например, выступает в качестве «развернутого второстепенного члена предложения» (см. А. Н. Кононов, *Грамматика современного турецкого литературного языка*, М.—Л. 1956, стр. 456), способного иметь при себе прямое или косвенное дополнения, обстоятельства образа действия, времени и т. п.; в то же время «субъект действия» при «инфинитиве» выражается род. надежом.

изменяется, например, *iw · f · hr sdm* «есть он на слушании», т. е. «он слушал» или «он слушает».

Весьма специфичной является синтаксическая субстантивация спрягаемых глагольных форм в египетском языке. Как известно, падежные отношения выражаются в египетском языке так называемыми «аналитическими падежами», т. е. предложными группами. Замечательно, что вторым компонентом после предлога или после *nota genitivi n* может выступать спрягаемая глагольная форма⁶: *m 3ht n shpr · k* «в поле, которое ты создал» («в поле твоего создания») (Lans. 9.2.). Здесь *shpr · k* является спрягаемой относительной глагольной формой, перед которой стоит *nota genitivi n*, благодаря чему эта группа субстантивируется: *n shpr · k* «твоего создания». Спрягаемая форма *sdm · f* встречается точно в таком же употреблении: *ht nbt nfrt nt šsp hm · f* «все прекрасные вещи, которые принимает его величество» (из Текста 18 династии⁷). Из этих двух примеров (а их можно было бы привести и больше) ясно видно, что и спрягаемые формы глагола в ряде случаев синтаксически могли быть идентичными с именем. Иными словами — в египетском языке наблюдается несомненная близость имени и глагола в их синтаксическом употреблении.

Не менее специфичной особенностью египетского глагола является локализм⁸. В основе локализма лежит то свойство языка, о котором исследователь североамериканских индейских языков Хатчет пишет: «категория положения — расположения в пространстве и расстояния имеет в представлении ряда народов такое же основное значение, как для нас имеют категории времени и причинности»⁹. Х. П. Блок считает локализм (в самом широком значении этого термина) «одним из ведущих показателей лингвистического мышления и выражения „an sich“». Следы его могут быть обнаружены почти в каждом языке, иногда в виде живого и продуктивного фактора речи, но чаще в виде окаменевшего остатка более раннего периода... В общем смысле локализм может быть определен как возникновение на ранней стадии развития человеческой речи стремления выразить любое отношение в терминах места и пространства, откуда позднее могут развиваться более тонкие различия, как падеж, время, наклонение и т. д.»¹⁰; так в одном из языков североамериканских индейцев (*klamath*) «время выражается частицами, выражающими пространственные отношения»¹¹.

Х. П. Блок приводит всего один пример из египетского языка: *iw · f 3 r sn · f* «он больше брата своего», где степень сравнения выражена пространственным предлогом *r* «к», «против» — он предшествует слову *sn · f* «брата своего» (ср. русск. диалектн. *он больше супротив брата своего*). Гораздо более яркие проявления локализма можно видеть в сложных глагольных формах описательного спряжения особенно в новоегипетском язы-

⁶ В тюркских языках, например в узбекском, с этим явлением можно сопоставить прошедшее-перфективное время, образованное от причастия на *-gan*, с нулевым личностно-числовым показателем в 3-м лице ед. числа и «развернутые члены предложения», центром которых является причастие на *-gan* с его относительным перфективным значением (см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, стр. 216, 369 и сл.); в последней функции причастие на *-gan* может принимать падежные аффиксы и иметь при себе послелоги.

⁷ Цит. по кн.: K. Sethe, *Urkunden der 18. Dynastie*, Leipzig, 1927—1930, стр. 707.

⁸ См.: Н. Р. Блок, *Localism and deixis in Bantu linguistics*, «Lingua», 5, 1956; М. А. Коростовцев, Проявление локализма в египетском языке, «Семитские языки», 2 (ч. 2), М., 1965.

⁹ Цит. по кн.: L. Levi-Bruhl, *Les fonctions mentales des sociétés inférieures*, Paris, 3-me éd., 1918, стр. 161.

¹⁰ Н. Р. Блок, указ. соч., стр. 383.

¹¹ L. Levi-Bruhl, указ. соч., стр. 162.

ке. Многие из этих глагольных форм имеют следующее строение: «вспомогательный глагол + субъект действия + пространственный предлог + инфинитив знаменательного глагола»¹².

Для примера возьмем две формы:

Praesens II			Futurum III		
<i>iw · f</i>	<i>hr</i>	<i>sdm</i>	<i>iw · f</i>	<i>r</i>	<i>sdm</i>
«есть он на слушании»			«есть он к слушанию»		

По своему строению эти формы совершенно тождественны, как и по своим компонентам, исключая только предлоги *hr* и *r*. Именно эти разные предлоги придают обоим формам разные оттенки временного значения. Форма *iw · f hr sdm* «есть он на слушании» является констатацией факта слушания в прошлом и настоящем. В форме же *iw · f r sdm* «есть он к слушанию» констатируется факт ожидания слушания, т. е. будущее время. Таким образом, посредством пространственных предлогов *hr* «на» и *r* «к» в конечном итоге дифференцируется выражение времени действия.

Между тем, египетский глагол не обладает грамматической категорией времени (подобной, например, латинской или русской: *sunt* «есть», *fui* «был», *ero* «буду»). Тем не менее время действия или состояния в египетском выражалось не морфологически, а аналитически — посредством предлогов, о чем могут свидетельствовать приведенные выше формы Praesens II и Futurum III, как и множество других разнообразных египетских глагольных форм. Нередко исследователи стремятся усмотреть в качестве основной функции той или иной египетской глагольной формы выражение определенного времени — абсолютного или относительного; подобные попытки зиждятся в основном на интерпретации египетских глагольных форм через призму метаязыка, на котором они истолковываются (английский, французский, немецкий, русский и т. д.), что вносит в египетскую грамматику чуждые ей черты грамматики индоевропейских языков.

Известно, что египетский язык относится к семье семито-хамитских языков. В отношении собственно семитских языков М. Коэн пишет: «самым поразительным фактом является следующее обстоятельство: на протяжении пяти тысяч лет, охватывающих историю семитских языков..., сохраняется система глагола, не покоящаяся на выражении времени, — даже в самых развитых языках древняя форма завершеного действия отличается от прошедшего времени, так как она используется и для будущего времени»¹³. Коэну принадлежит также следующее первостепенной важности замечание: «ни одна древняя глагольная форма не несет в качестве регулярной функции выражения времени. Древней глагольной системе семитских языков в целом чуждо это понятие»¹⁴. Относительно глагольных форм берберского языка, близкого к египетскому, также есть «все основания полагать, что они, по крайней мере, в своей основе не выражают никакого временного значения»¹⁵. Выражение времени для глагола семито-хамитских языков является не основной, а вторичной функцией: глагольная форма может фактически выражать время, и нередко его

¹² В ряде тюркских языков так называемое настоящее-длительное время образуется по схеме: «инфинитив» на *-mak/-mek* + аффикс местного падежа *-ta/-te* + личностные показатели (см.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, стр. 229; его же, Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 214), например: узб. *ёз-моқ-да-ман* «(я) пишу (длительно)», буквально: «(я) на писании емь», *ёз-моқ-да* «(он) пишет (длительно)», буквально: «(он) на писании (есть)».

¹³ M. Cohen, Le système verbal sémitique et l'expression du temps, Paris, 1924, стр. 296.

¹⁴ Там же, стр. 52.

¹⁵ A. Basset, La langue berbère, Oxford, 1952, стр. 13.

выражает, но связь между глагольной формой и выражаемым ею временем не обязательна, не постоянна. Редко та или иная глагольная форма «служит исключительно для выражения времени. В частности, очень часто она одновременно служит для выражения длительности действия»¹⁶. Уже априори можно утверждать, что египетский глагол вряд ли был исключением среди систем глагола других языков семито-хамитской семьи и едва ли принципиально от них отличался. И действительно, указанные особенности семито-хамитского глагола в целом типичны и для египетского глагола.

В. С. Голенищев первым обнаружил в египетском глаголе основную оппозицию: завершённое — незавершённое действие¹⁷, которая в современных трудах по египетскому языку положена в основу описания египетской глагольной системы.

Несомненно, что между категориями вида и времени в ряде случаев имеется существенная связь¹⁸; однако связь эта совсем не органическая и не всеобщая. Иначе говоря, понятие завершенности — незавершенности, с одной стороны, и понятие времени, с другой, могут совпадать, но могут и не совпадать и нередко не совпадают. Приведем конкретные примеры. В египетском языке имеется завершенная форма глагола *šdm · f*, которая может выражать прошедшее, настоящее и будущее время. Примеры: 1) прошедшее время *ḏd · f n · f* «он сказал ему» (из Рассказа Синухета, R2); 2) настоящее время *di · i n · k ʒ pd* «даю я тебе птицу» (из Надписи в Меире); 3) будущее время: *m ʒ · k pr · k* «увидишь ты дом свой» (из Сказки о потерпевшем кораблекрушение, 134).

Во всех трех случаях представлена одна и та же глагольная форма, но временные значения, ею выраженные, различны. Таких примеров можно привести для этой и других глагольных форм неограниченное количество. Отсюда вывод — функция времени — вторичная, а не основная функция глагольных форм, и выражение определенного времени не связано органически с теми или другими глагольными формами. Некоторые глагольные формы со временем приспособляются для выражения того или иного временного значения, но этот процесс для них необязателен.

В новоегипетском спряжении имеется 44 употребительных (и 6 редких) глагольных форм. Если обозначить V формы, выражающие только вид и образ действия, а V^m — глагольные формы, выражающие время, то получим отношение $V : V^m = 34 : 10$, т. е. глагольных форм, не означающих время, в три с лишним раза больше временных глагольных форм. Если же учесть, что выражение времени не является основной функцией этих последних форм, то приходится сделать вывод, что египетскую глагольную систему нельзя рассматривать как выражающую время¹⁹.

Переходя к вопросу о наклонениях и залогах, отметим, что попытки обнаружить наклонения в египетском глаголе²⁰ (за исключением бесспорных инфинитива и императива) оказались безрезультатными. Таким образом, все глагольные формы в египетском языке, кроме инфинитива и императива, относятся к так называемому изъявительному наклонению. В рамках этого последнего существовали увещательное и условное наклонения, совпадавшие с изъявительным по форме и отличавшиеся от него

¹⁶ M. Cohen, указ. соч., стр. 139.

¹⁷ W. Golénisheff, *Le conte du Naufragé*, Le Caire, 1912, стр. 61—63.

¹⁸ См. об этом, например: Э. Кошмидер, *Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза*, сб. «Вопросы глагольного вида», М., 1962, стр. 127.

¹⁹ См. об этом: М. А. Коростовцев, *Новоегипетское спряжение и категория времени*, сб. «Языки Африки», М., 1966, стр. 258.

²⁰ См.: С. Е. Сандер-Нансен, *Über die Bildung der Modi im Altägyptischen*, København, 1941.

только тем, что глагольным формам предшествовали некоторые лексические элементы, придававшие этим формам изъявительного наклонения значение увещательности или условности. Так, например, частица *ih* перед формой *sḏm · f* придавала последней значение юссива; ср.: *sḏm · k* «ты слушал», «ты слушаешь», «ты услышишь», *ih sḏm · k* «да услышь ты» и т. д.

Для выражения ирреального условного периода в новоегипетском использовался безлично-вспомогательный глагол *wn* «быть» в завершенной форме, обозначающей оконченное действие (в данном случае значения завершенности и прошедшего времени совпали). Глагол *wn* ставился перед той глагольной формой, которой нужно было придать значение ирреальности²¹. К этому использованию *wn* можно отнести слова О. Есперсена, сказанные относительно европейских языков: «Самым важным случаем невременного употребления форм прошедшего времени (претерита) является выражение нереальности или невозможности. Такое употребление мы находим в предложениях, выражающих желание, и в условных предложениях»²².

Что же касается условной формы реального периода, то для ее передачи также использовались частицы *hn*, *hnr*, *bsi*, поставленные перед обычным предложением в изъявительном наклонении. Таким образом, именно лексические средства служили для выражения наклонений. Отметим, что значения наклонений в более редких случаях могли передаваться и интонацией без добавочных лексических средств.

Во всех работах, посвященных египетскому глаголу, говорится о глаголах переходных и непереходных. Сама по себе эта совершенно правильная констатация тем не менее упрощает сложную проблему переходности и непереходности египетских глаголов, совсем упуская из виду наличие в египетском языке еще одной, ранее никем не отмеченной категории диффузных глаголов²³. Переходность (транзитивность) глагола — это категория грамматическая. Она выражается в языках, имеющих склонение, тем, что переходный глагол имеет прямой объект в винительном падеже. В языках, где падежные показатели заменены предложными группами, прямой объект переходного глагола следует непосредственно за глаголом и представлен предложной группой с нулевым предлогом. Глаголы, которые имеют прямой объект, назовем прямыми. Любое предложение, имеющее в качестве предиката такой переходный глагол в активном залоге, может быть трансформировано в предложение с тем же глаголом в пассивном залоге.

Непереходные глаголы подразделяются на два типа: 1) на глаголы, способные иметь при себе косвенный объект (т. е. объект в косвенном падеже или объект, представленный предложной группой с ненулевым предлогом), и 2) глаголы, не способные иметь никакого объекта: (*я сплю*, *я спешу*). Первые мы назовем косвенными глаголами, вторые — замкнутыми глаголами.

Наряду с этими типами глаголов в египетском языке имеются и так называемые диффузные глаголы, т. е. глаголы, которые могут функционировать то как транзитивные, то как нетранзитивные. Таков, например, глагол *nhṛ*: в качестве транзитивного глагола он имеет значение «валить», «подавлять», в качестве нетранзитивного — «прыгать». Этот тип глаголов довольно многочислен — диффузных глаголов насчитывается свыше 190. Наличия этого типа глаголов в египетском языке, несомненно,

²¹ W. Till, Der Irrealis und Neuägyptischen, «Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde», 69, 2, 1933.

²² О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 310.

²³ См. об этом: М. А. Коростовцев, Категория переходности и непереходности глаголов в египетском языке, ВДИ, 1968, 4.

является пережитком архаического состояния, когда функции транзитивности и нетранзитивности четко не дифференцировались и не закрепились еще за теми или иными глаголами²⁴.

Характерно, что в египетском языке непереходный глагол может принимать пассивный залог. На первый взгляд это утверждение кажется неправдоподобным и даже внутренне противоречивым. Тем не менее, в одном из текстов 18-й династии читаем: *3dt hr · s* «(нечто) гневаемое на это», а в одной из стел каирского Музея *prrw h33w hr sḫr · f* буквально «выходимый и приходимый по замыслу его»²⁵. В обоих случаях (как и во всех многочисленных других) речь идет о морфологическом пассивном залоге, имеющем здесь не пассивное значение: первый пример имеет значение «(нечто), на что гnevаются», а второй — «по замыслу которого выходят и входят». Образование пассивного залога от непереходных глаголов свойственно не только египетскому языку; это явление хорошо известно и языкам других систем. В тюркских языках страдательный залог производится от «глаголов движения и глаголов, обозначающих состояние, процесс или положение в пространстве»²⁶; в средневековом среднеазиатском тюрки (в «чагатайском» языке) пассив от непереходных глаголов образовывался вполне регулярно и использовался для «выражения литературной скромности»²⁷. В латинском языке отложительные и полуотложительные глаголы имеют форму пассива при неактивном значении (*mor i or* «умираю»). И в русском языке можно найти следы подобных фактов: *хоженные тропы*, в северных диалектах: *волков тут идено*, у писателя-горьковчанина: *некоторые поля наполовину убраны, некоторые только заеханы*²⁸.

Таким образом, спецификой египетского языка следует считать не само по себе наличие диффузных глаголов или употребление непереходных глаголов в пассивном залоге — видимо, эти явления в далеком прошлом были распространены и в других языках, — а их широкое распространение, их многочисленность; тем более примечательно, что уже в новоегипетском языке употребление пассивного залога непереходных глаголов не встречается.

Рассмотренные выше особенности египетского глагола представляют, несомненно, интерес для типологических исследований — ведь они встречаются, как мы видели, не только в системе египетского глагола, но и в языках других семей. По-видимому, они представляют собой лингвистические универсалии, находящиеся на разных ступенях развития — если рассматривать их в плане диахронии: в частности, они могут свидетельствовать об архаичности системы египетского глагола.

²⁴ Подобное же явление обнаруживается и в тюркских языках: «по мере углубления в историю тюркских языков отчетливее проявляется неустойчивость границы между переходными и непереходными глаголами, и само содержание этой категории становится все более неопределенным» (Э. В. Севортян, Аффиксы глаголообразования в азербайджанском языке. Опыт сравнительного исследования, М., 1962, стр. 456).

²⁵ Оба примера заимствованы из кн.: А. Н. Gardiner, указ., соч., § 373; см. также: Н. С. Петровский, Египетский язык, [Л.], 1958, стр. 205.

²⁶ А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 191, 192; см.: его же, Грамматика современного турецкого литературного языка, стр. 197, 198.

²⁷ C. Brockelmann, Osttürkische Grammatik der islamischen Literatursprachen Mittelasien, Leiden, 1952, стр. 286. См. также: Г. Ф. Благова, Формы пассива, представленные в «Бабур-наме», и особенности их синтактико-стилевого использования, «Asian and African studies», 1, Bratislava, 1965, стр. 26 и сл.

²⁸ И. Д. Андреев, Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении, Л., 1967, стр. 65.

С. Г. ТЕР-МИНАСОВА

К ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКОЙ РЕЧИ

Речевое развитие ребенка начинается с «малой детской речи», или «об-разования бессмысленных звукоочетаний» в виде «непроизвольного уп-ражнения органов речи»¹. В этот период ребенок просто играет голосовы-ми связками².

Вместе с тем уже в первые недели своего существования дети устанавли-вают речевой контакт с окружающими. Науке уже известно, что пер-вые семиологически релевантные элементы речевого поведения ребенка проявляются у него н а с в е р х с е г м е н т н о м у р о в н е. С помощью определенных интонационных контуров ребенок привлекает к себе внима-ние взрослых, сообщает им о своих нуждах, выражает удовольствие или неудовольствие. Так, например, установлено, что если ребенок на вопрос: «Где часы?» — реагирует, переводя взгляд на часы, то это происходит не потому, что он осознал фонологическое противопоставление соответствую-щих единиц сегментного уровня, а потому, что данная инт о н а ц и я ассоциируется у него с данной экстралингвистической ситуацией. Поэто-му на произнесенный с той же интонацией вопрос: «Где ла-ла?» — ребе-нок прореагирует точно так же, а вопрос «Где часы?», произнесенный с иной интонацией, не вызывает указанной выше реакции³.

Мы не имеем здесь возможности подробно рассматривать сложные и спорные вопросы, связанные с тем, каким образом ребенок овладевает фонологической системой языка⁴. Ограничимся лишь указанием на спе-цифику детской речи в этом отношении: система фонологических противоп-оставлений здесь максимально обобщена.

Специфика детской речи в плане выражения вполне естественно опре-деляет и некоторые ее особенности в плане содержания. Нереализация мно-гих фонологических оппозиций приводит к тому, что один звуковой комп-лекс передает значения многих совершенно разных «взрослых» слов, т. е. возникает проблема д е т с к о й о м о н и м и и. Например, «детское» слово *каська*⁵ употребляется в значении «взрослых» слов: 1) сказка, 2) кашка, 3) краска, 4) каска; детское *миська* означает 1) мышка, 2) мишка, 3) миска и т. п.

Однако, произнося слово *каська*, ребенок каждый раз употребляет его в каком-то одном значении, исключая остальные (поскольку речь идет об омонимии), причем делает это вполне осознанно, что особенно ярко вид-но при употреблении взрослым детского слова. Если взрослый скажет ре-

¹ О. С. А х м а н о в а, *Словарь лингвистических терминов*, М., 1966, стр. 386.

² См.: М. М. L e w i s, *Language, thought and personality in infancy and child- hood*, London, 1963, стр. 20.

³ См. по этому вопросу: P. H. L i e b e r m a n, *Intonation, perception and lan- guage*, 's-Gravenhage, 1967.

⁴ Литературу вопроса и характеристику современного его состояния см.: J. L e b r u n, *Le phonème, unité d'emploi ou unité de description*, «Revue belge de philologie et d'histoire», XLV, 3, 1967.

⁵ По наблюдениям О. С. Ахмановой.

бенку: *Хочешь кашьку?* — это часто вызывает протест ребенка: *Не кашьку, а кашьку!*

Наряду со специфической «детской» омонимией, в речи детей имеется и прямо противоположное явление. Один и тот же звуковой комплекс, одно и то же детское слово может объединять несколько понятий, имеющих разные звуковые выражения в речи взрослых, однако, в отличие от приведенных выше специфических «омонимов», они не исключают семантически друг друга, а обладают предметным, функциональным и т. п. сходством. В таких случаях имеет место обобщение (*generality*)⁶.

Разница между словами, объединенными одним звуковым комплексом, не исчезает, а просто не принимается во внимание. Говорящий (в данном случае, ребенок) не сталкивается с необходимостью выбора, как это происходит в случаях омонимии типа *кашьяка*. На первый план выступает не различие, а сходство между группой понятий, и тенденция ребенка к обобщению проявляется в закреплении одного названия за несколькими понятиями, словесно различающимися во взрослой речи. При этом дети проявляют часто большую наблюдательность и свежесть восприятия окружающего мира и подмечают сходство между предметами и явлениями, которые взрослые уже не воспринимаются как сходные.

Так, полуторогодовалая девочка создала слово *ляха* и употребляла его для обозначения ягод, фруктов, варенья. У нее же *кися* означало все мягкое, *бика* — все механические виды транспорта. Аналогичных примеров очень много в речи любого ребенка. Иногда дети не создают свое собственное слово, как *ляха* или *бика*, а «раздвигают» семантические границы обычного слова, т. е. существующего и во взрослой речи. Например, девочка по имени Аня объединяла под словом *аня* все виды понятия «человек», причем относилась это понятие как к живым людям любого пола и возраста, так и к куклам, памятникам и к любому другому изображению человека.

Те же тенденции к обобщению наблюдаются и при овладении грамматическими категориями⁷. Так, например, усваивая продуктивную модель $NP \rightarrow M + N$, дети обобщают различные «определители» (*M*), такие, как артикли, указательные местоимения, прилагательные и т. д., как бы сводят их в одну грамматическую категорию. Отсюда такие сочетания, как *a Becky, a hands, more nut, two toy* и т. д. «Расщепление», т. е. дифференцирование класса определителей на артикли, числительные и т. д., а класса существительных на собственные и нарицательные, исчисляемые и неисчисляемые и т. д., происходит постепенно и уже на последующих этапах развития. Период «собственно детской речи» — это период возникновения максимально обобщенных категорий с последующей их дифференциацией. Многочисленные факты подобного рода, уже собранные и проанализированные различными исследователями, позволяют наметить основные свойства складывающейся «языковой компетентности», т. е. процесса овладения родным языком.

Ни у кого не вызывает сомнения то, что этот процесс всецело определяется всего лишь следующими двумя факторами, а именно: 1) подражание окружающим, сопровождаемое их активным воздействием [это воздействие некоторые исследователи называют «подражанием наоборот» (*a kind of imitation in reverse*)] и 2) логический процесс осмысления, обобщения,

⁶ Известный американский лингвист Чжао Юань-Жень дает следующее определение «generality»: «Символ является обобщающим, когда он может быть применен к любому из нескольких понятий, различия между которыми не отрицаются, но рассматриваются как нерелевантные в данном контексте» (Jen Ren Chao, *Ambiguity in Chinese*, «Studia serica Bernhard Karlgren dedicata», Copenhagen, 1959, стр. 1).

⁷ См., например: R. Brown, U. Bellugi, *Three processes in the child's acquisition of syntax*, «New directions in the study of language», Cambridge (Mass.), 1966, стр. 151—154.

дифференциации и т. п., сопровождающий воспроизведение через подражание. Спорным оказывается лишь взаимоотношение этих факторов, их иерархия. Остановимся на существе имеющихся расхождений.

Раньше считалось, что именно подражание является основным и важнейшим фактором⁸. Однако в последнее время получила широкое распространение идея о том, что процесс овладения языком сводится, главным образом, к усвоению моделей, «скрытых структур» (*latent structures*)⁹ языка. Теперь первостепенное значение начинают придавать способности ребенка образовывать формы по аналогии. В качестве доказательства приводится тот факт, что дети правильно понимают и даже «производят» такие формы и конструкции, которые они никогда не слышали, что как будто бы исключает подражание. Когда детям показывают или называют один или несколько знакомых или незнакомых предметов, дети без труда образуют формы, например, числа также и для неизвестных им прежде слов¹⁰.

Интересные факты обнаружались также при исследовании модели образования прошедшего времени в английском языке. Выяснилось, что дети, ранее овладевшие формами прошедшего времени «неправильных» глаголов (*bought, went, came* и т. д.), освоив продуктивную модель образования прошедшего времени «правильных» глаголов (прибавление суффикса /-d/, /-t/, /id/) стремятся создавать такие словоформы, как /baid/, /goud/, /kam:d/¹¹. Это понимается так, что прежде механически воспринимаемые формы как бы «сломались» под давлением продуктивной модели. «Уникальное», механически воспроизводимое уступает место логически осмысленному¹². Хотя приведенные выше факты хорошо известны, они приобретают совершенно исключительный интерес для развития лингвистической теории. Становится совершенно ясным, что именно реализуя правильную, логическую модель, заложенную в нем как маленьком *homo sapiens*, ребенок больше всего подвержен ошибкам и их исправлению со стороны окружающих.

Из сказанного с несомненностью следует вывод: сторонники «порождающей грамматики» впадают в крайность, чрезмерно «логизируя» язык, отводя «заложенной» в человеке врожденной лингвистической компетенции исключительную роль в процессе овладения речью. Стремясь «восстановить справедливость» по отношению к «логическому» фактору, способствующему развитию речевых навыков у детей, сторонники теории «порождающей грамматики» весьма несправедливо обходятся с «нелогическими» факторами — подражанием и реакцией на него окружающих, сводя первый из них почти совершенно на нет, а второму оставляя лишь очень незначительную роль.

Ребенок усваивает язык, по их мнению, исключительно развивая «заложенные» в нем модели, т. е. приспособляя «заложенную» в нем конструкцию к тому материалу, который дает ему речь окружающих¹³; подражая же взрослым, механически повторяя за ними, он ничему научиться не может, так как не получает возможности осмысленно реализовать прежде неизвестные ему грамматические модели. Поэтому речь окружающих для ребенка это лишь «беспорядочный, случайный образец» («a completely

⁸ О различных периодах подражания см., например: M. M. Lewis, *Language, thought and personality in infancy and childhood*, London, 1963.

⁹ R. Brown, U. Bellugi, указ. соч., стр. 149.

¹⁰ S. M. Ervin, *Imitation and structural change in children's language*, «New directions in the study of language», Cambridge (Mass.), 1966, стр. 174—175.

¹¹ S. M. Ervin, указ. соч., стр. 178—179; D. McNeill, *Developmental psycholinguistics*, сб. «The genesis of language», ed. by F. Smith, G. A. Miller, Cambridge (Mass.), 1966, стр. 70—71.

¹² См.: D. McNeill, указ. соч., стр. 71.

¹³ См.: там же, стр. 68—70.

random haphazard sample»), который представляет собой не более как сырье для проверки и испытывания на нем заложенной в ребенке «лингвистической компетенции».

Как же обстоит дело в действительности? Отвечая на этот вопрос, следует прежде всего подчеркнуть тот факт, что речетворчество по аналогии, по «логическим моделям» в какой-то момент, на каком-то этапе превращается из двигателя в тормоз, так как реальные факты языка постоянно вступают в противоречие с образованиями по продуктивным моделям. Ребенок на каждом шагу сталкивается с бесчисленными исключениями — с полупродуктивными или даже вовсе непродуктивными моделями. Он делает ошибки именно потому, что усвоил и реализовал «логические модели». Взрослые вынуждены беспрерывно поправлять его, «ломать» стройные логические структуры, не выдерживающие в большом количестве случаев столкновений с реальностью речевого общения.

Поясним сказанное выше на примерах речи русских детей. Прежде всего, рассмотрим примеры из области морфологии, так как словообразовательные модели особенно наглядны. Русские дети, овладев продуктивной моделью образования несовершенного вида глаголов с помощью суффикса *-ива-/-ыва-*, начинают образовывать формы по этой модели и в тех случаях, когда это противоречит нормам русского языка: *сдвигивай, задавливай, его на дачу отправливают, не очистивай это яблоко, я люблю птичек нарисовывать, а зачем ему голову отрубливали?, этот дом разрушают, а сюда окна вставляють, этот дом разрушили и окна сюда вставлявали* и т. п. Еще более интересны и разнообразны формы, образуемые детьми для сравнительной степени имен прилагательных: на разобранных ниже примерах ясно видно, куда приводит детей чрезмерное «логизирование». Прилагательные появляются в детской речи очень поздно¹⁴, по сравнению с существительными и глаголами, а их категории — еще позднее, когда мыслительные способности ребенка довольно высоко развиты, и, следовательно, неправильности и ошибки нельзя объяснять недостаточным умственным развитием ребенка. Как показали наблюдения над речью 16 московских детей (возраст 4—5 лет)¹⁵, дети прочно усвоили продуктивную модель образования сравнительной степени с помощью суффикса *-ей* (типа *красный — красней*) и регулярно применяли ее для всех качественных прилагательных русского языка, включая и те, которые должны иметь суффикс *-е* (типа *густой — гуще*).

Наблюдения велись как в естественной обстановке: во время прогулок, игр, занятий «рассказы по картинкам», — так и в условиях специального исследования, состоявшего в следующем: ребенку, в полной изоляции от других детей, показывали картинки или предметы и говорили: *Это дерево высокое, а это — еще...* и ребенок заканчивал фразу. Чтобы отвлечь внимание ребенка от собственно формы сравнительной степени, предварительно ему говорили несколько предложений с другими пропущенными формами («посмотрим, какой ты догадливый»). С этой же целью детям было сказано, что беседа проводится для того, чтобы узнать, у кого какой голос.

Приведем результаты наблюдений. Они настолько красноречивы, что не требуют особых пояснений:

<i>простой</i>	— <i>простей</i>	(все 16 человек)
<i>чистый</i>	{ <i>чистей</i>	(15 человек)
	{ <i>чищей</i>	(1 человек)
<i>густой</i>	{ <i>густей</i>	(15 человек)
	{ <i>гуще</i>	(1 человек)

¹⁴ См. по этому вопросу: А. Н. Гвоздев, Вопросы изучения детской речи, М., 1961, стр. 437—438.

¹⁵ Московский детский сад № 1535.

слабкий	{	слабкѣй	(6 человек)	Часто дети стремились избежать употребления этой «трудной» формы и заменяли ее в случае необходимости на <i>вкусней</i>
		слабнѣй	(2 человека)	
		слабѣй	(2 человека)	
		слабче	(2 человека)	
		сластѣй	(1 человек)	
		слаще	(2 человека)	
высокий	{	высокѣй	(2 человека)	4 человека так и не смогли образовать степень сравнения и говорили <i>больше</i> и даже <i>большѣй</i>
		высочѣй	(4 человека)	
		высѣй	(1 человек)	
		выше	(5 человек)	
глубокий	{	глубокѣй	(2 человека)	Глубинѣй образовано явно от существительного, что характерно для детей более раннего возраста ¹⁶
		глубочѣй	(7 человек)	
		глубче	(2 человека)	
		глубинѣй	(3 человека)	
		глубже	(1 человек)	

Для прилагательных *красивый, вкусный, холодный* и т. п. все дети образовывали форму сравнительной степени правильно.

Очень часто в речи детей сосуществуют разные формы. Мальчик, употребивший в беседе с воспитательницей форму *выше*, через несколько минут, играя с детьми в мяч, кричал *высокѣй, высокѣй*.

Особенно часто это смешение «логизированной», но неправильной с точки зрения реальных норм языка формы с правильным исключением наблюдалось в супплетивных формах прилагательных *хороший и плохой: хороше́й и плохе́й* мирно уживаются с *лучше* и *хуже*, причем *плохе́й (плоше́й)* явно преобладает (24 раза было употреблено слово *плохой* и 8 раз *хуже*).

Этот факт — смешение неправильной «логической» формы с правильной «нелогической» формой неоднократно привлекал внимание исследователей¹⁷, так как обычно дети путают формы после того, как на более раннем этапе развития они употребляли, подражая взрослым, правильную нелогичную форму. Научившись обобщать, или, по мнению сторонников теории «порождающей грамматики», реализовать «заложенную» в нем лингвистическую компетенцию, «подогнав» систему «шаблонов» к материалу данного языка, ребенок приходит к «сверхобобщению» («overgeneralization»)¹⁸ и начинает, будучи более «логичен», чем взрослые, «порождать» «логические» формы, противоречащие реальным фактам языка, т. е. начинает делать ошибки и в течение какого-то периода времени путает формы и говорит параллельно *хуже* и *плохой, went* и [goud].

Рассмотренные выше примеры были заимствованы из области морфологии. Но и в области с о ч е т а н и я слов существуют продуктивные модели¹⁹. Именно этим обстоятельством, значительно упрощающим и сокращающим процесс усвоения речевых навыков, можно объяснить тот факт, что дети понимают и правильно конструируют бесчисленное множество предложений.

Однако и здесь их подстерегает та же, по существу, опасность. Для ребенка все словосочетания свободны, он рассматривает их только синтагматически, в прямой линейной последовательности. Если ребенку сказать²⁰:

¹⁶ Ср. пример, описанный Н. А. Менчинской: *моле* *вольнее* (т. е. волны на море стали больше), сказал ее трехлетний сын (Н. А. Менчинская, Развитие психики ребенка. Дневник матери, М., 1957). Так же у А. Н. Гвоздева: *печка* *стала, как решето. Она еще станет решетей; Эх, и диво я видел, дивей этого дива не бывает* (А. Н. Гвоздев, указ. соч.).

¹⁷ См.: М. Соуанд, Le problème des grammaires du langage enfantin, «La linguistique», 2, 1967, стр. 113—114.

¹⁸ См.: R. Brown, U. Bellugi, указ. соч., стр. 150—151.

¹⁹ В английском языке, где порядок слов в предложении твердо закреплен, это, очевидно, должно быть более наглядно, чем в русском.

²⁰ Примеры из кн. К. Чуковского «От двух до пяти» (М., 1963, стр. 63).

Что же это твоя Пришка с петухами ложится? — он отвечает: Она с петухами не ложится, она одна ложится в свою кровать, так как идиому *ложиться с петухами* он воспринимает не как единое понятие «очень рано», а как свободную линейную последовательность слов. Поэтому можно утверждать, что при усвоении синтаксиса происходит то же, что и при усвоении морфологии: воспроизведение «логических» продуктивных моделей, при всей его несомненной ценности для овладения языком в целом, в некоторых, случаях, а именно, при столкновении с полупродуктивными и непродуктивными моделями, не только не способствует, но даже просто препятствует развитию речи.

Что же помогает детям преодолеть это препятствие? Каким образом избавляются они от этих «излишков производства» — «сверхобобщенных» «правильных» форм? Конечно, «нелогический» путь — подражание речи окружающих и исправление ими «правильных» построений. До тех пор, пока ребенок не убедится, путем проб и ошибок, что, наряду с логическими явлениями, в языке есть и «целогические», что наряду с формами *вкусней* и *холодней*, *asked* и *walked* есть еще и такие, как *лучше* и *хуже*, *went* и *bought*, он, подчиняясь логическим синтаксическим и морфологическим моделям, будет буквально понимать идиомы и говорить *плохой* и *хорошей*.

Именно поэтому такое большое значение для овладения правильным литературным языком имеет речевая культура окружающих ребенка лиц, совершенство их владения речью. Именно поэтому, чем культурнее, образованнее среда, тем легче и лучше овладевают языком дети, тем быстрее они развиваются в лингвистическом отношении.

На основании сказанного выше можно сделать следующие выводы.

Разумеется, человек с весьма раннего возраста обладает способностью логически мыслить, что является важнейшим условием овладения языком.

Обобщая услышанное им от окружающих, человек усваивает логические модели языка. Однако эта его способность не должна возводиться в абсолют. Нельзя сводить процесс овладения речью только к «логизированию», так как, помимо логических продуктивных моделей, в языке существует и множество полупродуктивных и непродуктивных моделей, и усвоению этих последних часто препятствуют слишком хорошо усвоенные продуктивные модели. Как видно было из приведенных выше примеров, абстрактные логические модели слишком часто приходят в столкновение с реальными фактами речи, и тогда они не только не помогают, но даже мешают детям овладеть языком. Ребенок многое «порождает» по усвоенным им продуктивным моделям, но многое ему приходится и просто запоминать, перенимать от окружающих. Поэтому успешное овладение родным языком в очень значительной степени зависит от окружающей среды.

В современном языкознании господствуют такие понятия, как «языковая система», «логика языка» и т. п. Но ведь естественный человеческий язык существует только в речи. Отрыв «логической системы» языка от реального ее функционирования, т. е. речи — это, безусловно, крайность, тормозящая развитие языкознания. Важное место в «лингвистике речи» («la linguistique de la parole») вообще принадлежит той особой ее разновидности, которая явилась предметом настоящей статьи.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ЖУРНАЛОВ

И. БАР-ХИЛЛЕЛ

БУДУЩЕЕ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

(Почему машины не могут научиться переводить) *

Перевод—это такая деятельность, которая требует не только определенной работы головного мозга, но и хорошего знания по крайней мере двух языков — языка оригинала и языка перевода. После появления электронных вычислительных машин с особой остротой встал вопрос о том, имеет ли смысл в этой связи понятие «мозговая деятельность». Уже в 1946 г. вычислительные машины доказали свои поразительные возможности: с помощью этих машин оказалось возможным с невероятной быстротой и большой точностью производить чрезвычайно сложные вычисления, причем эти машины позволили решать задачи, которые до того времени считались лишь уделом человеческого мозга.

В связи с этим ученые стали задумываться над тем, в каких других сферах, требующих приложения человеческого мышления, можно применить автоматизацию; среди других был назван и перевод с иностранных языков.

Естественно, ученые быстро заметили, что между вычислением и переводом имеются существенные различия. Для проведения элементарных арифметических операций, из которых состоит каждое вычислительное задание, мы располагаем весьма совершенными алгоритмами. Для гарантии (почти) безошибочного вычисления требуется лишь точное программирование, конструктивное мастерство, а также вычислительная машина, которая в состоянии произвести эти операции и обладает достаточной «памятью». Для перевода подобных алгоритмов не существует. Более того, в то время, как понятие «корректного» вычисления не представляет никакой проблемы — если отвлечься от определенных философских ограничений, которые для нас не имеют значения, — а в случае необходимости получения приближенных результатов, можно достигнуть большой степени точности, то понятие «хорошего» перевода намного более проблематично, причем совершенно отсутствует какой-либо разумный критерий, позволяющий судить о большей или меньшей уместности того или иного перевода.

Когда я в 1951 г. начал интересоваться автоматизацией перевода, я прежде всего пытался выяснить, что говорят психологи о процессах, происходящих во время работы человеческого мозга над переводом. К моему великому сожалению, я обнаружил, что в этой области мало что известно, если не считать чисто анекдотических или умозрительных высказываний. Таким образом, машинное подражание человеческому переводу с са-

* Публикуемая статья проф. И. Бар-Хиллела напечатана в качестве передовой в журнале «Sprache im technischen Zeitalter», 23, 1967 под заголовком «Die Zukunft der maschinellen Übersetzung, oder: Warum Maschinen das Übersetzen nicht erlernen».

мого начала представлялось неприемлемым; однако вместо этого в кругах специалистов господствовала точка зрения блаженного ожидания каких-то феноменальных успехов в будущем. Уже в этот ранний период выявилось различие мнений между теми учеными, которые считали возможным создание полностью автоматического перевода хорошего качества, и теми, которые эту цель считали утопией, по крайней мере, в ближайшем будущем, и предпочитали совместную работу человека и машины, при которой машина выполняла бы техническую, черновую работу, а человек производил бы все необходимые умственные операции. Однако подобное разделение покоилось скорее на интуиции (и темпераменте), чем на рациональных соображениях, ибо разложение процесса перевода на «техническую» часть и часть, «требующую приложения умственной деятельности человека», не было осуществлено.

В начале машинный перевод делал большие успехи. В 1951 г. выяснилось, что перевод, получавшийся на выходе некоторых составленных вручную машинных программ для перевода научных и технических текстов с русского языка на английский (последний строился только на основе механического словаря, т. е. такого, в котором с каждым русским словом соотнесены соответствующие английские слова или короткие фразы), был такого качества, что английский читатель, являющийся специалистом в соответствующей области, при достаточной затрате энергии и времени мог понять содержание текста, причем в большинстве случаев правильно. В связи с этим большие успехи сделало механическое определение синтаксической структуры, причем открывались многообещающие перспективы улучшения качества машинного перевода и вследствие этого сокращение усилий читателей для интерпретации соответствующих текстов.

Оказалось возможным решать бесчисленные большие и малые проблемы. Специалисты быстро научились переводу идиоматических выражений, экономному построению словаря (что при тогдашнем весьма небольшом объеме машинной памяти было совершенно необходимым) и оптимизации обращения с ним.

Двумя годами позже в США был продемонстрирован машинный перевод, который привлек к себе большое внимание общественности. В результате к машинному переводу не только было привлечено внимание ученых, но он стал предметом борьбы за международный престиж на мировой арене. В то время как до тех пор машинным переводом занимались лишь в США и Англии, им заинтересовались и в Советском Союзе, который в течение нескольких лет стал ведущей страной в области машинного перевода. За ним последовали и другие страны, так что в настоящее время в большинстве европейских стран, а также в Мексике, Японии, Китае и Израиле существуют исследовательские группы по машинному переводу. Нет сомнения в том, что к ним скоро присоединятся и другие страны.

Существуют три журнала, которые посвящены исключительно машинному переводу, а многие другие издания печатают работы по этой тематике. Имели место несколько национальных и международных конференций по машинному переводу, начиная с конференции 1952 г. в Массачусеттском технологическом институте, которую я сам имел честь организовать. Я мог бы привести и дальнейшие данные о росте исследований в области машинного перевода и проиллюстрировать это статистическими данными о числе затраченных человеко-лет и о финансовых расходах на машинный перевод в 1960 г. по сравнению с 1950 г. Однако я не буду затруднять читателя этими показателями.

Несмотря на такое быстрое развитие, многие ощущают, что машинный перевод зашел в тупик, из которого он не может выйти без радикальных изменений всех его методологических основ. Некоторые из нас, небольшая,

но постоянно растущая группа, совершенно не сомневаются в том, что при всех успехах в технике программирования и в лингвистических знаниях, качество полностью самостоятельного механического перевода (даже если он ограничивается научными или техническими текстами) никогда не может достигнуть уровня перевода, выполненного квалифицированным переводчиком, и поэтому машинный перевод может конкурировать с человеческим только при совершенно исключительных обстоятельствах.

В настоящее время я даже убежден, что машины, способные к восприятию данных, в том виде, в котором эти машины существуют сегодня или могут быть усовершенствованы на основе известных принципов, не в состоянии существенно улучшить качество перевода.

В связи с этим я позволю себе перечислить основные предпосылки высококвалифицированного перевода, выполняемого человеком. Они сводятся по крайней мере к следующим пяти пунктам:

- (1) компетентное владение языком оригинала,
- (2) компетентное владение языком перевода,
- (3) хорошая общеобразовательная подготовка,
- (4) специальное знание соответствующей узкой области науки,
- (5) умственная деятельность.

(Я, конечно, признаю, что последняя из этих предпосылок, умственная деятельность, не определена и не понята в достаточной мере и поэтому мы будем пользоваться этим понятием с большими предосторожностями.)

Все эти предпосылки, конечно, давно являются прописными истинами, и мы, «пионеры машинного перевода», были в достаточной мере об этом осведомлены. Я даже отдавал себе отчет в том, что от электронных машин нельзя ожидать выполнения условий, перечисленных в пунктах (3) и (4), но думал, что условия пунктов (1) и (2) находятся в пределах достижимого. Я надеялся, что при использовании избыточности текстов, составленных на естественных языках (лучше, чем это может сделать человек), можно будет заставить электронно-счетную машину хотя бы частично компенсировать недостающие ей человеческие знания и сообразительность. Правда, почти каждый ученый, когда он пишет свою статью, мысленно представляет себе читателя, который не только хорошо владеет соответствующим языком, но и располагает общеобразовательной подготовкой, скажем, в объеме средней школы, читателя, который в течение нескольких лет работал в области определенной узкой специальности и который обладает достаточными умственными способностями, чтобы правильно использовать свои знания. Однако может так случиться, что писатель — бессознательно для себя — вводит в свои публикации довольно большое число формальных признаков, так что группе исследователей-лингвистов и программистов приходится таким образом составлять программу перевода, что результат трудно отличить от перевода, обработанного с помощью человеческого мышления, хотя в данном случае перевод делается «неразумной» машиной. Встречаются также случаи человеческого перевода, сделанного в условиях неполного понимания текста, что, однако, не всегда замечается читателями.

Все могло быть именно так, как было изложено выше, но на деле все сложилось по-иному. В каждом языке имеется бесчисленное количество предложений, которые компетентный переводчик может передать самым различным образом. Бывают переводы, которые отличаются друг от друга лишь той или иной идиосинক্রазией, но *toto coelo* являются различными. Предложение в оригинале во многих отношениях может быть многозначным — в морфологическом, синтаксическом или семантическом планах, однако опытный человек-переводчик, в соответствии со специальным контекстом, найдет для этого предложения лишь один вариант перевода ко

всеобщему удовлетворению читателей. Таким образом, переводчик должен преодолеть три указанных типа многозначности. Нет сомнения в том, что многозначность частично может быть уменьшена просто при учете определенных формальных критериев, причем часто обнаруживалось, что перевод текста, при поверхностном чтении которого, казалось, обязательно применение человеческого мышления, в действительности мог осуществляться при определенном усовершенствовании чисто формальных методов. И все же, пришлось признать тот неоспоримый факт, что имеются определенные пределы подобных усовершенствований, пределы, которые явно стоят на пути осуществления самостоятельного и высококвалифицированного машинного перевода.

Но может быть эту задачу в состоянии решить способная к восприятию данных электронно-счетная машина? По этому поводу я (может быть несколько утрированно) должен сказать следующее. Интенсивное изучение одного из наиболее популярных проектов механизированного решения задач и не столь обширный отчет о разработке «искусственного мышления» породили такое количество необдуманной и безответственной болтовни, что невольно приходишь в ужас, а во многих случаях в полное замешательство. Во всей этой болтовне не содержится абсолютно ничего, что могло бы обещать хоть какую-то реальную помощь для механизации перевода. Там нет ничего, что указывало бы, каким образом электронно-счетная машина может приобрести способность, которую известный швейцарский лингвист де Соссюр назвал *faculté du langage*, способность, которая является врожденной для каждого человеческого существа и эволюция которого длилась сотни миллионов лет. Пусть никого не вводит в заблуждение термин «машинный язык», который, вероятно, может оказаться весьма продуктивным для других целей, но на современном этапе развития машинного перевода является даже вредным. Нет сомнения в том, что электронно-счетные машины могут манипулировать символами, когда им даются соответствующие инструкции, и делают это блестяще, намного быстрее и надежнее, чем люди; однако разница между манипуляциями разного рода символами — огромна, и небрежное обращение с терминологией никак не уменьшает эту разницу.

Были сконструированы специальные электронные приборы (в частности, перцептроны), которые в результате «тренировки» обучались выполнению определенных задач, например, узнаванию моделей (*pattern recognition*), причем после «тренировки» делали это лучше, чем до нее; электронно-счетные машины могут выполнять те или иные действия по определенной программе (например, играть в шашки) и чем дольше они обучаются этому, тем лучше выполняют соответствующие операции. Было бы, однако, совершенно неверным на основе этих нескольких примитивных проявлений искусственного мышления делать выводы о способностях этих машин к переводу. В игре в шашки определение «разрешенного хода» предельно просто, и оно, естественно, полностью сообщается электронно-счетной машине. После нескольких лет испытаний исследователям удалось формализовать ряд операций в программе игры в шашки, так что «тренировка» касалась лишь определенных изменений в последовательности ходов. «Тренировка» электронно-счетной машины для выбора правил игры в шашки уже не представляла собой проблемы; вполне возможным стало довести неполное множество правил до полного или добавить к данным ходам новые. Некоторые ученые говорят, что электронно-счетную машину следовало бы заставить производить отбор правил грамматики или дополнять заложенный в них ряд правил так, чтобы они могли перебрать более или менее длинные тексты и «индуктивно» воспроизвести их. Я должен, однако, повторить, что подобные «взгляды» весьма легкомысленны. «Индук-

ция» в данном случае это не что иное, как магическое слово. Все попытки формализовать то, что принимается за индуктивные выводы, полностью бьют мимо цели. Индуктивные машины — это мираж в еще большей степени, чем машины для самостоятельного перевода.

Как известно, дети изучают свой родной язык вплоть до полного овладения грамматикой в возрасте от 4 до 5 лет. По достижении этого возраста они, как правило, уже имели возможность слышать (и произносить) не менее сотни тысяч высказываний на своем родном языке (причем лишь часть из этих высказываний представляет собой грамматически правильные предложения). Ввиду того, что дети безусловно осваивают грамматику из этих высказываний «индуктивно», спрашивается, почему такую же способность не может приобрести электронно-счетная машина? Даже если допустить, что детям предварительно сообщается о грамматической не-правильности многих высказываний (это может быть одной из форм обучения), не может ли электронно-счетная машина повторить ту же процедуру? Ответом на оба эти вопроса может явиться лишь бескомпромиссное «нет». Дети в состоянии делать такие блестящие успехи в овладении языком потому, что, независимо от тренировки и обучения, их мозг — это не *tabula rasa*, а представляет собой, если можно так выразиться, универсальную электронно-счетную машину, такую, которая через сотни миллионов лет развития структурирована таким особым образом, что лишь она обладает *faculté du langage*, что коренным образом отличает ее от мозга мыши, мула и машины. Тот факт, что мы почти ничего не знаем об этой структуре, вряд ли делает мое утверждение само собой разумеющимся.

Годы терпеливых и квалифицированных трудов по обучению мулов осмысленному использованию языка привели лишь к тому результату, что мулы стали членораздельно произносить лишь четыре слова. А мозг мулов во многом превосходит мозг машин! Нет сомнения в том, что электронно-счетная машина может намного лучше производить ряд операций, чем мулы или люди, например, считать; но при этом нельзя забывать, что мы знаем соответствующие алгоритмы и умеем сообщать их электронно-счетной машине. Мы даже знаем алгоритмы, которые дают возможность электронно-счетной машине самой составлять алгоритмы вычислений на основе полученных данных и инструкций. Но ничего в этом роде нам не известно о языковых способностях. До тех пор пока невозможно будет сконструировать и запрограммировать электронно-счетную машину, исходное состояние которой будет подобно новорожденному ребенку, мы не имеем права «учить» электронно-счетную машину строению грамматики.

Теперь мне хотелось бы вернуться к двум упомянутым выше вопросам. Каковы перспективы усвоения естественного языка электронно-счетной машиной приблизительно в той же мере, в какой его усваивает носитель языка? Под «освоением языка» я имею в виду овладение его грамматикой, т. е. словарем, морфологией и синтаксисом (за исключением семантики и прагматики). До недавнего времени, насколько я помню, большинство из нас, специалистов, занимавшихся машинным переводом, думали, что эта цель не только достижима, но и практически легко осуществима. Признавалось, что механизация синтаксического анализа может привести к многозначности решений, сведение которых к однозначному анализу предполагалось осуществить в «камере» семантики, причем никто не принимал особенно всерьез эту помеху. Однако и здесь, в конце концов, проявилась трезвая оценка положения, которая постепенно, если я не ошибаюсь, начинает преобладать. Все большее число исследователей убеждается в том, что неприемлемость современных методов механического анализа синтаксиса (по сравнению с тем, который производится компетентным и лингвистически подготовленным носителем языка) обуславливается не только

фактом нашего недостаточного знания семантики языка (хотя и это, безусловно, правильно), но и следующим не столь поразительным фактом: грамматики, на которые опирались почти все сторонники машинного перевода, отличались крайней примитивностью. Речь идет о так называемых грамматиках непосредственно составляющих (удивительно, что этот тип грамматик породил столько вариантов). Независимо от вопроса о теоретической приемлемости структурных грамматик непосредственно составляющих для естественных языков, в последние годы стал очевидным еще и следующий факт. Если даже постараться сделать такие грамматики практически приемлемыми, то это очень дорого обойдется: потребуется поистине в астрономических размерах увеличить количество правил (это частично, хотя и не единственно, обусловливается увеличением синтаксических категорий). Таким образом, мы здесь имеем дело с весьма невыигрышным соотношением: чем лучше понимание языковой структуры и чем лучше наше владение языком, тем больше количество грамматических правил, требуемых для описания языка, тем более затяжной характер носят предварительные работы по программированию грамматики, тем более дорогостоящими становятся машинные операции по загрузке такой грамматики в машину и автоматической работе с ней.

Появление «читающих» машин вряд ли существенно изменило положение. Экономия, частично получаемая с помощью таких машин, снова утрачивается в связи с тем фактом, что машина, в отличие от человеческого обслуживающего персонала, оказывается беспомощной, когда она имеет дело со смазанным набором или с элементарными печатками. Машина не в состоянии отличить точку, обозначающую конец предложения, от точки, обозначающей десятичную дробь, и от точки, употребляемой в качестве показателя аббревиатуры, что, как известно, для человека не представляет никакого труда. Такая способность, несомненно, избавила бы переводные машины от излишней потери времени и ошибок.

В заключение я должен сказать следующее: нет никакой перспективы того, что применение электронно-счетных машин может привести к каким-то революционным изменениям в области перевода. Использование полностью самостоятельного автомата для выполнения подобной работы является совершенной утопией уже потому, что книги и журналы обычно пишутся для читателей, которые располагают определенной общеобразовательной подготовкой и способностью логически мыслить; даже самое искусное использование всех формальных признаков речи не может ни достичь, ни превзойти логического мышления человека. Надежды, которые многие из нас питали в течение десятка лет, оказались нереалистичными. Чем скорее это будет понято, тем больше шансов того, что внимание будет обращено на поиски эффективных путей действительного усовершенствования научного и технического перевода (я не компетентен говорить о литературных переводах), в первую очередь по пути разумного и всестороннего использования механических вспомогательных средств. Используя популярность, которую машинный перевод успел завоевать себе за прошедшее десятилетие, вполне возможно, что в США, в Советском Союзе или в других странах попытаются убедить общественность демонстрацией автоматического перевода целой статьи по химии или электронике с русского языка на английский или обратно, связав это с механическим чтением оригинального текста. Если бы это удалось сделать, то при сопоставлении репродукции страницы оригинала с ее «переводом» мы могли бы, видимо, настолько убедиться в ценности этого «грандиозного» начинания, что сочли бы его чуть ли не вторым спутником! Фактически же в данном случае нас ожидало бы горькое разочарование.

Возможно следующий небольшой (и довольно грубый) подсчет послу-

жит предубеждению против кажущейся заманчивости описанных выше возможностей машинного перевода. Хорошему переводчику-человеку для перевода одной страницы русской научной статьи на английский язык требуется до двух часов. Демонстрационная машина могла бы, вероятно, достичь того же результата за 1 минуту, но при этом стоимость перевода никак не отличалась бы от стоимости труда переводчика-человека. Допустим, что эту страницу прочтут сто ученых. На чтение перевода этой страницы, сделанного человеком, требуется около 6 минут, т. е. в общем 10 часов; чтение машинного перевода той же страницы займет, очевидно, 12 минут, т. е. в общем 20 часов. Таким образом, стоимость затраты труда на чтение в последнем случае будет вдвое дороже, чем в первом. Даже, если допустить, что в будущем электронно-счетные машины будут в состоянии произвести перевод этой страницы за 10 секунд с меньшей затратой средств, то это вряд ли будет иметь какое-либо значение, если при этом не будет улучшено качество перевода.

Я специально не касался бесчисленных рассуждений о возможности использования при машинном переводе устройств Science-fiction-aura. В лучшем случае эти рассуждения об использовании «обучаемых» или самоорганизующихся машин в целях машинного перевода слишком преждевременны; в худшем случае они обнаруживают бесприсяжный полет фантазии и беспечность. Я бы об этом вообще не говорил, если бы я довольно часто не встречал серьезных ученых, которые весьма увлечены этими фантастическими идеями. Однако границу между плодотворной фантазией и умозрениями, выходящими за рамки возможного, трудно провести; ни один человек, ни один ангел и ни одна машина не смогут разработать такой алгоритм, который дал бы возможность провести эту границу.

Перевел с немецкого М. М. Маковский

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

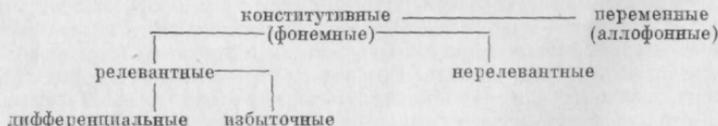
В. В. Иванов. Историческая фонология русского языка. — М., изд-во «Просвещение», 1968, 358 стр.

Обширный труд, указанный в заглавии, явился результатом длительных исследований автора в области русской исторической фонологии. Сопоставляя выводы книги с предварительными публикациями В. В. Иванова, находим большую последовательность в изложении теоретических взглядов и отработанность методики исследования, избранной автором. Книга является первым синтетическим исследованием древнейших фонемных изменений в русском языке, которое связано и с разработкой методов диахронического исследования. Очевидно, все последующие труды в этой области так или иначе будут отталкиваться от результатов В. В. Иванова, поэтому критическое рассмотрение книги представляется настоятельно необходимым. Из-за краткости рецензии невозможно ее всестороннее обсуждение. Приходится, в частности, отказаться от мысли детального разбора тех толкований и выводов автора, с которыми рецензент полностью согласен (это относится в основном ко второй части книги).

Первое, самое общее впечатление от книги состоит в недоумении, которое постепенно формулируется в вопрос: почему ее автор отказался от использования новейшей литературы предмета, связанной с изучением конкретных вопросов праславянской и древнерусской фонологических систем, а также — последних работ по исторической фонологии вообще? Создается впечатление, что, кроме

авторская автономность, потребность самостоятельного решения всех проблем без ссылки на научную традицию (исключения редки) приводит к неопределенности выводов и уклончивости заключений. Многие разделы книги завершаются словами «следует отказаться от решения этого вопроса», «судить об этом очень трудно», «вопрос остается неясным и требует изучения», «следует иметь в виду возможность иной трактовки», «его решение в настоящее время предложено быть не может» и т. д. (см., например, стр. 33, 60, 84, 95, 100, 106, 107, 108, 121, 126, 156, 194 и др.). Положение рецензента в такой ситуации еще более усложняется, если ему не ограничиваться указанием на рыхлость композиции книги, частые повторения (хорошо известный факт, что в древнерусском было всего пять пар фонем, противопоставленных по мягкости — твердости, сообщается несколько раз, см. стр. 132, 149, 173, 193 и далее) и т. п. Ниже рассматриваются и оцениваются с точки зрения современного состояния исторической фонологии только важнейшие положения книги, по поводу которых хотелось бы высказать возражения и уточнения.

Не обсуждая авторского толкования фонемы, отметим, что вообще В. В. Иванову свойственно стремление к строгому разграничению фонемных признаков; схематически их можно представить следующим образом:



ранних работ Н. С. Трубецкого, Р. О. Якобсона, А. Мартине, теория и методика диахронического исследования нигде не разрабатывалась.

По-видимому, именно эта своеобразная

В качестве примера рассмотрим характеристику фонемы /ѣ/ — ее конститутивные признаки: средневерхний подъем, передняя зона; кроме того, она нелабиализованная, напряженная, закрытая,

«более долгая» (стр. 114). О переменных признаках этой фонемы ничего не говорится, но, по-видимому, среди последних выделялась большая по сравнению с другими передними гласными палатализация предшествующего согласного. Релевантным признаком являлось отличие по компактности; это же — дифференциальный признак. Нерелевантны: передняя зона образования и отсутствие лабиальности (по мнению В. В. Иванова, в системе средневерхних не было противопоставленной к /ё/ фонемы /ё̃/); избыточными признаками являлись напряженность, закрытость и долгота — поскольку эти признаки не использовались для других противопоставлений, а в противопоставлении /ё/ всем прочим фонемам достаточно было единственного различия по компактности.

Не исключено, что можно оспорить каждый пункт данной характеристики фонемы /ё̃/. Обычно считают, что эта фонема к концу X в. реализовалась в двух важных аллофонах < ё̃₁ и ё̃₂ > различного происхождения и с различным составом конститутивных признаков; если это верно, потребуется пересмотр вопроса о компактности как единственного дифференциального признака (ДП) фонемы.

Однако в данном случае нас интересует теоретическая сторона дела. Преимущество приведенной схемы заключается в осознании той плодотворной шербовской мысли, что для исторической фонологии первостепенное значение имеют не только дифференциальные, но и конститутивные признаки (КП), что переменные признаки могут стать конститутивными и наоборот (см. стр. 22 и сл.). Фонема — лучок конститутивных, а не только дифференциальных признаков. Утрата или появление нового ДП определяется всей системой фонем — так же, как и заполнение пустой клетки этой системы. По мысли автора, все эти парадигматические изменения определяются синтагматикой, находящейся во взаимодействии с лексическим ярусом языка. Последовательное изучение такой системы и представляет собою содержание книги; это ее сильная сторона.

Тем не менее приведенная схема не работает в книге всеми своими звеньями. В конкретном исследовании, например, термин «релевантные признаки» часто заменяется термином «дифференциальные признаки» (ср. характеристику /ё̃/); это ясно и из определения, что нерелевантные признаки являются дополнительными по отношению к дифференциальным (стр. 30). Автор регулярно уходит от решения вопроса, какой признак является дифференциальным, а какой — избыточным, потому что, по его мнению, в историческом исследовании такое разграничение несущественно (стр. 33). На примере /ё̃/ показано, что в число

избыточных (т. е. излишних для данного противопоставления релевантных) входят и такие, которые можно назвать переменными (закрытость) или даже дифференциальными (долгота). По-видимому, именно эта группа признаков, роль скоро она установлена, требует наиболее тщательного изучения в историческом исследовании. Только вся совокупность известных данных приведет здесь к положительному решению.

Значение этих признаков повышается в связи с введением в историческую фонологию понятия полифонемы, под которой понимается такая фонологическая единица, которая противопоставляется к конкретной фонеме этой системы или другой полифонеме, но которая сама не является конкретной фонемой, т. е. реально не выступает в данном языке. Иначе говоря, понятие полифонемы связано с логическими построениями оппозиций фонем, но не отражает реального состава и изменений этих фонем» (стр. 35—36; разрядка наша. — В. К.). Если в оппозиции /в/ — /с/ в качестве ДП выступает место образования, то совокупность общих для этих фонем признаков и дифференциального для них признака характеризует лишь один член оппозиции, в данном случае /в/, но не /с/, поскольку, кроме /с/, в древнерусском шумной, фрикативной, твердой и передязычной (зубной) была еще фонема /з/. То же касается противопоставлений /в/ — /с'/ и некот. др. Таким образом, здесь (и ниже, см. стр. 135 и др.) полифонема выдается за средство более сокращенной записи реальных оппозиций: запись /в/ — /с₁/ указывает на противопоставления /в/ — /с/ и /в/ — /з/. Наличие полифонем определяет асимметричность системы, а поскольку вслед за А. Мартине В. В. Иванов такую асимметричность системы считает основной причиной фонемных изменений, понятие полифонемы в его концепции приобретает важное значение.

Обращает внимание, что полифонемы В. В. Иванова всегда связаны лишь с теми признаками, которые в последующие эпохи стали дифференциальными и для не полифонемного члена оппозиции — только по мягкости — твердости или глухости — звонкости у согласных. Например, оппозиции к полифонемам /в/ — /с₁/, /в/ — /с₁/ или /т/ — /с₂/ можно представить следующим образом:

(а)	(б)	(в)
/в/ — /з/	/н/ — /з/	/т/ — /с/
≠ — /с/	≠ — /с/	≠ — /с'/

Очевидно, полифонема — иначе записанная пустая клетка парадигматической системы, которая в конечном счете мыслится как логически встроенная в реальную систему единица. Назначение

этой единицы можно понять следующим образом.

Прежде всего, неверно все изменения парадигматической системы сводить к заполнению пустой клетки¹. Сравнение (а) и (б) указывает на различия в реализации одной и той же оппозиции: после утраты редуцированных *а* и *и* фонема */v/* получила глухую пару */ф/*, а */п/* осталась в полифонемной оппозиции — и связано это с предварительным изменением ДП у */v/* (губно-губной → губно-зубной), тогда как противопоставление */п/* — */с/* до сих пор не «расширено» языком. Сравнение */а/* с */v/* указывает на различие оппозиций: */т'/* возникает по другим причинам, чем */ф/*. Следовательно, асимметричность системы не гарантирует изменения в парадигматике. Между тем ориентация на функциональную систему и недостаточная разработанность системы вокализма приводит к преувеличению роли консонантной системы. Причину этого можно видеть также в характере материала и в принципах его изложения. Описание материала дается по синхронным срезам. Всего устанавливается три среза (это определяет и композицию книги): 1) конец X — начало XI в., 2) середина XI в. и 3) середина XII в. Описательная часть в каждом разделе строится по общему плану. На синхронном срезе автор устанавливает 1) частные системы фонем, выступающие в различных фонетических и морфологических условиях, 2) позиционные разновидности фонем (там, где это позволяет материал), 3) ДП фонем синхронной системы и 4) существующие на этой основе оппозиции фонем, а также 5) их функциональную нагрузку и 6) коррелятивные отношения гоморганых фонем в связи с их возможной нейтрализацией. Полностью описана только исходная система, две последующие в интересах краткости сокращены.

Все изменения принимаются как уже завершённые: «вопрос о том, как протекало развитие тех или иных явлений и когда оно, это развитие, привело к становлению новых отношений, оказывается не столь существенным, если известно, что такое становление действительно произошло» (стр. 292); «При таком изучении важен не процесс, а результат» (стр. 191), тогда как причины изменения или его хронологические границы не имеют значения. Можно было бы сказать, что для историка языка все сказанное — по меньшей мере странно, однако сам автор в третьей части книги (вообще наименее удачной по отобранному для исследования вопросам, а так-

же по оригинальности сообщаемых сведений), кратко говорит о возможных причинах соответствующих изменений и о времени их развития. Из этого делаем вывод, что именно исследование «по срезам» диктует ему в предыдущих разделах книги недоверие к проблеме «развития».

Наконец, следует отметить еще одну особенность книги: рассмотрению подвергаются только те изменения, которые связаны с ведущими фонемными преобразованиями соответствующей эпохи (только они приводят к различиям на синхронном срезе). Так, на втором срезе изучается только вторичное смягчение согласных, на третьем — образование корреляции по мягкости — твердости и глухости — звонкости. Таким образом, это не объективное изложение разноразличного развития фонемных единиц, а подбор фактов для доказательства теоретических построений автора, которого интересуют синтагматические системы трех древнейших синхронных срезов с точки зрения фонемных преобразований в консонантной системе. Отсюда, между прочим, и элиминация важнейших изменений в области вокализма. Этим же можно объяснить и сведение парадигматической системы к синтагматической, причем только на тех этапах развития русского языка, когда происходят изменения, «запрограммированные» в полифонеме. Полифонема — это композиционный стержень в очень разбросанном изложении специально отобранных фактов. Вместе с тем — это наложение на древнерусскую систему оппозиций, свойственных языку в более поздние эпохи и явившихся результатом изменения древнерусской системы. Изложение в книге приобретает характер тщательно замаскированной ретроспекции, которую в данном случае невозможно принять по следующим причинам: 1) в исходной системе описываются все последующие изменения (например, противопоставление по мягкости — твердости соотносено со вторым синхронным срезом, а не с третьим, как это было на самом деле и как это признается большинством исследователей), 2) в результате последовательно несколько преувеличивается древность соответствующих изменений (образование корреляции по мягкости — твердости как результат уже вторичного смягчения полумягких), 3) т. е. тем самым фактически отрицается всякое изменение на том основании, что оно уже «заложено» в исходной системе.

Сказанное требует нескольких разъяснений, прежде всего относительно источников исследования и реконструкции исходной системы, которой придается такое большое значение.

¹ Подобно тому, как это сделано в статье: В. В. И в а н о в, О некоторых вопросах изучения фонологических отношений в истории языка, «Проблемы современной лингвистики», М., 1968.

Основным (с нашей точки зрения — единственным) источником стали «Материалы для древнерусского словаря»

И. И. Срезневского. По схеме Н. С. Трубецкого на этом материале воссоздаются различные типы оппозиций. Словарь И. И. Срезневского не дает всей лексики древнерусского языка (новые материалы, например, новгородские берестяные грамоты, были бы полезными) и тем более не отражает всех возможных словоформ, которые особенно важны для рецензируемого исследования. Поэтому автор вынужден реконструировать некоторые формы параллельно зафиксированным как теоретически возможные. Это приводит к смешению «уровня модели» и «уровня словоформы», которые в книге принципиально разграничены. Частые оговорки относительно того, что слово отмечено в XIV или XV в., но могло быть и в XI в., также не способствуют точности исследования, тем более, что не учитывается различная частотность лексем (и словоформ), привлеченных в качестве материала (подобную информацию может дать только исследование текста, а не словаря).

Оставляем в стороне вопрос о важности для исторической фонологии изучения письменных памятников и современных архаических говоров — в принципе против этого не возражает и автор (стр. 48), однако в книге памятники упоминаются только тогда, когда нужно указать, что они не отражают какого-то изменения [ср. замечание о произношении /ш' ч'/ на стр. 127, что, кстати, неверно, учитывая многочисленные написания *ш* на месте *щ* параллельно с написанием *ж* (*же*) на месте *жд* (*же*)]. Неясно, на чем основано убеждение автора, что новый взгляд на предмет не требует повторного самостоятельного изучения первоисточников; при изучении вторичного смягчения согласных и генерализации ДП «дзезность — недзезность» обращение к письменным памятникам оказалось бы очень эффективным ввиду последовательного отражения мягкости согласных на письме. Фонологическая закономерность, согласно которой при ассимиляции по определенному признаку ассимилируется та фонема, для которой данный признак нерелевантен (и наоборот), требует внимательного изучения всех случаев ассимиляции согласных по мягкости — твердости или глухости — звонкости, отраженных древними писцами, потому что традиционная историческая фонетика ограничилась иллюстрациями таких ассимиляций, не обращая к их системному обследованию с целью уяснить характер и принципы взаимного отношения соответствующих согласных в древнерусском языке.

Основанная на таком неопределенном материале реконструкция исходной системы имеет существенные изъяны. Если даже не касаться вопроса о том, что некоторые квазиомонимы, взятые для сравнения, в древнерусском языке вхо-

дили в различные стилистические пласты (такую возможность не отрицает и сам В. В. Иванов), а диалектное варьирование систем вообще не изучается, некоторые особенности реконструированной исходной системы вызывают сомнения.

Например, вряд ли до утраты редуцированных (или незадолго до этой утраты) единственной фонемой задней зоны без лабиализации была /а/ (как в современном литературном языке, ср. стр. 87—88, 109, 222 и др.). Поскольку имеются основания говорить о праславянском типе «аканья», т. е. о совпадении /а/ и /о/ (независимо от того, как относиться к этой гипотезе, следует учесть, что даже северные памятники XI в. отражают такое смешение), можно допустить, что обе эти фонемы были нелабиализованными (см. ниже). Последние исследования показывают также, что в конце X в. /ѣ/ не была еще фонемой средневерхнего образования, а это меняет всю конфигурацию парадигматических отношений². В отличие от прежних своих работ, здесь, хотя и со многими оговорками (стр. 61, 65, 67, 73 и др.), В. В. Иванов справедливо исключает из состава фонем древнерусского языка /ѡ/. Отсутствие /ѡ/ также указывает на иную степень компактности /ѣ/ в соответствующую эпоху — поскольку эти две фонемы всегда изменяются параллельно и характеризуются соотносимыми признаками.

В систему не включена хотя и функционально слабая, но тем не менее самостоятельная фонема /у/ ≤ /ю/³, противопоставленная фонеме /у/ по ряду, а фонеме /и/ по бемольности. Ее изменения аналогичны изменениям /е/; как и последняя и в отличие от /о/, фонема /ю/ противопоставлена была /у/ не одним, а двумя ДП. Поскольку при фонемном изменении фонема никогда не утрачивает больше одного ДП сразу, деналабиализация компактных носовых привела к совпадению /ѡ/ ≥ /у/, но сохранила /ю/ ≥ /у/, так же, как и /е/ ≥ /а/. Очень выразительно писцы XI в. пытались передать различие в сочетаниях типа [l'u], [l'ju], [lu], [lo] обозначениями соответственно лю, лв, лоу, лѡ(лж) ср. волю, земаг, волюу (дат. ед. муж. р.), млоуу (вин. ед. жен. р.). Только с конца XI в. писцы смешивая написание типа лю-лв — так же, как они

² В. К. Ж у р а в л е в, Из истории вокализма в праславянском языке позднего периода, ВЯ, 1963, 2.

³ В. Ф. М а р е ш, Происхождение славянского носового \ddot{u} ($\dot{i}\rho$), ВСЯ, 7, М., 1963; G. S h e v e l o v, On endings with nasal consonants after palatal and palatalized consonants. An inquiry into the allophonic structure of Common Slavic, «Die Welt der Slaven», X, 3—4, 1965.

смешивают параллельные этим написания *ли-ла*⁴. В такой ситуации различие /y/ — /y/ грозит упрощенным толкованием исходной системы (стр. 89), прежде всего, в части сочетаний согласных с последующим /y/ (стр. 166 и сл.) и во всех замечаниях о переменных признаках этой фонемы (стр. 112 и сл.).

В других случаях неясным остается ДП, различающий соответствующие фонемы. По мнению В. В. Иванова, в оппозициях /ь : о/, /ь : е/ дифференциальным был признак сверхкраткости редуцированных, делавший /ь/ маркированными членами данных противопоставлений. Очевидно, речь идет о неоднократно отмечаемой (стр. 88, 108 и др.) привативной оппозиции по признаку «сверхкраткость — нормальная краткость». Если же учесть, что в ряде случаев говорится не о «нормальной краткости» гласных, а о том, что одна из них является «более долгой» (/ě/, стр. 111), другие — «более сверхкраткими» (слабые редуцированные, стр. 122), наконец, просто краткими и просто долгими (хотя неясно, почему, например, /y/ выделяется нормальной краткостью в X в., стр. 90), вполне естественно в конце концов получить заявление (стр. 219, 220), что в связи с сохранением редуцированных в качестве ДП в ряде случаев выступали и количественные различия. Наличие ДП ставится в связь с наличием двух фонем, дифференциальные признаки которых с избранных позиций трудно определить. Между тем, если, как обычно считают, долгие гласные определены противопоставлялись кратким (/ā : /ā/), а сверхкраткие — кратким же (/ь : /ā/), мы не можем говорить об «этимологическом» количестве гласных как о ДП; троичная система количественных противопоставлений вообще невозможна в языке. Даже в качестве «слабого звена» в системе ДП признак сверхкраткости невозможен в древнерусской системе с начавшимися в результате образования новоактовой интонации изменениями интонационно-количественных отношений. Действительно, некоторые факты рукописных источников (например, смешение слабых еров не только с о, е, но и с и, у) показывают, что ДП в оппозиции /ь : о/ была степень компактности.

Ряд поправок можно было бы внести и в исходную консонантную систему. Так, вряд ли верно, что в X в. фонема /в/ была губно-зубной (стр. 129, ср. замечание автора на стр. 321), а между тем при определении полифонемы в оп-

позиции /в/ : /с/ ДП является, по автору, «губно-зубность — зубность» (стр. 35).

Таковы замечания относительно состава фонем исходной системы, который, по мысли автора, можно установить на уровне модели, т. е. «путем определения состава тех элементов звуковой системы, которые могут находиться в тождественных фонетических условиях и противопоставляться тем самым друг другу» (стр. 40). «Для установления степени функциональной нагрузки необходимо перейти с уровня модели на следующую ступень фонологического исследования — на уровень словоформы» (стр. 42) и на основе сопоставления ряда квазимонимов определить функциональную нагрузку соответствующих оппозиций. Другими словами, уровень модели — это функциональная возможность, которую можно предсказать теоретически, уровень словоформы — функциональная действительность, реализованная в словаре: ср. модель /д'а/ — /ч'а/ *цата* *цаде* и под.), которая на уровне словоформы не реализуется (потому что не обнаружено квазимонимов типа *цата* — **цата* или *чаде* — **цаде*) и по этой причине является функционально не нагруженной. Такое сужение понятия модели в конечном счете всю проблему сводит к установлению *n*-го числа квазимонимов (ср.: «для определения состава ... необходимо и достаточно установить возможность и наличие определенных моделей», стр. 57) — отдельно для положения в морфеме и на стыке морфем. Эта часть работы выполнена исключительно добросовестно и, в меру данных словаря И. И. Срезневского, исчерпывающе. Изучение функциональных связей фонем в древнерусском языке является важной заслугой автора; особенно интересно установление сильных и слабых оппозиций, прежде всего внутри морфем. Составленные В. В. Ивановым таблицы и списки после внесения необходимых поправок окажутся важными в дальнейшем изучении проблемы. Однако видеть в расхождении между уровнями модели и словоформы одну из основных возможностей развития фонологической системы (стр. 63), ставившейся на этом основании «неустойчивой» и «несимметричной» (стр. 85), вряд ли можно без серьезных оговорок. Это расхождение (если оно не обязано неполноте наших сведений о древнерусской лексике) может объясняться обычным для языка стремлением к избыточности (уровень избыточности, как правило, находится около 50%), которое само по себе не ведет к фонемному изменению.

К сожалению, квазимонимы, используемые В. В. Ивановым, являются скорее всего только графическими. Автор последовательно устраняет из исследо-

⁴ Это отмечал еще А. И. Соболевский; см. его работу «Как произносилась в Древней Руси *y* (ижца) после согласных?», РФВ, 1882, 2.

вания просодические ДП, хотя и признает для древнерусского (на всем протяжении его развития) различия по интонации. Абсолютные квазиомонимы типа *вкряу* — *вкряу*, *жену* — *женю* или *стракю* — *стракю* (стр. 179) с полным совпадением интонации и иктуса (накоренное акцентное ударение в первой, наконецное во второй и накоренное с циркумфлексовой интонацией в третьей паре) являются, по-видимому, случайными. Чаще же всего в книге предлагаются условные квазиомонимы типа *лбѣ* — *лбѣтѣ* *любѣмъ* — *зубѣмъ*, *любѣ* — *шоубѣ* (стр. 168), *вкѣа* (род. ед.) — *вкѣа* или *вкѣа*, *кѣа* — *кѣа*, *прѣтѣку* — *прѣтѣшѣ* (стр. 171), *рѣкѣу* — *рѣкѣу* *могѣу* — *мѣшѣу* (стр. 172) и мн. др. (взятые из книги сопоставления даются с указанием ударения и интонации). Пары типа *любѣ* (им. ед. жен. р.) — *зубѣ* (им. мн. муж. р.) различались не одним составом фонем. Более того, в эпоху группофонем и свободной интонации в противопоставлении /л'у/ — /з'у/ общий для слога признак был важнее характера его консонантного элемента. В этом и заключается, по-видимому, одно из оснований для выделения группофонем в позднем праславянском: важные признаки слога, а не фонемы. Появление консонантных протезов перед свободным вокалом или, наоборот, «неорганических» гласных после свободного консонанта подтверждает эту мысль.

В. В. Иванов ничего не говорит о группофонах, очевидно, не желая вдаваться в спорные вопросы праславянской истории. Зато он много внимания уделяет древнерусским слогабемам — явлению, функционально сходному с праславянскими группофонами. В отличие от последних, слогабема⁵, по-видимому, обладала только некоторыми общими для *С* и *V* ДП — остальные уже распределились между гласным и согласным элементами слога, давая начало полному разрушению функционального единства слога. В. В. Иванов прав, ограничивая сферу слогабемы синтагматической системой, однако согласится с тем, что система слогабем оказалась полностью (или существовало) разрушенной сразу после вторичного смягчения согласных, невозможно. Представляется, что именно принятие «полифонемы» наталкивает автора на этот преждевременный вывод: полифонема навязывает системе отношения, еще не отработанные в языке.

Рассмотрим соображения автора относительно того, слогабема или фонема являлась основной синтагматической единицей после вторичного смягчения согласных.

1. Возражая Р. И. Аванесову, В. В. Иванов дает сопоставления

- (а) [т'и] — [т'е] — [т'е] — [т'ь] . . .
 [ты] — [ту] — [то] — [тъ] . . .
 (б) [ч'и] — [б'и] — [д'и] — [с'и] . . .
 [чы] — [бы] — [ды] — [сы] . . .

которые, по его мнению, доказывают фонематичность гласных (ряд а) или согласных (ряд б), см. стр. 200, а также 274 и др. Оставляем в стороне сопоставления второго рода — они не доказательны с позиций самого автора, поскольку для одного и того же периода он поразному трактует фонематичность /ы — и/ (см. стр. 87 и далее 216, 218, иначе 226 и проч., на стр. 222—224 «аллофоны» фонемы /ы — и/ выступают в самостоятельных оппозициях к другим фонемам, и т. д.). Что же касается первого сопоставления, то оно несколько не опровергает самостоятельности слогабемы, потому что речь идет не о парах типа [т'и] — [т'е], а о парах [т'и] — [ты] (не горизонталь, а вертикаль как направление сопоставлений). Нерасчетливость сочетания $C^{\circ}V$ или $C^{\circ}V$ с точки зрения одного общего ДП — это и есть синтагматическая слогабема. Другое дело — противопоставление типов [т'е] — [то] и [т'и] — [ты]. В. В. Иванов справедливо различает их в том смысле, что вторые члены оппозиций не совпадают общими признаками: [то] обладает признаком бемольности, а [ты] — нет (вопрос заключается в том, когда возникло такое расхождение приведенной пары).

2. Фонематичность гласных или согласных доказывается также возможностью изоляции гласного от согласного (стр. 207 и сл.). Между тем свободный гласный (в начале слова) вообще проблематичен для описываемой эпохи: в синтагматической цепи (а именно она и интересует автора) он образовал бы недопустимое звяние. По-видимому, еще на предшествующих этапах общим правилом явилось образование дзезной или бемольной (в зависимости от характера следующего гласного) протезы, которая и составила с гласным фонетический слог. При разложении слогабемы такая протеза частично фонологизировалась как консонант /j/ или /ч/ (ср. диалектные [ju]тка, [so]сна и под.), хотя в принципе как результат синтагматического изменения протеза не являлась элементом стабильным. Для древнерусского только в одном случае можно допустить позиционную свободу гласного /ä/ (в примерах типа *озеро*). Фонетическая изолированность согласного в

⁵ По мнению Р. И. Аванесова, слогабема образуется в результате вторичного смягчения согласных; следует добавить: и после фонологизации новоакута и сокращения неновоакутированных долгот.

этот период еще более проблематична⁶, но и в тех случаях, где она была (в группах *ске, стр, скр* сочетания [ск], [ст] никогда не разграничивались, почему и высказано, может быть, ошибочное мнение об их однофономности⁷), она касается только непалатализованного согласного. Поскольку свободный *st* не противопоставлен в этой позиции *t'*, а свободный [ä] также не противопоставлен никаким гласным, мы не можем говорить об их фонемном статусе.

3. Сопоставляя примеры типа *вѣра* и *вѣрѣ* (различие /р/ и /р'/) с формами *вѣрѣ* и *вѣрѣ* (совпадение в /р'/), В. В. Иванов видит в этом нейтрализацию твердости — мягкости в позиции перед передними гласными (стр. 212, 269)⁸. Проблема фонологической нейтрализации на исследуемом материале вообще подана противоречиво (ср. высказывание на стр. 31, 108 и сл., 151, 212 и сл., 268, 317 и др.); так как сам автор на стр. 110 справедливо разграничивает нейтрализацию и дистрибутивное ограничение, а также последовательно выделяет положение фонемы внутри морфемы и на стыке морфем, нам остается лишь сослаться на эти удачные замечания и распространить их на приведенные в начале пункта примеры: дистрибутивное ограничение в положении перед /ѣ/ вряд ли доказывает самостоятельность согласных до утраты редуцированных. Между вторичным смягчением и утратой редуцированных могли совмещаться мягкие и смягченные основы (например, типы **jo* и **i* для имен муж. рода); взаимодействие твердых и мягких основ в эту эпоху проблематично.

Некоторые априорные предположения автора как будто поддерживают его выводы. Так, вероятно, что в положении после палатальных («исконно мягких») согласных /а/ и /ä/ сближались по

⁶ Это доказывает обширный исторический материал, приведенный в исследовании: В. М. Марков, К истории редуцированных гласных в русском языке, Казань, 1964.

⁷ H. Galton, Eine altkirchenslavische Konsonantenverbindung, ZfslPh, XXII, 2, 1954.

⁸ Этот пример дополнительно указывает на важность привлечения исторических фактов. Сближение основ мягкого склонения с твердым (вѣрѣк вместо вѣрѣн) на рубеже XI—XII вв. отражено только (редкими и мало надежными) примерами из северных рукописей и притом наряду с другими примерами смешения *n/k*. Так как именно на севере впоследствии обычным стало выравнивание по мягкому типу, такие примеры вообще ненадежны. Лишь с XIII в. тип вѣрѣк можно признать продуктивным в диалектах — но в это время уже не было силлабем.

своему качеству, в результате чего здесь возникла позиция нейтрализации (стр. 112, 117, 202) — уже для гласных, а не согласных, хотя вообще автор (вопреки многочисленным данным) отрицает возможность нейтрализации гласных в древнерусском (стр. 109). На самом деле, памятники середины XI в. отражают

смещение силлабем типа $\frac{p\dot{a}}{p\dot{a}} > p\dot{a}$ при последовательном сохранении сочетаний веларных и лабиовеларных согласных *са* (та, ма и др.). Однако поскольку одновременно с этим и в тех же памятниках

происходит совпадение слогов типа $\frac{p\dot{e}}{p\dot{e}} > p\dot{e}$ (здесь не было изменения тембра гласных), следует говорить об изменении согласного, а не гласного, т. е. о вторичном смягчении гомогорных палатальных палатализованных сонорных. Это заключение подтверждается параллельным изменением сочетаний сонорных с [y] и [y] и отсутствием аналогичного изменения после шипящих — также «исконно мягких», но не имевших полумягких аллофонов. Очевидно, во всех описанных преобразованиях, как они отражены в памятниках, имеем дело не с фонемными изменениями гласных, а с этапом вторичного смягчения согласных.

На приведенном примере можно видеть также процедуру выделения аллофонов в древнерусском: автор исходит не из происхождения или последующего изменения соответствующей фонемы, а из сопоставлений, в данном случае сопоставлений с современным литературным языком — в последнем гласный после палатального передвигается вперед; аналогичное положение, по мысли В. В. Иванова, было и в древнерусском, где [p'a] ≥ [p'ä] = [p'ä]. Это только одна из издержек исследования по синхронным срезам, которое историю заменяет типологией.

Типологические сопоставления вообще продуктивны, когда касаются сходных систем. Приведением одного примера, кстати связанного с принципом силлабемного членения, и хочется закончить рассмотрение книги. Окончательное распадение силлабемы происходит не только в связи с унификацией *t'* (в отличие от *t*), т. е. перенесением диезности слога на согласный; необходимо было завершение второго, связанного с этим обратной связью процесса — перенесения бемольности слога на гласный: до утраты редуцированных в слогах типа *t'e* — *to* было не противопоставление мягкого согласного твердому (одним признаком, см. стр. 234), а палатально-го — (лабио)веларному; это оппозиция по двум ДП. Любопытно сопоставление с архаическими северновеликорусскими говорами. Как и в древнерусском, здесь

выделяется повышенная мягкость перед верхним и средневерхним ($i^{\prime}i$, $i^{\prime}e$) и повышенная лабиализация перед верхним и средневерхним ($i^{\prime}u$, $i^{\prime}o$) при нормальной палатальности и велярности перед средними и нижними ($i^{\prime}e$, $i^{\prime}a$ и to , ta). Сохранение «степеней» мягкости или твердости согласных доказывает, что они не стали различительным средством консонантизма. Вместе с тем, «повышенная» палатальность функционально связана с «повышенной» велярностью (лабиовелярность), т. е. $i^{\prime}e - i^{\prime}o$, но $i^{\prime}e - to$. Это указывает не только на взаимную связь гласного и согласного в пределах слога, но и на какую-то зависимость слоговых признаков от парадигматической системы вокализма. Характерно, в частности, что именно такие (архангельские) говоры почти не различают /a/ и /o/: в говоре фонема /o/ не имеет признака лабиальности. Все ска-

занное вносит необходимые поправки в реконструкцию, предложенную В. В. Ивановым.

В заключение следует еще раз подчеркнуть принципиальную важность первого обобщающего исследования по русской исторической фонологии. Автор проделал большую работу по восстановлению функциональных систем двух древнейших синхронных срезов, увязывая фонемные изменения с изменениями на других уровнях языка (прежде всего, на лексическом и морфологическом). Учитывая сложность такой работы, можно думать, что она не скоро будет повторена в таком же объеме. Уже по одному этому ни один последующий исследователь не сможет пройти мимо книги В. В. Иванова, проверяя свои заключения на ее просчетах и достижениях.

В. В. Колесов

М. Андроникашвили. Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям. I. — Тбилиси, изд-во Тбилисск. ун-та, 1966. 638 стр. (на груз. яз.)

Рецензируемая книга подводит итог серии изысканий, которые М. К. Андроникашвили ведет в течение ряда лет и сообщения о которых публиковались отдельными статьями в различных специальных изданиях, неизменно привлекая внимание как иранистов, так и грузинистов. Теперь перед нами солидный том, составляющий к тому же только первую часть намеченного исследования об иранских элементах в грузинском. Книга не просто суммирует ранее опубликованные статьи, но дает научный синтез и систематизацию как всего ранее выявленного, так и обширного нового материала. Она снабжена русским (стр. 521—543) и английским (стр. 547—571) резюме, обширной библиографией (стр. 572—587) и указателями слов (стр. 589—633), которые делают книгу удобной для пользования.

Иранские элементы составляют значительную и весьма весомую по важности часть грузинской лексики. Они пронизывают весь грузинский словарь, все его сферы, начиная от самых обыденных, конкретных понятий и кончая высокими абстракциями. Из всех инородных элементов в грузинском иранские стоят на первом месте как по количеству, так и по значению; в этом отношении грузинский язык можно сравнить с армянским. В грузинском дело осложняется тем, что здесь приходится считаться не только с южными, персидскими, дарфянскими и мидийскими, но также североиранскими, скифо-сармато-аланскими элементами, представленными

в армянском лишь единичными фактами.

Такая картина находит свое объяснение в исторических судьбах грузин и армян. В течение многих веков они испытывали культурные влияния со стороны иранских народов. В VII в. до н. э. на юг от Каспия образовалась могущественная ираноязычная Мидийская держава, включившая в свой состав и некоторые области Закавказья. С VII в. начинаются вторжения на Кавказ и в Малую Азию североиранских, скифских и сарматских племен. С этого времени и вплоть до конца XVIII в. Армения и Грузия находились в сфере культурного и языкового воздействия Ирана в широком смысле — мидийского, ахеменидско-персидского, парфянского, сасанидско-персидского, новоперсидского, североиранского. Это воздействие особенно усиливалось, когда Армения и Грузия попадали в политическую зависимость от Ирана. В определенные периоды истории вся культурная верхушка грузинского и армянского народов были двуязычной, владея иранской речью так же свободно, как своей родной, а двуязычие всегда создает особенно благоприятные условия для широкого проникновения чужой лексики в родной язык.

Таким образом, выделение и изучение иранских элементов в грузинском представляет огромный интерес как в лингвистическом, так и историко-культурном отношении. Без выявления и систематизации этих элементов невозможно,

в частности, составление полного и надежного грузинского этимологического словаря. Без этого нельзя также восстановить полную и ясную картину ирано-грузинских культурных связей на протяжении всей истории грузинского народа. Объем, состав и характер иранской лексики в грузинском — это важный лингвистический комментарий к культуре, а отчасти и политической истории Грузии¹.

Нельзя сказать, что до автора рецензируемой книги никто не отмечал иранских заимствований в грузинском. Еще Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725) пытался в своем «Грузинском лексиконе» давать указания на инородное, в том числе и персидское происхождение некоторых грузинских слов («*alami* — *sp'arsulad droša*; «*sp'asalari* *sp'arsulia*, *kartulad sp'asp'et'i hkvia*»; «*parisxi* *sp'arsulad ešsa hkvia*» и др.)². Иранские этимологии отдельных грузинских слов имеются в трудах Г. Гюбшмана, А. Меие, Н. Я. Марра, Юстина Абуладзе, Ильи Абуладзе, Г. Ахведиани, А. Шанидзе и др. исследователей. Пометы о персидском происхождении грузинских слов даются в Грузинско-русском словаре Д. Чубинова и в новейшем Толковом словаре грузинского языка под редакцией А. С. Чикобава. Однако то, что выявлено в прежних работах, и то, что снабжается пометой «*sp'arsuli*» в словарях, составляет лишь часть иранского лексического фонда в грузинском. Это — в большинстве новоперсидские слова, лежащие, так сказать, на поверхности и различимые даже невооруженным глазом (*Fremdwörter*).

Главным же предметом исследования в рецензируемой книге явилась наиболее интересная категория иранской лексики в грузинском — слова, давно и глубоко вошедшие в ткань языка, чужеродный характер которых, время и условия их заимствования вскрываются путем специального лингвистического и историко-культурного анализа (*Lehnwörter*). М. К. Андроникашвили в своих работах о самого начала считалась с тем, что тысячелетия бытования иранских слов на грузинской почве могли сильно из-

менить как их звуковой облик, так и семантику³. Для того, чтобы распознать и систематизировать такие «скрытые» иранские элементы, завуалированные в процессе многовековой адаптации, недостаточно общего знакомства с иранской и грузинской лексикой. Тут требуется отличное знание иранского материала на всех его хронологических уровнях, древнем, среднем и новом, во всех его диалектных разновидностях, западных и восточных; знание грузинских письменных памятников, начиная от самых древних; знание фонетических и словообразовательных структурных особенностей картвельских языков, без чего никак не понять тех преобразований, которым нередко подвергаются иранские слова на грузинской почве; наконец, поскольку многие иранские слова попадали в грузинский через армянское посредство, то и знакомство с армянскими фактами становится существенным условием успешной работы над иранскими элементами в грузинском

Метод, которым работает М. К. Андроникашвили, вполне отвечает поставленной задаче. Иранские слова в грузинском неизменно до к о м е н т и р у ю т с я памятниками грузинской письменности. Таким образом устанавливается *terminus a quo* для каждого заимствования. И хотя дата первого появления слова в памятнике не обязательно является датой его первого проникновения в язык, все же подобная документация дает некоторую ориентировку как в абсолютной, так и относительной хронологии заимствований. Кроме того документация позволяет судить о том, в памятниках какого жанра употреблялось то или иное слово и в какой социальной среде оно имело во преимуществу хождение. Такое сочетание лингвистического подхода с филологическим всегда бывает плодотворно, и оно и на этот раз полностью себя оправдало.

Устанавливая иранское происхождение тех или иных грузинских слов, автор пользуется точными методами историко-сравнительной лексикологии. Иранский материал, привлеченный автором, безупречен и не содержит никаких неточностей.

Иранские слова на грузинской почве иногда настолько далеко отходят по внешнему облику и по семантике от своих прототипов, что их связь может показаться сомнительной и проблематичной. До исследования М. К. Андроникашвили вряд ли кто-нибудь сомневался, например, что слова *c'minda* «чистый», «святой», *martali* «правдивый» являют-

¹ Для армянского работа по выявлению иранских элементов была проделана свыше 70 лет назад: Н. Hübschmann, *Armenische Grammatik*, I. Teil. — *Armenische Etymologie*, Leipzig, 1897, стр. 17—280.

² Любопытно, что С. Орбелиани иногда поясняет одно иранское слово другим, тоже иранским (*sp'asalari* = *sp'asp'et'i* «военачальник»). Это говорит о том, что для некоторых понятий в грузинском литературном языке того времени вообще было трудно обойтись без иранских терминов.

³ М. К. Андроникашвили, Из иранско-грузинских лексических взаимоотношений, «Труды Института языкознания [АН Груз. ССР]», Серия восточных языков, II, 1957, стр. 185.

ся исконо грузинскими. Автор убедительно связывает *c'minda* с авест. *spənta* «святой», а *martali* с др.-иран. *arta* «правда». Ей удалось показать, что процессы преобразования и приспособления иранских слов на грузинской почве подчинены определенным закономерностям, словообразовательным и фонетическим. К примеру, сближение груз. *martali* с др.-иран. *arta* — она обосновывает тем, что, попав на грузинскую почву, иран. *arta* — было оформлено по привычной словообразовательной модели с классным показателем *m-* в начале и суффиксом-детерминантом *-l-* в конце: из *arta* — получилось *martali*, как из пехл. *aspanj* — груз. *masp'ingeli* «хозяин (в отношении гостя)». Эта модель и поныне является живой и продуктивной в грузинском (*masc'aveleli* «учитель» и т. п.)

Определенным правилам подчинена и субституция одних звуков другими при переходе из иранской почвы на грузинскую (см. стр. 57—75 и 182—215). Большинство этих закономерностей впервые установлены автором и по праву могут называться законом М. К. Андроникашвили — например, аффрикатизация сибилянтов *s* → *c*, *z* → *č* (иран. *spənta* → груз. *c'minda* «чистый», «святой» и т. п.).

Около 900 грузинских слов получили в рецензируемой книге этимологическое и историко-филологическое освещение. А ведь в первом томе затронуты только древне- и среднеиранские элементы. О новоиранских элементах, надо думать, речь будет в следующем томе.

Разумеется, в работе такого масштаба могут оказаться и некоторые уязвимые моменты. Среди сотен ирано-грузинских параллелей может найтись несколько таких, в отношении которых предлагаемое автором решение не всеми будет признано окончательным.

Исходя из совершенно правильной мысли, что иранские элементы надо искать не в каких-то специальных и ограниченных сферах грузинской лексики, а во всем словарном составе, включая и основной лексический фонд, М. К. Андроникашвили, возможно, несколько увлеклась и дала иранский паспорт некоторым исконо картвельским словам. У меня, например, вызывает сомнение разъяснение груз. *zaxva* «говорить», «разговор» в связи с иран. *zurah-* «зло», «ложь» (стр. 88—89), груз. *codva* «грех», «жалость» в связи с осет. *caud* «низкого качества» (стр. 123), груз. *cmeli* «жир» в связи с осет. *сэм* «талый снег» (стр. 122), груз. *čec'k'vi* «щепочка» в связи с осет. *сæг* «звено» (стр. 124—125) и нек. др. Грузинские *čec'k'vi* «щепочка» и *čac'vi* «цепь» представляются не двумя разными по происхождению словами, а одним и тем же словом, оформленным в первом случае по грузинской, а во втором — по мегрельской норме. Иными

словами — здесь один из тех нередких случаев, когда в языке сосуществуют две диалектные нормы, и их различие используется для семантической дифференциации (в таком же соотношении найдется, скажем, груз. *cxeli* «горячий» и *cxari* «жгучий»). Поэтому всякая этимология слова *čec'k'vi*, не считающаяся с формой *čac'vi*, внушает сомнение.

Некоторые предлагаемые автором этимологии могут оспариваться как основанные на недостаточности строгих семантических критериях. Верно, что заимствованное слово, попадая в новую систему ассоциаций и оппозиций, начинает жить новой семантической жизнью. Но в любом случае значение слова в данном языке остается семантическим ядром, из которого надо исходить. С этой точки зрения возведение груз. *zari* «ужас» к перс. *zahr* «яд» (стр. 322—323) не кажется таким очевидным, как думает автор. Груз. *zari* «ужас» естественно связать с осет. *azar* «ужас», перс. *āzār* «обида», «оскорбление» (с отпадением начального *a-*, как в *ludi* «швио» из *aludi*). Особенно близко по смыслу груз. *zari* к осет. *azar* — едва ли не все оттенки значения и употребления совпадают в обоих языках.

Два замечания по поводу построения книги. Она включает три главы: 1. Древнеиранские элементы в грузинском; 2. Среднеиранские слова в грузинском; 3. Личные собственные имена иранского происхождения. Раздел о словах скифо-сармато-аланского происхождения включен целиком в главу о древнеиранских элементах. Между тем, среднеиранские элементы входили в грузинский в разные эпохи вплоть до нового времени, и ставить их все в один ряд с мидийскими, древнеперсидскими и авестийскими элементами вряд ли правильно. С нашей точки зрения среднеиранский материал целесообразно было бы выделить в особую главу. Глава о среднеиранских элементах начинается с исторического введения. Таким же введением желательно было бы предварить главу о древнеиранских элементах. Хотя материала здесь меньше, тем не менее связи Грузии с Мидией, с ахеменидским Ираном, ранее проникновение зороастризма в Грузию требуют специального упоминания.

Самым неудачным в книге М. К. Андроникашвили мне представляется ее название: «Очерки по иранско-грузинским языковым взаимоотношениям». В книге речь идет о словах, вошедших в грузинский язык из иранских языков. Применительно к персидскому языку вопрос о «взаимотношениях» нельзя ставить уже потому, что, насколько могу судить, в этом языке пока не обнаружено ни одного грузинского слова. Что касается аланского, то здесь с полным правом можно было бы говорить о «взаимотношениях», так как

заимствования носили двусторонний характер. Но и тут автор разбирает только одну категорию фактов: аланские элементы в грузинском, не касаясь грузинских элементов в аланском.

«Иранские лексические элементы в грузинском» — вот название, которое полностью отвечало бы содержанию пре-

восходного труда М. К. Андроникашвили. Само собой разумеется, неточность названия никак не может отразиться на оценке книги — фундаментального исследования, которое станет настольной книгой как грузиноведов, так и пранистов.

В. И. Абаев

E. Lorenzo. El español de hoy. Lengua en ebullición. — Madrid, 1966. 177 стр.

До последнего времени в Испании не существовало хорошо налаженной и регулярной «службы языка», которая бы повседневно и заблаговременно проверяла бием его пульса, регистрируя все превратности разговорной речи, улавливая первые намеки на будущие изменения. Испанская Академия языка всегда видела свою главную миссию в охране литературной нормы, создании многочисленных фильтров и барьеров, препятствующих проникновению в академические словари и грамматики неапробированных литературными авторитетами особенностей речевого узауса. Эти «инфильтраты» долгое время оставались вне поля зрения лингвистов. В последние годы ситуация заметно изменилась. Была сформирована OFINES — *Oficina internacional de información y observación del español* — Международная организация по сбору информации и наблюдению за испанским языком, имеющая свою резиденцию в Мадриде. OFINES разработала обширную программу обследования разговорной речи населения крупных городов Испании и испаноговорящей Америки, которая уже проводится в жизнь. Под руководством OFINES в 1966 г. в Мадриде начала работать Школа лингвистических исследований, предназначенная для повышения квалификации испанистов (в том числе и зарубежных), их подготовки к научной деятельности. Лекционные курсы и семинары в школе ведут крупнейшие ученые-испанцы М. Криадо де Валь, Р. Ланеса, М. Альвар, Х.-П. Рона, Э. Аларкос Льорак, Дамасо Алонсо, Э. Косериу и др. Программа школы рассчитана на полтора года и ориентирована, в отличие от университетских программ, на изучение живого разговорного языка. С 1965 г. OFINES выпускает бюллетень под названием «*Español actual*» («Современный испанский язык»). Журнал предназначен специально для публикации материалов по современному языку прессы, телевидения, радио, рекламы, современной диалогической речи Испании и других испаноговорящих стран, по вопросам терминологии и т. п., а также всевозможной информации, касающейся испанистики.

Разумеется, наблюдения над испанской разговорной речью возникли гораздо раньше учреждения OFINES, но они велись спорадически и не были централизованы. Обращение испанистов к разговорной речи было связано преимущественно с преподаванием испанского языка иностранцам как в Испании, так и вне ее. Именно этого рода деятельность привела к созданию широко известного систематического руководства по испанской разговорной речи, принадлежащего перу В. Байнхауэра и вышедшего первым изданием в Германии в 1929, вторым (со значительными дополнениями) — в 1958 г.¹ О том, что книга Байнхауэра не утратила и сейчас своего значения, свидетельствует тот факт, что в 1963 г. в серии «*Biblioteca Románica Hispánica*» был опубликован ее испанский перевод. Многолетнее преподавание испанского языка иностранцам в Испании определило интерес к современной разговорной речи другого филолога-испаниста — Э. Лоренсо, книге которого «Испанский язык сегодня. Речь в кипении» и будут посвящены следующие строки.

Книга Лоренсо содержит ряд очерков (их всего восемь), освещающих отдельные стороны жизни современного языка. Часть глав уже публиковалась ранее в различных специальных журналах. Основной метод, которым пользуется автор, состоит в наблюдении над собственным речевым поведением и навыками с последующей проверкой полученных результатов по данным современных пьес, прессы, языка радиопередач, телевидения, записей живых диалогов образованных людей, а также среднего слоя населения Мадрида. Материалы Лоренсо содержат ценные сведения о еще латентных процессах, протекающих в современном испанском языке.

Книга Лоренсо имеет и определенную тактическую направленность. Автор стремится привлечь внимание испанской Академии на многие черты современного языка, не фиксируемые в академических грамматиках, отличающихся из-

¹ W. Beinhauer, *Spanische Umgangssprache*, Bonn, 1958.

вечной неизблемостью своего корпуса. Поэтому в очерках Лоренсо, наряду с действительно новыми фактами, говорится и о достаточно известных явлениях.

В сфере морфологии внимание Лоренсо привлекают особенности образования множественного числа (стр. 28—32, 47—58). В современном испанском языке постепенно сглаживается противопоставленность имен по числу. Широко распространились несогласованные определительные сочетания типа *mesas ad hoc*, *paredes color verde dragón*, *yeguas pura sangre*, усилилось употребление единственного числа в собирательном значении (ср. *mucho niño*, *tanta manzana*). Оппозиция по числу расплывается и обратным явлением — использованием формы множественного числа для обозначения одного предмета (ср. народные слова-прозвища *bragazas*, *frescales*, *viejales*). Автор ссылается и на серии существительных с исходом на *-s*, не принимающих флексии множественного числа: *el análisis*, *el lunes*, *el sacacorchos*, и т. п. Все эти разрозненные и разнопричинные явления автор подводит под общую тенденцию к стиранию морфологической оппозиции имен по числу, на фоне которой многие иностранные заимствования, проникающие в современную испанскую речь, остаются неизменными. Ср. *los stand*, *los Caravelle*, *esos fox-terrier*, *fuerter shock nerviosos*.

Другие заимствования получают специфическое, не свойственное звуковым нормам испанского слова, оформление, при котором флексия *-s* присоединяется непосредственно к конечному согласному основы. Ср. *soviets*, *clubs*, *fiords*, *mujijs*. Существует, впрочем, вариант произношения, при котором опускается конечный согласный основы и тем самым открывается возможность обратной деривации: *el sovie* ← *los sovies*, *el accesi* ← *los accessis*. Последовательное осуществление этого процесса могло бы вернуть регулярность числовой парадигме. Если с артикуляционной базой испанского языка трудно совместно произношение многих консонантных групп (например, *tests*, *standards*, *flirts*, *girls*), то другие скопления согласных испанцы произносят без затруднений (например, *slogans*, *halls*). В этом последнем случае прочно закрепляется новая схема образования множественного числа. Когда же скопления согласных нестерпимы для испанцев, они предпочитают пользоваться нефлектирующей формой или опускать конечный согласный основы, но не прибегают к нормативному для слов с согласным исходом окончанию *-es*. Как видно, сложные процессы, переживаемые категорией числа, чреватые последствиями не только в морфологии и синтаксисе, но в фонетике.

Лоренсо объясняет расшатывание оппозиции по числу большой избыточностью ее выражения в испанском языке. Если в английском сочетании *all the wild animals that live there* (пример Есперсена) обнаруживается только одна морфема множественного числа, то в соответствующем испанском сочетании *todos los animales salvajes que viven aquí* присутствует пять знаков множественности. Это утверждение не совсем точно, поскольку в глаголе и прилагательном флексия числа выражает синтаксическое значение согласования. Верно, впрочем, и то, что в испанском языке, в результате фиксации порядка слов в определительной группе, согласование, как средство выражения синтаксической связи, постепенно становится избыточным, факультативным.

Чтобы лучше понять изменения, претерпеваемые категорией числа в испанском языке, полезно обратиться к судьбе этой грамматической категории в других романских языках. Категория числа поставлена под удар почти во всех романских языках. Однако происходящие здесь процессы имеют двоякую направленность. В южных диалектах Испании отпадение флексии множественного числа, являющееся следствием определенных фонетических закономерностей, вызвало фонологизацию позиционного варьирования предшествующего гласного по признаку открытости/закрытости. Появились новые фонемы (открытые *a*, *e*, *o*), тесно связанные с определенными грамматическими значениями². Потеря флексии была компенсирована, и оппозиция по числу сохранилась внутри морфологической формы слова. Грамматическая система осталась стабильной, но появились изменения внутри фонетической системы. В морфологическом аспекте можно говорить только об увеличении фузии основы и флексии. Диалектальный материал в этом случае показывает большую устойчивость грамматической структуры слова, нежели его фонетического строения. Аналогичный путь развития пережила категория числа в румынском языке. Иной тип преобразования категории числа можно наблюдать в португальской речи Бразилии. Там, действительно, независимо от действия фонетических законов, обнаруживается тенденция к утрате окончания множественного числа и причина этого, вероятно, заключается в его функциональной избыточности. Ср. *Essas minina são endiabrada* (вместо *Essas mininas são endiabradas*), *Os home tá í* (вместо *Os homens estão aí*). В приведенных примерах флексия множественного числа сохраняется только при детерминативах

² T. Navarro Tomás, *Dédoublement de phonème dans le dialecte andalou*, TCLP, 8, 1939, стр. 184—186.

имени (*essas, os*). Она как бы выносится за скобки синтаксической конструкции, подрывая ее грамматический сингармонизм. По аналогии с приведенными конструкциями возникают и такие, в которых показатель множественного числа присоединяется к нефлектирующим местоимениям. Ср. *Quis moleque indemiado* (вместо *Que moleques endemiados*)³. Хотя в португальском языке бразильцев есть тенденция к потере конечного *s* в формах единственного числа имен, первичными являются грамматические преобразования, а вторичными фонетические изменения, оцирающиеся на грамматическую аналогию. Категория числа постепенно выводится за пределы имени, перестает быть собственно морфологической.

В испанском языке в процессе изменения категории числа действуют разные тенденции. Среди них преобладает нацеленность процесса на грамматические преобразования. Хотя категория числа достаточно прочно удерживается в существительном там, где ей свойственно референтное значение, она оказывается менее стойкой внутри имен, выступающих в функции определений. В очерке Лоренсо мог бы быть более определенно раскрыт грамматический смысл тех изменений, которые коснулись категории числа в современном испанском языке.

Другая морфологическая особенность, отмечаемая автором (стр. 58—61), заключается в ослаблении контраста между конечными *-a/-o*, выражающего противоположность имен по роду. В современном языке появляется все больше имен на *-o*, относящихся к женскому роду. Ср. *la dinamo, la magneto, la moto, la virago, la contralto, la modelo, la libido, la foto, la Nato*. Легко заметить, что приведенные слова не одинаковы по типу значения и происхождению. Здесь можно встретить и усечения, и эллипсис опорного существительного, и сокращения, и утратившие родовую парадигму названия профессии, и названия предметов, используемые для обозначения лиц. Рост числа существительных женского рода на *-o* опирается на давно существующий прецедент: в испанском языке прочно укоренилось множество женских имен на *-o*, возникших вследствие эллипсиса опорного имени *Maria*. Эти имена в просторечии употребляются с артиклем. Ср. *la Rosario, la Rocío, la Sagrario, la Amparo, la Consuelo*. Употребительны в испанском языке и уменьшительные имена с исходом на *-o*, образованные путем усечения слова.

Ср. *la Dolo(res), la Filo(mena), la Leo(narda), la Patro (cinia)*⁴.

Специальный очерк посвящен автором мощному пикаву англицизмов, налетевшему на испанский язык. Влияние английского языка распространяется почти на все аспекты испанской речи. Особенно велико оно в сфере лексики. Это влияние выражается и в прямых заимствованиях (*test, confort, cocktail, hobby* и др.), и в изменении значения испанских слов (ср. *la planta* в значении «фабрика», *la simpatía* в значении «сочувствие», *actualmente* в смысле «на самом деле, действительно», *proponer* в смысле «делать предложение»), и в калькировании (ср. употребление *déjame solo* по типу англ. *leave me alone*), и в изменении степени употребительности некоторых слов и выражений. Так, под влиянием англ. *please* стало распространяться малоупотребительное ранее испанское выражение *por favor*. Автор полагает, что не последнюю роль тут сыграл дубляж фильмов. Во многих европейских языках формула вежливости начинается с губного согласного (ср. нем. *bitte*, англ. *please*, итал. *prego*). Наиболее артикуляционно близким эквивалентом этих слов в испанском языке оказалось *por favor*. Расширился диапазон функционирования суффикса прилагательных *-al* (ср. *educacional, emocional*). Воздействие английского языка распространилось и на синтаксис. Испанское ухо уже не режут предложения, построенные по английскому образцу с обилием пассивных конструкций и прямым порядком слов, какими изобилует современная испанская пресса.

Интересные данные содержатся в очерке, написанном о современных средствах выражения просьбы и приказа (стр. 84—96). Наряду с собственно повелительным наклонением автор выделяет следующий синонимический ряд: 1) вопрос (*¿Te quieres callar?*), который может переходить в регистр восклицания (*¡ Pero te quieres callar!*); 2) настоящее время изъявительного наклонения с личным местоимением в препозиции (*Tú te vas y Vd. se queda*), 3) (a) + инфинитив (*Vosotros a trabajar y yo a dormir* при безглагольном варианте *Tú, al trabajo y yo, a la cama*), 4) настоящее время сослагательного наклонения, применяемое обычно при повторном приказе (*¡ Calate, que te calles!*), 5) очень emphatic звучная прогрессивная форма (*¡ Ya te estás callando!*), 6) структурно близкая

⁴ Иного мнения относительно распространения в испанском языке имен женского рода на *-o* придерживается А. Розенблат. См.: A. Rosenblatt, *Morfología del género en español. Comportamiento de las terminaciones -o, -a*, «Nueva revista de filología hispánica», 1962, 1—2.

³ См.: P. Vázquez Cuesta, M. A. Mendes da Luz, *Gramática portuguesa*, Madrid, 1961, стр. 89—90.

к предшествующему типу формула *ir + герундий (Vete cerrando las puertas)*, сводимая к одному герундию (*¡ Entrando!*). Кроме этих прочно вошедших в употребление конструкций, которые, по мнению автора, должны фигурировать в разделе о повелительном наклонении любой грамматики, существуют факультативные способы выражения просьбы. К их числу относятся наречия, образующие побудительные высказывания (*¡ Adelante!*, означающее в зависимости от ситуации «вперед» или «войдите»), формула «*a ver si + настоящее время изъявительного наклонения (A ver si te callas* в значении «замолчи»), будущее время *No matarás* в значении «не убий»), ретроспективный приказ (*¡ Haberte dicho!* «Скажи ты это раньше...»; *Кобы ты сказал это раньше») и др. Что касается последней формулы, то автор и сам понимает, что она имеет к императиву отдаленное отношение.*

Комментируя употребление перечисленных конструкций, Лоренсо отмечает тенденцию к вытеснению «прямого императива» косвенными формулами. Особенно быстро сдает свои позиции в пользу инфинитива повелительное наклонение 2-го лица множественного числа в неконкретизованных обращениях. Ср. *tocar el timbre* вместо *tocad el timbre*; *no tocar los objetos* вместо *no toquéis los objetos*.

Три очерка книги охватывают проблемы глагола (стр. 97—129, 153—163). Основное место занимает в них комментарий к современному употреблению временных форм и перифрастических сочетаний.

Касаясь функционирования глагольной перифрастики, Лоренсо подчеркивает, в частности, что сочетание с глаголом *llevar*, получившее широчайшее распространение в речи испанцев, имеет явно определившееся значение инклюзивности, противопоставляющее его перфекту, безразличному к этому значению. Ср. *Pedro lleva aquí dos años* и *Pedro ha vivido aquí dos años*.

Говоря о перифразе типа *acabar de + inf.*, Лоренсо делает тонкое наблюдение о значении ее отрицательной формы: *no acabar de + inf.* коррелирует с положительным сочетанием иной грамматической структуры. Это либо *acabar por + inf.*, либо *acabar + ger.* Ср. *Acabó por levantarse*, *Acabó levantándose* «Он наконец встал» — *No acaba de levantarse* «Он так и не встал». Здесь создается то же смысловое соотношение, что между положительной и отрицательной формой одного предложения: *Al fin se levantó* — *Al fin no se levantó*. Смещение двух перифрастических парадигм происходит еще в одном случае. В повелительном наклонении не употребительны сочетания *acabar + ger.*, ни *acabar por + inf.* Вместо них используется со-

четание *acabar de + inf.*, которое в этой форме утрачивает значение недавнего прошедшего времени, несовместимое со значением императива. Ср. *Acaba de levantarte* «Вставай же наконец».

В этой связи можно было бы сделать следующее более общее наблюдение, касающееся развития грамматического строя испанского языка. Для функционирования испанской речи очень характерно образование смешанных парадигм, в которых определенное содержательное различие выражается грамматическими формами, относящимися к разным структурным типам. Хорошо известно, например, что отрицательную пару герундия образует инфинитив с предлогом *sin — haciendo — sin hacer*. Тем самым единую грамматическую парадигму составляют разные неличные формы глагола. Подобный грамматический супплетивизм можно наблюдать не только в парадигмах, сформированных признаком отрицания, но и в других рядах. Приведем следующий пример. Испанский герундий имеет четыре формы, различающиеся между собой признаками времени и залога: *diciendo, habiendo dicho, siendo dicho, habiendo sido dicho*. Однако сложные формы герундия практически выходят из употребления. Образовавшиеся вакасии занимают пассивное причастие. Пассивный герундий *siendo dicho* начинает соотноситься по признаку времени не с пассивным перфектным герундием *habiendo sido dicho*, а с причастием *dicho*. Более того, *dicho* (а не *habiendo dicho*) коррелирует во временном плане и с *diciendo*, т. е. не только с пассивной, но и с активной формой герундия. Ср. *Diciendo estas palabras se levantó* «Говоря эти слова, он встал» — *Dichas estas palabras, se levantó* «Сказав эти слова, он встал». Употребление пассивного причастия вместо активного герундия требует соответствующего изменения субъектно-объектных отношений, которое ведет к замене смежной герундиальной конструкции абсолютным причастием. То, что подобная замена действительно происходит, подтверждается, между прочим, тем фактом, что абсолютные конструкции все чаще употребляются в тех случаях, когда реальный исполнитель действия, в них выраженного, совпадает с субъектом главного предложения. Ср. *Firmado el convenio, se estrecharon la mano* «Подписав соглашение, они пожали друг другу руку». Функциональная эквивалентность причастия и активного герундия возможна только для переходных глаголов и глаголов движения.

Таким образом, приведенный Лоренсо пример иллюстрирует общую склонность испанского языка к развитию грамматического супплетивизма, созданию функциональных парадигм, отличных от парадигм чисто формальных.

В другом очерке о глаголе содержится

ряд интересных наблюдений и комментариев, касающихся употребления временных форм. Автор отмечает тенденцию к проникновению изъявительного наклонения в сферу сослагательного и условного. Ср. использование таких предложений, как *Si sé que estás en cama no voygo* для передачи нереального условия в прошлом, а также употребление имперфекта и плюсквамперфекта изъявительного наклонения в значении условного (ср. *Yo que tú le mandaba al diablo*). Здесь уместно было бы показать, что снятие различий в форме наклонения компенсируется сдвигами во временном плане, причем в первом примере значение нереальности связано с применением формы настоящего времени для обозначения нереального действия в прошлом, а во втором примере значение условности создается сдвигом в обратном направлении: форма прошедшего времени используется для обозначения обусловленного действия в настоящем.

Лоренсо показывает широкое распространение инфинитивных оборотов, теснящих личные формы глагола⁵. Тут можно было бы отметить, что экспансия инфинитивных оборотов, замещающих ими придаточных предложений создает в синтаксическом периоде единый управляющий центр — глагол-сказуемое в личной форме. Происходит централизация предложения. Центробежным силам, сосредоточенным в придаточных предложениях, противостоят в испанском синтак-

⁵ Интересные данные об употреблении инфинитива в диалогических репликах можно найти в статье: J. D u b s k y, *El infinitivo en la réplica «Español actual»*, 8, 1966, стр. 1—2.

сисе активные центропритягательные силы, притягивающие инфинитивы к основному предикату и способствующие консолидации предложения.

Третьим очерком, трактующим проблему глагола, является небольшой этюд об отрыве причастия от вспомогательного глагола в перфектных временах, что принято считать нарушением литературной нормы. Автор показывает, что в ряде случаев такое расщепление аналитической формы закономерно, а в одном типе предложений даже обязательно (ср. *se ha más que duplicado, han punto menos que separado*).

Особая глава посвящена анализу материала, содержащегося в двух трудах об испанской разговорной речи: M. Seco, *Diccionario de dudas de la lengua española* (Madrid, 1964) и W. Beinhauer, *El español coloquial* (Madrid, 1963). На этой главе, включающей ряд поправок и дополнений к рецензируемым работам, мы здесь останавливаться не будем.

Книга Лоренсо, содержание которой было суммарно изложено выше, обнаруживает большую наблюдательность автора, наличие у него хорошего лингвистического слуха. Недостаток книги можно видеть в ощущаемом иногда отсутствии системного подхода к материалу. Автор не всегда умеет связать между собой и обобщить множество отдельных замечаний и наблюдений. Обращает на себя внимание и преобладание психологических объяснений и оценок над собственно грамматическими интерпретациями (см. стр. 35, 124). Сказанное, впрочем, не меняет того очень хорошего впечатления, которое оставляет по себе интересная и полезная книга Э. Лоренсо.

Н. Д. Арутюнова

Ст. Стойков. Българска диалектология. Второ поправено издание.— София 1968. 297 стр.

Первое издание «Болгарской диалектологии» профессора Софийского университета Ст. Стойкова вышло из печати в 1962 г. Во второе, расширенное и дополненное, издание включена новая глава «Диалектные различия в словообразовании», основательно переработана глава «Диалектные различия в синтаксисе». Внесены уточнения и дополнения в ряд других разделов книги. В монографии обобщена многолетняя деятельность специалистов по болгарской диалектологии, среди которых одно из первых мест бесспорно принадлежит автору книги.

«Болгарская диалектология» Ст. Стойкова является первым и пока единственным сводным обзором всех болгарских говоров, в том числе и говоров в Советском Союзе и Румынии. Авторы прежних

обобщающих трудов по болгарской диалектологии ограничивались описанием лишь части говоров. Таковы труды Л. Милетича «Das Ostbulgarische» (Wien, 1903) и «Die Rhodopemundarten der bulgarischen Sprache» (Wien, 1912), А. М. Селищева «Очерки по македонской диалектологии» (Казань, 1918), Ц. Тодорова «Северо-западные болгарские говоры» (София, 1936). До рецензируемой книги в болгарской диалектологии отсутствовал труд, который по своим задачам и характеру напоминал бы известные обзоры польских диалектов К. Нича, украинских диалектов Ф. Т. Жилко или сравнительно многочисленные обобщающие труды по русской диалектологии (см. например, «Опыт» Н. Н. Дурново, Н. Н. Соколова и Д. Н. Ушакова, обзоры Е. Ф.

Карского, С. А. Еремина и И. А. Фалёва, «Русскую диалектологию» под редакцией Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой и др.).

Рецензируемая монография является прежде всего обобщением личного богатого опыта автора, который уже почти четверть века систематически изучает болгарские говоры. Ему принадлежит многочисленные описания отдельных говоров и диалектных областей, среди которых выделяется капитальная двухтомная монография о языке болгар Баната. Он первым в болгарской диалектологии начал широко применять методы лингвистической географии. Создаваемый под его руководством «Болгарский диалектологический атлас» (далее: БДА) вносит много нового в науку о болгарских говорах.

Следует признать удачной структуру книги. Вначале автор знакомит с основными говорами и их особенностями, а уже затем дает описание фонетических, грамматических и лексических особенностей болгарских диалектов в целом. Это дает возможность как бы дважды, но под разным углом зрения и в различных контекстах обозреть диалектный материал.

Значение «Болгарской диалектологии» заключается прежде всего в том, что она решает многие важные вопросы классификации болгарских диалектов. Одним из кардинальных вопросов является членение болгарского диалектного языка на два основных наречия — восточное и западное. Это членение по ряду признаков, как известно, впервые было установлено еще в 40-е годы XIX в. В. И. Григоровичем и Х. Сичан-Николовым, а позже научно обосновано Л. Милетицем. Однако деление на восточное и западное наречие некоторыми учеными, в частности Б. Цоневым, рассматривалось как в известной мере случайное, основанное лишь на одном признаке — произношении ъ. В своей книге Ст. Стойков на большом материале убедительно доказывает правильность точки зрения Л. Милетица и других ученых о двуделении болгарского диалектного языка. Автор показывает, что изоглосса ъ как граница между восточными и западными говорами подтверждается целым пучком изоглосс, хотя и не совпадающих полностью с изоглоссой ъ, но идущих параллельно ей в том же направлении, особенно на отрезке Никопол — Пазарджик (стр. 55, карты 1—5). Наличие такого пучка изоглосс свидетельствует о том, что разграничение между восточными и западными диалектами не случайно. Оно несомненно отражает древнее членение болгарской языковой области. Иначе обстоит дело юго-западнее Пазарджика, где данный пучок изоглосс распадается. Здесь изоглосса ъ, вероятно, установилась позже и уже не отражает древнего диалектного членения. Это, кстати, подтверждает ту основную классификацию болгарских диалектов,

которую Ст. Стойков предложил в докладе на V Международном съезде славистов в Софии. К сожалению, важными выводами своего доклада о наличии двух диалектных областей — центральной (северо-восточной) и латеральной (западной и южной), связанных, видимо, с древним племенным делением болгар¹, — в настоящей книге Ст. Стойков не воспользовался. Вероятно, он полагает, что этот вопрос еще требует более глубокого обоснования.

Как известно, Б. Цонев в свое время предложил деление восточных говоров на северные и южные по признаку наличия или отсутствия чередования гласных под ударением на месте ъ. Границу между этими говорами он проводил примерно по линии Бургас — Пазарджик. Оказалось, однако, что такое деление не подтверждается новейшими исследованиями. Ст. Стойков и независимо от него Т. В. Попова доказали, что в настоящее время так называемая вторая ятевая граница не существует. С полным основанием Ст. Стойков в настоящей книге отвергает также предложенную Л. Милетицем классификацию восточных говоров по признаку членовой формы мужского рода.

Кроме общих проблем классификации диалектов по определенным признакам, Ст. Стойков, естественно, уделяет большое внимание группировке говоров и характеристике их отличительных черт. При решении этих, как и других, вопросов он опирается на данные БДА и другие новейшие работы. Правда, при характеристике особенностей отдельных восточных говоров, как нам кажется, данные БДА и некоторых других работ не всегда используются в полной мере. Это касается, например, характеристики мизийских говоров вообще и шуменского в частности, подбалканского, некоторых переходных говоров². Данные БДА позволяют также более точно, чем это сделано в книге, сгруппировать говоры юго-восточной Болгарии³.

¹ Ст. Стойков. Основного диалектно деление на български език, сб. «Славянска филология», III, София, 1963.

² О некоторых характерных особенностях современного состояния этих говоров см.: Г. П. Клепикова, Т. В. Попова, О значении данных лингвистической географии для решения некоторых вопросов истории болгарского языка, ВЯ, 1968, 6, стр. 99. Ср. также описание рефлексов древних носовых и еров в родоских говорах в «Болгарской диалектологии» и в статье: С. Стойков, Към вокалната типология на родоските говори. (Застъпници на старобългарските носови и ерови гласни), «Славистичен сборник», София, 1968.

³ См.: С. Б. Берштейн, Е. В. Чешко, Классификация юго-восточных говоров Болгарии, ИАН ОЛЯ, 1963, 4.

В книге дана подробная характеристика различий между болгарскими говорами в области фонетики, грамматики и лексики. Набор звуковых и морфологических дифференциальных признаков в основном был уже установлен прежде и хорошо известен специалистам по болгарской диалектологии. Ст. Стойкову в настоящей книге удалось хорошо систематизировать эти данные и представить существенные диалектные различия в сжатом и наглядном виде. Что же касается синтаксических, словообразовательных и лексических диалектных различий, то в болгарской диалектологии сведения о них были разрозненными и случайными (особенно в области синтаксиса и словообразования). Автор проделал большую и кропотливую работу по сбору и систематизации соответствующих материалов и сумел, несмотря на скудость источников, дать краткую и достаточно выразительную характеристику основных синтаксических и словообразовательных различий в болгарском диалектном языке.

Существенно увеличен список известных прежде лексических различий, отражающих как древние различия в области лексики (названия *риза* — *кошуля*, *крак* — *нога* и др.), так и более поздние, связанные с развитием сельского хозяйства и быта населения (названия кукурузы, картофеля и др.). Наблюдения автора над лексическими различиями, несомненно, окажутся полезными и интересными в плане семасиологии и лексикологии болгарского диалектного языка. Так, например, автор сообщает, что все болгарские диалекты имеют одно название для телеги (*кола*), но обнаруживают значительные различия в обозначении основных частей и деталей телеги (например, дышло называется *процеп*, *арчи*, *водило*; ось — *ос*, *дингил* и др.). Автор хорошо показывает, как географические и хозяйственные условия влияют на степень детализации соответствующих понятий и обозначаемых ими слов.

Специальный раздел книги посвящен взаимовлиянию между диалектами. К сожалению, автор ограничивается в основном характеристикой влияния в об-

ласти фонетики, в то время как не менее важным является взаимовлияние в области грамматики и лексики.

Процесс нивелировки болгарских говоров под влиянием литературного языка, как известно, идет давно и особенно активно в послевоенные десятилетия. В Болгарии он имеет много своеобразного и отличного от соответствующих процессов в других странах. К сожалению, планомерное и систематическое изучение этого важнейшего языкового процесса XX в. еще не началось. Этим и объясняется, что важная сторона жизни диалектов в книге Ст. Стойкова освещена слабо. Гораздо больше внимания уделяет автор роли диалектов в обогащении литературного языка.

Ст. Стойков считает задачей диалектологии не только описание территориальных диалектов, но и проблематику социальных диалектов. Этой проблематике в книге посвящен специальный раздел, в котором характеризуются основные виды социальных диалектов в Болгарии — профессиональные диалекты, их происхождение, тайные говоры ремесленников, ученический жаргон и др. На наш взгляд, эта проблематика не связана с основным содержанием книги.

Автор уделяет значительное внимание методам лингвистической географии, болгарскому лингвистическому атласу; ясно, что многие кардинальные вопросы болгарской диалектологии могут быть решены только на основе полного лингво-географического обследования всей территории Болгарии. Этим и объясняется тот большой интерес, который проявляют специалисты по славянской диалектологии к работе коллектива диалектологов над «Болгарским диалектологическим атласом».

Большую ценность представляет тщательно составленная библиография ко всем разделам книги.

В истории болгарской диалектологии труд Ст. Стойкова займет важное место как первый серьезный опыт систематического описания всех диалектов болгарского языка.

С. Б. Бернштейн, Г. К. Венедиктов

КЕЛЬТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ СКАНДИНАВСКИХ ЛИНГВИСТОВ

Группа норвежских лингвистов — К. Боргстрем, Р. Кристиансен, К. Марстрандер, М. Офтедаль, А. Гольтсмарк — в течение ряда лет издают кельтологический журнал «Lochlan» — «Северянин»¹.

¹ «Lochlan. A review of Celtic studies being a supplement to the „Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap“, vol. I (Suppl. to NTS, bd. V), Oslo, 1958; vol. II

Главным издателем трех появившихся томов был недавно скончавшийся А. Соммерфельд, начинавший свою ученую деятельность в качестве кельтолога² и

(Suppl. bd. VI), Oslo, 1962; vol. III (Suppl. bd. VIII), Oslo, 1965.

² Cp. его труды: «*Dé en italo-celtiques*», Christiania, 1920; «*Le breton parlé à Saint-Pol-de-Léon*», Rennes — Paris, 1921—

написавший около четверти объема журнала. Именно А. Соммерфельт, ученик Мейе и Торпа, известный своими трудами в области общего языкознания, социальной лингвистики, норвежского языка, явился основателем современной кельтской диалектологии. И в данном издании его работы отличаются широтой своего диапазона: от культурно-исторических заметок³ и работ, посвященных кельтско-германским связям⁴ до специальных диалектологических работ. Среди последних выделяется труд всей жизни А. Соммерфельта — исследование североирландского диалекта местности Торр, начатое непосредственно после первой мировой войны⁵ и продолженное в рассматриваемом нами издании⁶.

Наряду с материалами по ирландскому языку и его диалектам А. Соммерфельт поместил в «Lochlan» статьи и заметки и о других живых кельтских языках: о гальском⁷ (язык шотландских горцев и

жителей Гебридских островов), о валлийском⁸ или уэльском, и о бретонском⁹. В одной хроникальной заметке упоминается о школьном преподавании мертвого корнуэлльского (корваллийского) языка¹⁰.

Другие заметки посвящены организации изучения кельтских языков, их преподаванию, новой литературе по кельтологии¹¹. В библиографических заметках содержатся сведения о новых публикациях¹². В журнале помещен некролог, составленный А. Соммерфельтом в связи с кончиной выдающегося лингвиста, оставившего много значительных работ и в области кельтологии — Жозефа Вандриеса¹³ (1875—1960), а также заметки, посвященные памяти известных кельтологов-кельтов: сэра Джона Риса (1840—1915), Эдварда Ллойда (1660—1709), Аллана Макдональда (1859—1905)¹⁴.

Среди работ, опубликованных в трех томах «Lochlan» и принадлежащих как перу А. Соммерфельта, так и другим авторам, можно выделить две основные

1922; «Studies in Cyfeiliog Welsh. A contribution to Welsh dialectology», Oslo, 1925; «Munster vowels and consonants», в сб. «Proceedings of the Royal Irish Academy», 37, Dublin, 1927, стр. 175—244; «South Armagh Irish», NTS, 2, 1929, стр. 107—196, а также: «Diachronic and synchronic aspects of language», 's-Gravenhage, 1962, стр. 311—372.

³ «The 1400th anniversary of St. Columba's landing at Jona», «Lochlan», III, стр. 420.

⁴ «On the Norse form of the name of the Picts and the date of the first Norse raids to Scotland», «Lochlan», I, стр. 218—222; «The English forms of the names of the main provinces of Ireland», там же, I, стр. 223—228.

⁵ «The dialect of Torr, Co. Donegal», Pt. 1: Phonology («Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania», historisk-filosofisk klasse, I, 2), Christiania, 1922.

⁶ «The phonemic structure of the Dialect of Torr, Co. Donegal», «Lochlan», III, стр. 237—254; «Word limits in modern Irish (Dialect of Torr, Co. Donegal)», там же, III, стр. 298—314; «Sentence patterns in the dialect of Torr», там же, III, стр. 255—277; «Phonetic Texts from the dialect of Torr», там же, стр. 375—403. «The Works of Year in Torr», там же, III, стр. 7—17; «Index, additions and corrections to the Dialect of Torr, Co. Donegal», там же, III, стр. 331—374.

⁷ «The Gaelic of Leurbost, Isle of Lewis», «Lochlan», I, стр. 269—270; «Scottish Gaelic in education and life», там же, I, стр. 271—272; «South Uist», там же, I, стр. 272; «A story-teller from Barra», там же, II, стр. 170; «Excavations at Birsay in the Orkneys», там же, II, стр. 174—175; «Scottish Gaelic lessons for beginners

on long playing records», там же, I, стр. 270—271.

⁸ «The destiny of Welsh», «Lochlan», III, стр. 432; «Welsh publishing», там же, II, стр. 178—179; «Publication in Welsh», там же, III, стр. 420; «A review of Welsh history», там же, II, стр. 176—178.

⁹ «Le pluriel breton», «Lochlan», I, стр. 270; «Notes sur le parler de Dourduff en Plouézoch, Finistère», там же, II, стр. 58—91; «The Barzaz Breiz and Hersart de la Villemargué», там же, II, стр. 179—180; «A Breton museum», там же, II, стр. 180.

¹⁰ «Breton et cornique», «Lochlan», III, стр. 435—437.

¹¹ «The school of Celtic studies in Dublin», «Lochlan», III, стр. 433—434; «Celtic as a university subject», там же, II, стр. 166—167; «Articles of interest to Celtic scholars in Scandinavian periodicals», там же, II, стр. 170—173; «Articles in Scandinavian periodicals», там же, III, стр. 432—433; «International congresses», там же, II, стр. 165—166; «Records for students and learners of Irish», там же, II, стр. 167.

¹² C. I. M. C. L. E. A. N., A folk-variant of the Táin Bó Cuailnge from Uist, Arv., «Journal of Scandinavian folklore», 15, Uppsala, 1959; G. and M. C. A. R. N. E. Y., A collection of Irish charms, «Folkloristica. Festschrift til Prof. Dag Strömback», Uppsala, 1960.

¹³ «Joseph Vendryès», «Lochlan», II, стр. 185—187; следует отметить, что «Lochlan», I имеет посвящение: «Ce premier volume de Lochlan est dédié à Monsieur J. Vendryès, grand maître des études celtiques».

¹⁴ «Sir John Rhys and Edward Lloyd», «Lochlan», I, стр. 267—269; «Fr. Allan McDonald», там же, I, стр. 272.

темы: историю кельтских языков и проблемы современного состояния этих языков.

У каждого языка есть свои неповторимые черты, придающие ему характерное своеобразие и независимо привлекающие исследователей: в кельтских языках это, прежде всего, мутации. Им посвящены четыре статьи¹⁵; эти статьи написаны в плане широкого международного обсуждения природы и происхождения мутаций, одним из инициаторов которого также был А. Соммерфельд. Происхождение мутаций выясняет в своей статье Э. Гэмп: его статья — ответ на ранее появившуюся статью А. Соммерфельда о количественной характеристике согласных в кельтских языках¹⁶. Э. Гэмп продолжает обсуждение гипотезы Г. Педерсена¹⁷ о «падении» *r как о причине возникновения мутаций и вместе с А. Соммерфельдом склоняется к отрицательной характеристике этой теории, видя причину возникновения мутаций в фонологизации позиционных вариантов фонем. М. Офтедаль на гальском и Дж. Эллис на валлийском материале обсуждают проблему историко-морфологической классификации и грамматической значимости мутаций, продолжая тему, начатую в свое время Гэмпом¹⁸. А. Соммерфельд в своей статье рассматривает мутации в свете проблемы границы слова; специальные разделы его статьи уделены префигурованным и постфигурованным морфемам.

Более узко-исторические проблемы рассматриваются в статьях Э. Гилла и К. Уоткинса.

Ряд вопросов истории языка анализируется в статье известного кельтолога и индоевропеиста К. Уоткинса¹⁹. Автор исследует происхождение древнеирландского словосочетания *nache n =* лат. *neque eam*²⁰ и рассматривает проблемы

синтаксиса индоевропейских порядковых числительных, возникающие при привлечении материала древнеирландских текстов.

Ряд статей посвящен истории отдельных слов²¹; ирландского и гальского *laghach* «приятный, достойный», *ogam* — обозначение древнего письма островных кельтов, ирландского *bóthar* и уэльского *meid(i)r*, *moydir* «дорога, улица», ирландского *dóthain* «полнота, достаточность» и ирландского словосочетания *fód báis* «место смерти», послужившего основой для калки в скандинавских языках.

Существенное место в журнале занимает систематическое описание современных кельтских диалектов. Среди диалектологов видное место принадлежит швейцарскому ученому Г. Вагнеру, профессору университета в Белфасте, более двадцати лет своей жизни посвятившему изучению современных ирландских диалектов²². Сейчас Г. Вагнер завершает издание капитального труда — атласа ирландских диалектов с приложением текстов²³; в «Lochlann» помещено теоретическое обобщение — план атласа и приложение к (не вышедшему в свет) IV тому — материалы по диалекту местности Типрон²⁴. К этим материалам примыкают тексты с мыса Клир, графство Корк, в фонетической записи, собранные ирландским ученым о'Буахала²⁵.

Проект описания гальского языка в Шотландии приводится в статье К. Джек-

of the syntax of the Old Irish verb, «Celtica», 6, 1963, стр. 1—49.

²¹ R. A. Breatnach, Modern Irish and Scottish *laghach*, «Lochlann», II, стр. 18—22; A. Holtsmark, *Fód báis — banaíúfa = heillaíúfa*, там же, II, стр. 122—127; G. G. Killeen, The word *ogam*, там же, III, стр. 415—419; M. Richards, Welsh *meid(i)r*, *moydir*, Irish *bóthar*, *dane*, *roads*, там же, II, стр. 128—134; H. Wagner, Irish *dóthain*, там же, II, стр. 135—136.

²² H. Wagner, Das Verbum in den Sprachen der Britischen Inseln, Tübingen, 1959; е го же, Gaeilge Theilinn, Dublin, 1959; е го же: Seán ó h-Eochaidh, sean-chaint Theilinn, Baile Atha cliath, 1955.

²³ «Linguistic atlas and survey of Irish dialects», I, Introduction and 300 maps, Dublin, 1958; II — The dialects of Munster, Dublin, 1964; III — The dialects of Connaught, Dublin, 1966.

²⁴ H. Wagner, A linguistic atlas and survey of Irish dialects, «Lochlann», I, стр. 9—48; G. Stockman, H. Wagner, Contributions to a study of Tyrone Irish, там же, III, стр. 43—236.

²⁵ B. Ó. Buachalla, Phonetic texts from Oileán Cleire, «Lochlann», II, стр. 103—121.

¹⁵ E. P. Hamp, Consonant allophones in Proto-Keltic, «Lochlann», I, стр. 209—217; M. A. O'ftedal, Morphemic evaluation of the Celtic initial mutations, там же, II, стр. 92—102; J. E. Ellis, The grammatical status of initial mutation, там же, III, стр. 315—330; A. Sommerfeldt, Word limits in modern Irish (Dialect of Torr, Co. Donegal), там же, III, стр. 298—314.

¹⁶ A. Sommerfeldt, Consonant quantity in Celtic, NTS, XVII, стр. 102—118.

¹⁷ H. Pedersen, Vergleichende Grammatik der Keltischen Sprachen, 1, Göttingen, 1908—1909.

¹⁸ E. P. Hamp, Morphophonemes of the Celtic mutations, «Language», 27.

¹⁹ C. Watkins, Notes on Celtic and Indo-European morphology and syntax, «Lochlann», III, стр. 286—297.

²⁰ Ср.: C. Watkins, Preliminaries to a historical and comparative analysis

сона²⁶. Ряд статей посвящен уэльскому языку и истории его исследования²⁷. Подробное описание англо-ирландских диалектов (т. е. английских диалектов на территории Ирландии) в их современном состоянии и в исторической перспективе составлено П. Л. Генри²⁸.

Американский ученый Э. Гилл предлагает структурное (в духе дескриптивистов) истолкование вокализма одного англо-ирландского диалекта²⁹, основываясь на «традиционном» описании этого диалекта, составленном П. Генри³⁰, другая работа которого уже упоминалась.

В ряде любопытных заметок приводятся данные о кельтоязычных поселениях на американском континенте: в США, Канаде (Новая Шотландия), Аргентина (Патагония)³¹.

Несколько статей в рецензируемом издании посвящено вопросам поэтики³², истории³³, археологии³⁴. В регулярно помещаемых хроникальных заметках освещается научная деятельность кельто-

логов³⁵; среди них особое место занимает заметка признанного главы ирландских кельтологов М. Диллона о деятельности Дублинской школы кельтологии, являющейся отделением известного Dublin Institute for Advanced Studies, основанного в 1940 г.³⁶. В этой заметке приводится устав школы, перечисляются профессора и анализируются основные типы публикаций³⁷. Каждый из трех томов завершается несколькими некрологами: в первом томе помещен некролог ирландскому кельтологу, профессору Э. О'Тули³⁸, во втором — некролог известным специалистам по среднеирландской филологии Ричарду И. Бесту и Дж. Мэрфи³⁹, собрателю шотландского гальского фольклора К. И. Макину⁴⁰; в третьем томе — некролог крупному специалисту по уэльскому языку и литературе, профессору Гриффиту Дж. Вильямсу⁴¹; ирландскому кельтологу профессору М. О'Брайену⁴² и представителю гальской филологии и фольклористики, профессору Э. Матесону⁴³.

«Lochlann» содержит также рецензии на недавно появившиеся труды по кельтологии; рецензии, как правило, составлены ведущими учеными, в основном — А. Sommerfeltом.

Новое периодическое издание норвежских кельтологов, в котором сотрудничают и кельтские ученые, оказалось весьма интересным и содержательным. Несомненно, следующие выпуски станут привлекать все большее внимание лингвистов и в нашей стране.

²⁶ K. Jackson, The situation of the Scottish Gaelic language, and the work of the linguistic survey of Scotland, «Lochlann» I, стр. 229—234.

²⁷ I. C. Peate, The present state of the Welsh Language, «Lochlann», III, стр. 420—431; T. A. Watkins, Background to the Welsh Dialect Survey, там же, II, стр. 38—49; I. C. Peate, A national center for Welsh dialect research, там же, II, стр. 176; I. C. Peate, The Welsh language as a medium of instruction in the University of Wales, там же, I, стр. 261—262; M. Richards, The distribution of some Welsh place-names, там же, III, 404—414.

²⁸ «A linguistic survey of Ireland. Preliminary report», «Lochlann», I, стр. 49—208.

²⁹ A. A. Hill, A conjectural reconstruction of a dialect of Ireland, «Lochlann», II, стр. 23—37.

³⁰ P. L. Henry, An Anglo-Irish dialect of North Roscommon, Dublin, 1957.

³¹ C. I. N. McLeod, The Gaelic tradition in Nova Scotia, «Lochlann», I, стр. 235—240; E. Jones and W. R. Owen, Welsh-speaking in the New World. Patagonia, там же, I, стр. 251—260; E. Jones, Welsh-speaking in the New World. The United States, там же, I, стр. 241—250.

³² S. de Búrca, Irish metrical patterns, «Lochlann», II, стр. 50—57.

³³ S. de Búrca, The patricks: a linguistic interpretation, «Lochlann» III, стр. 278—285; R. Th. Christensen, The people of the North, там же, II, стр. 137—164.

³⁴ S. Marstrand, A new Norwegian find from the Viking period with Western European imported goods. Irish reliquary and hanging bowl found in Romsdøl, «Lochlann», III, стр. 7—42.

³⁵ «Insular Celtic institutions», «Lochlann», II, стр. 182—183; M. O'Fada I. A new Professor of Celtic in Glasgow, там же, III, стр. 434—435; I. C. Peate, The Welsh academy, там же, II, стр. 175—176; J. C. Peate, The Welsh folk Museum, там же, I, стр. 263—264; D. S. Thomson, The Celtic department in the University of Glasgow, там же, I, стр. 272—274.

³⁶ M. Dillon, The Dublin School of Celtic studies, «Lochlann», I, стр. 264—267.

³⁷ Существуют особые книжные каталоги, отражающие издательскую деятельность школы.

³⁸ S. O'Searcigh, Professor Eamonn O Toole, «Lochlann», I, стр. 275—277.

³⁹ M. Dillon, Richard Irvine Best, «Lochlann», II, стр. 187—189; D. A. Binchy, Gerard Murphy, там же, II, стр. 193—196.

⁴⁰ S. F. Sanderson, Calum I. McLean, «Lochlann», II, стр. 189—193.

⁴¹ V. H. Phillips, Griffith John Williams, «Lochlann», II, стр. 437—443.

⁴² D. Green, Michael O'Brien, «Lochlann», III, стр. 443—445.

⁴³ D. S. Thomson, Angus Matheson «Lochlann», III, стр. 445—446.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ТЕРМИНОЛОГИЯ ОНОМАСТИКИ¹

Вопрос об унификации лингвистической терминологии ставился на IV Международном конгрессе славистов (Москва, 1958); была создана терминологическая комиссия, которой было поручено составить словарь лингвистических терминов, употребляющихся во всех славянских языках. Поскольку ономастика — особая отрасль языковедения — оперирует своей, достаточно автономной терминологией, последнюю решено было выделить в особый словарь. Эту работу возглавил сотрудник Пражского института языка и литературы АН ЧССР Я. Свобода. Понятийная сторона терминов разработана сотрудником Института славистики Берлинской академии наук Т. Витковским². Словарь ономастических терминов скоро будет готов. В связи с этим сейчас особенно важно обдумать предложения славистов всех стран и решить, что приемлемо для отечественной терминологии.

Термином ономастика³ обозначается отрасль лингвистической науки, изучающая все виды и типы собственных имен. В отечественной науке ономастикой иногда называют лишь именование людей, а для обозначения антропонимии и топонимии вместе пользуются сложным словом *топономастика* или *ономастология*. Почти во всех славянских языках понятие собственное имя выражается двумя словами, что затрудняет образование соответствующего прилагательного. Иногда в качестве последнего употребляют слово *проприальный* от лат. *propium* — термина, не получившего у нас достаточно широкой известности. Более рациональным представляется введение в русский обиход, наряду с термином собственное имя, термина онома (нескл.,

ср.) и соответствующего прилагательного *ономический*, укладывающихся в ряды уже существующих терминов ономастика, топонимический. Это укрепило бы также употребление встречающихся иногда терминов *ономия* «совокупность всех собственных имен» (ср. *топонимия*, *антропонимия*), *ономастикон* «словарь собственных имен», *ономатолог* «человек, занимающийся ономастикой», *ономизация* «превращение нарицательного имени в собственное» (ср. *топонимизация*), *деономизация* «превращение собственного имени в нарицательное». В этом же значении употребляется термин *ацелятивация*⁴.

По характеру обозначаемых объектов онама делятся на *антропонимы* (греч. *ἀνθρωπος* «человек») — именование людей; *топонимы* (греч. *τόπος* «место» + *ὄνομα*) — названия географических объектов; *зоонимы* (греч. *ζῷον* «живое существо, животное») — клички животных; *астрономы* (лат. *astrum*, греч. *ἀστήρ* «звезда») — названия небесных тел; *астротопонимы* — названия астрографических объектов (деталей поверхности планет); *теонимы* (греч. *θεός* «бог») — имена богов⁵. *Этнонимы* (греч. *ἔθνος* «общество, племя, народность, народ») — названия племен, народов, национальностей, а также различного рода прозвища жителей

⁴ В лингвистической литературе нет единого написания термина *ацелятивация*. Восходящее к западным формам *appellatif*, *appellative* слово это пишут то с двумя *n*, то с двумя *a*. То же происходит и в других сферах русского языка, где употребляются слова с этим же корнем: *апель* и *апельяция*. Считаю, что создавшееся положение позволяет не соблюдать ни одного из возможных удвоенных согласных в русском написании слова *ацелятивация*.

⁵ Теонимы представляют собой особую и совершенно не изученную отрасль ономастики, которая может дать большой материал для древнейшей истории человечества и древнейших этапов развития языка.

¹ В основу статьи положено сообщение, сделанное авторами на расширенном заседании группы ономастики Института языкознания АН СССР в апреле 1968 г.

² T. Witkowski, Grundbegriffe der Namenkunde, Berlin, 1964.

³ Рекомендуемые термины выделяются разрядкой, *нерекомендуемые* — курсивом.

тех или иных мест — составляют особую категорию собственных имен, приближающуюся по некоторым из своих характеристик к именам нарицательным. Групповые прозвища жителей по месту, по профессии, по этнографическим признакам и т. п. включаются в категорию этнонимов условно; дискуссионным для них остается термин *микротэтноним*. Заметим, что термин *этноним*, употребляющийся иногда вместо термина *этноним*, неудачен, поскольку вторая его часть созвучна с конечной морфемой термина *лексикон* (а также *ономастикон* — словарь собственных имен и *топонимикон* — словарь географических названий) и заставляет предполагать, что *этноним* — это словарь этнонимов — вещь пока что не существующая. Кстати, правильной формой для названия такого словаря было бы *этнонимикон*.

Для обозначения многочисленной группы собственных имен вещей и явлений (как-то: пароходы, самолеты, экспрессы, газеты, журналы, литературные и сценические произведения, названия праздников и праздничных дней, различные фирменные названия и т. п.) постепенно получает право гражданства термин *хрематонимы* (предложенный П. Холлем и принятый чехами, украинцами, словенцами). Термин правомерен и по своей структуре, и с точки зрения греческой (как большинство терминов) лексики, положенной в его основу (*χρῆμα* «вещь, предмет; дело»). Эта группа имен также в ряде своих характеристик сближается с апеллятивами.

В категорию собственных имен входят и вымышленные названия людей и мест действия в литературных и музыкальных произведениях. По своей соотнесенности с объектами и субъектами, по смысловой и стилистической нагруженности эта не-реальная онимия не может рассматриваться в одном ряду с реальной, относящейся к действительно существующим субъектам и объектам. Возможно, для этих имен подойдет термин *фиктонимы*.

От фиктонимов следует отличать *псевдонимы* — имена вымышленные, но существующие в жизни, а не на страницах книг. Можно выделить *псевдоандадронимы* — мужские псевдонимы женщин и *псевдогинимы* — женские псевдонимы мужчин. Можно говорить о *псевдоименах*, *псевдоотчествах*, *псевдофамилиях*, *псевдогеографических названиях*. От псевдонимов отличаются *криптонимы* — зашифрованные имена; так, криптонимами фамилии *Леви* будут *Виле* и *Ивель*.

Внутри перечисленных крупных категорий собственных имен выделяются более мелкие, дробные. Так, *топонимы* — обобщенный термин для всех слов, обозначающих названия любых географических объектов, кроме названия самой планеты *Земля*, которое входит в катего-

рию астронимов, — могут быть разделены в зависимости от характера обозначаемых ими объектов следующим образом. Названия любых водных объектов обозначаются термином *гидронимы* (греч. ὕδωρ «вода»). В свою очередь они делятся на *пелагонимы* (греч. πῆλαγος «море») — названия морей, *потамонимы* (греч. ποταμός «река») — названия рек, *лимнионимы* (греч. λίμνη «озеро») — названия озер, *гелонимы* (греч. ἔλος «болото») — названия болот. Названия любых деталей сухопутной поверхности земли обозначаются термином *оронимы* (греч. ὄρος «гора») в широком смысле этого слова. В более узком смысле термин *оронимы* относится только к горам и их деталям. Названия пещер и их частей, обозначаются термином *спелеонимы* (греч. σπήλιος «рот, пещера»). Названия лесных массивов — *дронимы* (греч. δρῖος «чаща, густая заросль»), собственные имена отдельных растений, которые могут служить ориентирами на местности, называются *фитонимы* (греч. φυτόν «растение»).

Все перечисленные термины относились к названиям природных объектов. Но, помимо них, существуют объекты, созданные человеком. Их роль исторически иная, иное место занимают в *ономастике* и их названия. Среди них выделяются *дромонимы* (греч. δρόμος «бег, движение, путь») — названия путей сообщения, главным образом дорог; *хоронимы* (греч. χώρα «пространство; область, край, страна») — названия географических областей, экономических районов и прочих крупных единиц, административно-территориального деления стран и сами названия стран. К объектам, созданным руками человека, относятся и поля, пахотные участки, не имеющие в отечественной терминологии специального обозначения и включающиеся в *микротопонимику*, а также искусственно созданные гидросооружения, названия которых с оговоркой относятся к гидронимии. Но центральное положение в этом разделе занимают названия поселений. В последнее время в международную практику постепенно входит термин *ойконимы* для именования любых типов поселений (греч. οἰκία «дом, домашнее хозяйство, строение, здание»; οἰκίζω «строить, заселять, поселять»), ср. принятый термин *ойкумена* «обитаемая земля, населенные места». Ср. также οἰκονυμία, ἐκονυμία «назвы обydнeлeч мiст», слов. οἰκονιμ, οκονιμ «ime населbнe». Ойконимы в свою очередь могут быть разделены на *комонимы* (греч. κομῆ «деревня, селение, поселок, местечко») — названия сельских поселений и *полисонимы* (полионимы) (греч. πόλις «город») — названия городов. Тогда для названия объектов внутри городов — улиц, площадей, переулков, мостов, зданий, башен и

т. д. — вводится термин урбонимы (лат. *urbis* «город»). Это снимает существующее теперь разногласие: куда относить названия улиц — к микропонимам или к собственно топонимам. Кроме того, украинцами для названия городов предложен термин *астибим* (греч. ἀστὴρ «звезда», «город»), а югославами термин *хорионим* для названия сельских поселений (ср. греч. *χοῖρα* «деревня, область»).

Заметим, что в отечественной терминологии почти все термины, относящиеся к отдельным отраслям ономастики, имеют греческие основы. Отступления в область латинского языка единичны. Сложилось следующее соотношение терминов, оканчивающихся на *-нимия* и *-нимика*: антропонимика, топонимика и т. д. — отрасль знания; антропонимия, топонимия и т. д. — совокупность антропонимов, топонимов.

Антропонимы, не изученные столь детально, как топонимы, не имеют в общей практике достаточно хорошо обработанных и принятых всеми терминов для обозначения более мелких разрядов слов (как оронимия, гидронимия и т. д. в топонимике). Объясняется это и серьезными объективными причинами: географические названия по всему миру однородны, как однородно наличие рельефа, водных объектов и т. п. В антропонимии же типы именований у каждого народа слишком индивидуальны для того, чтобы быть объединены в какие бы то ни было всеобщие категории. Так, наряду с именами и фамилиями, участвующими в именовании жителей Западной Европы, именами, отчествами, фамилиями русских, мы имеем восемь различных типов именований в арабских странах (особенно в период расцвета мусульманства в средние века), *ргаеномен, помен, согномен, агномен* у древних римлян, многоступенчатые именованные в странах Дальнего Востока и т. д.; к тому же все это столь тесно связано с различным родом этнографическими традициями (в том числе и религиозными) и реалиями, мало понятными представителям других стран, что едва ли может быть сведено к каким бы то ни было общим для всех жителей земного шара понятиям.

В зависимости от происхождения, собственные имена делятся на *а п е л я т и в н ы е*, образованные непосредственно из нарицательных имен, и *э п о н и м и ч е с к и е*, образованные от других собственных имен (греч. ἐπιωνυμῶς «наименованный», ἐπιωνυμία «наименование»). Так, для названия города *Ярославль* эпонимом будет *Ярослав*, для фамилии *Сапожников* — эпоним *Сапожник* как прозвище отца или деда именуемого.

Следует обратить также внимание на первичность или непервичность именования. Под *п е р в и ч н о с т ь ю* понимаем образование непосредственно от апеллятива. Эпонимические названия всегда и е-

п е р в и ч н ы и опосредствованы (т. е. не отражают черт именуемого субъекта или объекта). Апеллитивные названия могут быть первичными и непервичными, непосредственными и опосредствованными. Так, пустошь *Волото* у Москвы-реки — название первичное не опосредствованное. Там действительно было болото. После застройки *Волото* как микрорайон города — вторичное, переосмысленное (о п о с р е д с т в о в а н н о е) название от того же апеллятива: *Волотная площадь* — новый акт переосмысления названия, что подкрепляется соответствующей аффиксацией (от болота не осталось и следа, напоминает о нем лишь название). Подобных переосмыслений может быть очень много, и мы не всегда осведомлены о них полностью. Поэтому вместо громоздких терминов *вторичный, третичный* и т. д. топоним вводим унифицированное *непервичный*.

Среди эпонимических имен могут быть выделены: антропотопонимы, теотопонимы, топотопонимы, этнотопонимы — топонимы, образованные от имен людей и богов, от географических и этнических названий; антропоантропонимы, теоантропонимы, топоантропонимы, этноантропонимы — имена людей, образованные от других имен (людей и богов), от географических и этнических названий; топозоонимы, антропозоонимы, этнозоонимы, теозоонимы — имена животных, образованные от соответствующих категорий имен и т. д. Но эти термины едва ли применимы к апеллитивным именам. Так, едва ли следует говорить *зооантропоним*, имея в виду имя человека, образованное от названия, а не от клички животного. Здесь лучше употребить термин *зоофорное имя* (В. И. Абаев, Н. Г. Ахриев), *зоофорный топоним*, *зоофорный этноним*; *фитофорный топоним*, *антропоним* (образованный от названия, а не собственного имени растения), ср. термин *теофорное имя* — имя, включающее в свой состав апеллятив со значением «бог»: *Богдан, Гаерша, Федор*. Отметим также *псевдотеофорные имена*, включающие в свой состав апеллятив, обделенный в идеологическом осмыслении данного народа понятием божественности: итал. *Бенвенуццо*, *Бонифацио*, ст.-русс. *Благослав, Благоден*.

Один из видов образования и способов использования собственных имен *антономасия* — греч. ἀντονομασία «времязование». Термин недостаточно известен в лингвистике, откуда колебания в его написании, произношении и употреблении. Антономасия занимала значительное место в греческой и арабской антропонимии для возвышения человека путем присвоения ему имени прослав-

ленного лица. Своего рода антономасией можно считать прибавление к фамилии Суворова добавления Рымкинский. Антономасией в широком плане называется замена имени нарицательного собственным: Крез — «богач» и наоборот, а также иные способы именованья людей: *Пелеев сын, Пелеид* вместо *Ахиллес*. Иногда к антономасии неправомерно относят значащие имена и фамилии типа *Молчалин, Правдин, Плюшкин* или превращение имен типа *Дон-Кихот* в нарицательные. Антономасия — не превращение, а лишь замена, допускающая и свободную отмену: *Стелан и новый Геркулес* (Крылов, Крестьянин и работник). В значащих же именах типа *Коробочка, Прищ, Правдин* акт замены отсутствует. Эти имена выступают как постоянные характеристики, не имеющие отношения к антономасии. Иногда их собирательно называют поэтическая ономастика, поскольку в живой ткани художественного произведения они несут определенную стилистическую нагрузку.

Отметим еще один мал известный в лингвистике термин *парономасия* (греч. *παρονομασία*) — стилистическая фигура, заключающаяся в постановке рядом двух похожих, но не идентичных слов, а также в обыгрывании известных фразеологизмов с известными именами. См. у К. Чуковского *Иуда из Терийок* (по дочному месту *Терийоки*) — по типу традиционного *Иуда из Кариот*.

Источники собственных имен многообразны и практически неисчерпаемы. Но среди фактов, послуживших основой наименования, или, как принято говорить, его *мотивировки*, есть типичные, повторяющиеся от народа к народу, представленные практически во всех языках, и индивидуальные, редкостные, объясняющиеся исключительно особенностями данной страны (в топонимии — это наличие на домах гербов и прочих отличительных знаков, окопов и укреплений в местах былых сражений, в антропонимии — необычное положение именуемого в обществе). Первые можно отнести к ономастическим *универсалиям*. Такими универсалиями для топонимов будут отражения в них особенностей рельефа местности, растительного и животного мира, прзвищ жителей. Аналогичными универсалиями в антропонимии служат отражения цвета волос и кожи, роста, физических и умственных достоинств и недостатков именуемых.

Лексические основы собственных имен, отражающие ономастические универсалии, мы называем *обязательными, закономерными топо- и антропо-основами*. Соответственно основы, в которых отразились различные раритетные реалии — *необязательными*.

К числу обязательных топооснов относятся лексемы, обозначающие родовые и видовые географические понятия, как-то:

река, озеро, море, село, город и т. д. Слова этого типа широко представлены во всех языках. Обладая высокой способностью к онимизации, они легко становятся собственными именами объектов. Специальное изучению их посвящены многочисленные исследования. Но общепринятого термина для обозначения этих слов пока что нет.

Долгое время их называли *номенклатурными терминами*. Но это двусмысленно: номенклатурный — то ли стоящий при номенклатуре, то ли входящий в нее (о номенклатуре см. ниже). Затем было предложено определение: *местные географические термины*, которое оказалось столь же двусмысленным: *местные* — то ли обозначающие место, то ли употребляющиеся на местах, т. е. в территориальных диалектах. Встречаются иногда названия *термины-индикаторы, детерминативы* (обычно у тюркологов), *классифицирующие слова*. Чехи употребляют в этом случае термин *идентифицирующий член*, немцы *Grundwort* — *основное слово* (имея в виду скорее структуру названия), болгары, вслед за немцами — *главный член* сложного имени. Последнее название приемлемо: с точки зрения строения топонимов это действительно так, с семантической наиболее верно будет называть слова типа *село, озеро, река, гора* просто *топонимическими терминами* или *народными географическими терминами*, имея в виду под первым общепринятое значение, единое по всей стране: русск. *гора, река, город, тундра, тайга*, а под вторым — значения, которые подобные слова имеют в разных областях и диалектах (*тайга, тундра* в разных частях нашей страны).

В связи с тем, что *топонимические термины* иногда называют *номенклатурными*, остановимся на отличиях понятий «номенклатура» и «терминология». *Номенклатура* — это то, что существует в списках, что относится к однопонимным объектам, это собственное название, в состав которых могут входить и термины. *Терминология* — обязательно *понятийна*: она классифицирует объекты, систематизирует их, объединяет в определенные ряды.

Топонимические термины отличаются от технических тем, что они более номенклатурны, в то время как технические — более понятийны. Технические термины меняются вместе с развитием науки и техники. Топонимические термины, входя в номенклатурный ряд, «консервируются» в нем, надолго оставаясь в неизменном виде. Они могут сохраняться в составе названий, даже если язык, на котором они созданы, перестает быть понятийным: *Дарья, Чу, Терек, Чат, Шат* и др. Технический термин обязательно обозначает то, что есть данный предмет (*шестерня, колёр, мачта*), географический тер-

мин может быть в качестве номенклатуры перенесен на другие объекты: село *Озеро*, гора *Лес*.

Номенклатурное слово может превратиться в термин, равно как и термин в номенклатурное слово. Яркие примеры таких превращений находим в топонимии: *карасу*, *кушка* — новые термины, бывшая номенклатура, ср. *Чат*, *Шат*, *Джур* — номенклатура, бывшие термины.

К универсалиям ономастики относится и такой прием, как метафора — создание образного названия. Метафорических названий особенно много у физико-географических объектов: камни *Лягушка*, *Солдатский Хлеб*, *Чертов Палец*, что порождено сходством объектов с указанными предметами или понятиями фольклора. Метафорических антропонимов особенно много среди прозвищ: *Гроза Лесов*, *Баба-Яга*, *Заяц*, *Волк*, выделяются среди них и метонимические: *Борода*, *Шляпа* и др.

Отметим крайнюю нежелательность употребления термина *метафора* в топонимии в другом значении: как перенос названия с одного объекта на другой: *Москва* в СССР и в США, *Варшава* в Польше и в США. Для этого «пересаживания» названий с одного места на другое имеются термины *перенос*, *трансплантация*. Это закономерный процесс, не связанный ни с какими стилистическими фигурами, и термин стилистики здесь не требуется. Едва ли стоит применять и термин *метонимия*, если одно и то же название переносится с горы на реку или на равнину и т.п. Термин *распространение* будет здесь самым подходящим.

В структуре и о плане имена собственные могут быть простыми (производными и непроизводными) и сложными словами, а также словосочетаниями. Простота и сложность слова зависит от понятности имени в данном языке. Для русского языка к простым непроизводным названиям относятся имена чужих языков, строение которых непонятно: *Витим*, *Чулим*, *Эльбрус*, *Дон*, а также слова своего языка, превратившиеся в собственные имена без дополнительных форматов: омонимичные нарицательные аелятивные имена типа *Вера*, *Идея*, *Коммунар*, (от)аелятивные топонимы: *Победа*, *Коммуна*, *Урожай*. Особенно много среди них онемизированных топонимических терминов: *Курган*, *Городище*, *Белок*, *Тайга*. Здесь и улевая топонимическая аффиксация, хотя сами по себе онемизированные слова могут быть и суффиксальными (но на дотопонимической стадии).

Такой способ образования имен в последнее время часто называют *семантическим*, однако правомерность такого названия сомнительна. Термин этот возводят

к В. В. Виноградову. Однако под семантическим, или лексико-семантическим словообразованием (а не способом образования) В. В. Виноградов имеет в виду обозначение новых понятий путем иного применения старых слов: 1) калькирование различного рода, 2) переосмысление слова (*долеет*), 3) расщепление некогда единого слова на несколько омонимов, 4) образование нарицательных из собственных (*Фефёла*, *хазронья*, *Фофан*), но не собственных из нарицательных⁶. Все перечисленные случаи вполне лингвистически оправданы, поскольку имеется в виду изменение семантики слов, давно существовавших в данном языке, их переосмысление и установление связи слова с новым понятием.

В случае же безаффиксального образования собственного имени из нарицательного имеется в виду совсем иное. Прежде всего, при любом превращении нарицательного в собственное имеет место десементизация. Слово порывается, если не полностью, то частично, с тем понятием, с которым оно соотносилось как нарицательное, и получает иное название, для осуществления которого связь с понятием оказывается не только ненужной, но и тормозящей.

Таким образом, меняется в первую очередь применение слова. Семантика *тайга* в смысле «лес» может быть легко обнаружена в названии *Тайга*, если речь пойдет о его происхождении, но не это сейчас главное. Основное в данном способе образования собственных имен — онемизация аелятива. Можно также это назвать ономастической конверсией, способом с нулевой ономастической аффиксацией, без специальных форматов. Столь же неверно, как *семантическим*, называть этот способ *метафорическим*, поскольку последний имеет в виду стилистическую фигуру, а здесь стилистика не при чем.

В состав имени может входить одна или несколько основ. Особенно большую роль в индоевропейской ономастике сыграли двусловные имена, представленные почти у всех народов. Но с древнейших же времен двусловные имена, если они были слишком длинными и неудобными в обращении, подвергаются сокращению. Упрощения и сокращения подвергаются и имена-словосочетания, и длинные производные имена. Все это разные звенья одного процесса, уравновешивающего противоположно направленный

⁶ В. В. Виноградов. Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии (На материале русского и родственных языков), сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952.

процесс — к уточнению имен, а следовательно к включению в их состав добавочных элементов.

Однословность имен-словосочетаний может быть достигнута различными путями:

1. Следующие друг за другом компоненты имени сливаются, не претерпевая каких-либо существенных изменений (кроме ассимиляций на стыках): нем. Ханс + Дитер — Хансдитер, Мари + Анна — Марианна, русск. Устюг из Усть + Юг, нем. Фиуренхайлиген. Т. Витковский называет это *usammenrückung* (свертывания), чехо-латинским термином *juxtapositum* — с оплодотворением, или несобственно сложеное. Можно предложить также термин ономастическое сращение. Как частный вид такого сращения можно рассматривать объединение предлога с существительным: Подлипки, Подмог. Иногда это явление называют *агглютинацией*, что не вполне согласуется с тем пониманием агглютинации, которое принято в тюркологии, а потому едва ли заслуживает того, чтобы его употребляли. Неправомерность термина «агглютинация» в этом значении видна еще и из того, что термин, обратный ему, во всяком случае по составу, *дегглютинация* (который предполагал бы отделение предлога или других служебных частей от корня) обозначает у европейских лингвистов совсем иное: его употребляют как эквивалент терминов декомпозиция, переразложение, разложение, которые отнюдь не предполагают утраты словом каких бы то ни было элементов, а лишь иное восприятие сложного или производного слова: улица Кичкина (гор. Ташкент) — кичкина — узб. «маленькая» — русск. притяжательное прилагательное от непонятого имени *Кичка. Декомпозицией в широком смысле слова следует называть все перечисленные здесь случаи.

2. Словосочетание превращается в одно слово при сохранении связи компонентов, но с заменой словосочетания словопроизводством: Гоусерова Лыотка — Гоусеровка, Долаа весь — Долааец, Шизково село — Шизков. А. А. Реформатский называет это явление *соединением*, имея в виду сведение внешней синтагмы к внутренней, чехи — *универбизацией*, подразумеваемая под этим термином превращение в одно слово. Но в словаре Ж. Марузо *универбизация* отождествляется с *несобственно сложенным*.

Представляется, однако, что термин *универбизация* более широкий и всеобъемлющий и что под него можно подвести оба случая как два различных превращения многословного (или двусловного) названия в однословное, хотя при этом и происходит разные процессы. Отметим, однако, что термин *универбизация* не вполне подходит для русской лингвистики, поскольку в нем ясно чув-

ствуется ассоциация с лат. *verbum* в значении «глагол», а не «слово» вообще.

3. При нескольких именах человека называют лишь одним, которое делается обиходным (нем. Rufname).

4. Аббревиация: Донецкий бассейн — Донбасс, чеш. Калифорния и Мексико — Калексико, ЮАР — Южно-Африканская Республика, БАМ — Байкало-Амурская магистраль. Названия последнего типа именуются также акронимы.

5. Элипс — превращение двусловного названия в однословное путем опущения одного из компонентов, обычно топонимического термина: русск. Великая река — Великая, Чудское озеро — Озеро, тюрк. Баялты-коль — Баялты.

6. Аллегрформы, или формы имен в быстрой речи. К ним в русском языке относятся варианты типа Сан-Саныч (Александр Александрович), Ван-Осины (Иван Иосифович) и т. д.

Однословные названия могут в свою очередь сокращаться несколькими путями.

1. Имя укорачивается за счет выпадения отдельных элементов при сохранении других (обычно начальных и конечных фонем): нем. Альф < Адольф, Дирк < Дидрик. Слависты называют это контракцией, стяжением, Т. Витковский — *Zusammenziehung* (стягиванием, стяжением).

2. В трехосновных именах выпускается средняя часть: нем. Зальцбург > Зальцбург, чеш. Средиземноморский > Средоморский. В русском языке для этого явления специального термина нет. Немцы называют это «заключение в скобки» (*Klammerforme*), чехи — *Zredukované jméno*, но термин опять-таки более широкий, чем понятие, в него вложенное. Белорусы — *заіспісныя імяны* — термин также неподходящий (см. выше).

3. Опрожнение — утрата первоначальной внутренней формы, что обычно сопровождается различными фонетическими изменениями. Так, образованный от имени Всеволод топоним Всеволожь > Свилозь.

4. Различного рода выпадения фонем и их групп: гаплогия — выпадение подобных элементов, особенно в середине слова (*Малоросейка* > *Маросейка*); элизия — выпадение гласных на стыках слов (*За озеро* > *Зазеро*).

5. Исчезновение фонем или их групп: аферезис — в начале слова (*Александр* > *Сандр*), синкопа — в середине слова (*Кононов* > *Коннов*), апокопа — в конце слова (*Александр* > *Алексан*).

Усечение начальных и конечных элементов может сопровождаться добавлением специальных суффиксов к усеченной основе: Евгений — Егген — Еггеша. Остановимся на сокращенной форме личных имен как противостоя-

шей их полной форме. Сокращенные личные имена — это особые слова, связь которых с полными именами бывает не всегда очевидна и жидется не столько на логическом выведении одной формы из другой, сколько на общественном знании их взаимосвязи. Многие сокращенные имена имеют ласкательный оттенок значения, однако основная цель сокращения имен — облегчение их употребления.

В русском языке и к полным, и к сокращенным формам имен могут быть добавлены суффиксы субъективной оценки; эти суффиксы могут придавать именам мелиоративный (возвеличивающий), пейоративный (уничжительный), детерпоративный (принижаящий) или гипокористический (ласкательный) оттенок значения.

Субъективно-оценочными могут быть любые формы имен в зависимости от того, кто и по отношению к кому их употребляет. Степень оценки не измеряется числом присоединенных к слову суффиксов. Нет «средней» точки, находясь на которой можно было бы справа отмечать пейоративы, а слева — мелиоративы. Е. Курилович и С. Роспонд сокращенные имена называют гипокористиками, а ласкательные — деминутивами, чехи и немцы ставят знак равенства между теми и другими. У поляков деминутивы⁷ образуют-

ся на базе гипокористиков, у русских ласкательные могут образовываться и от полных форм имен: *Иванушка* и *Ванюша*. У поляков нет такого отчетливого плана пейоративных имен наряду с мелиоративными, как у русских или немцев. Все суффиксы у них придают ласкательное значение: *Stanislaw* — *Sta-sz*, *Sta-ch*, *Sta-s*; *Sta-s-ek*.

В отечественной литературе нередко можно встретить объединенный термин: *уменьшительно-ласкательные имена*. От него следует отказаться как от двусмысленного. Объединение этих двух понятий не способствует изучению сокращенных форм имен, занимающих в русском языке особое положение.

Таковы основные пункты ономастической терминологии, нуждающиеся в скорейшей унификации. Помимо них, существует еще немало более мелких, частных терминов, употребляемых разными специалистами по-разному, но они будут унифицированы, как только будет установлено единство в употреблении узловых терминов, относящихся к основным понятиям ономастики.

В Западной Европе пишут *диминутив*, объединяя его в один ряд с таким международно известным словом как *diminuendo* и отталкиваясь от значения приставки *de* в словах типа *денатурализация*, *демонстрация*. В Восточной Европе пишут *деминутив*, возводя к новолатинскому *demino* «уменьшать», *deminitio* «уменьшение»

⁷ Не существует единства в написании термина *деминутив/диминутив*. В За-

И. В. Подольская, А. В. Супранская

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПО ПОВОДУ РЕЦЕНЗИИ Е. М. ПОСПЕЛОВА
НА «RUSSISCHES GEOGRAPHISCHES NAMENBUCH»

Еще незадолго до публикации первых выпусков «Словаря русских географических названий»¹ (СРГН) нельзя было рассчитывать на появление ономастического свода, охватывающего хотя бы с относительной полнотой названия населенных мест (ННМ) Восточной Европы. Начатые в этом направлении в Советском Союзе работы или так обстоятельны и трудоемки, что вряд ли можно ожидать их окончания в недалеком будущем², или представляют собой списки современных ННМ, которые охватывают лишь малую часть Советского Союза, причем в них не содержатся варианты географических названий и нет указаний на расположение селений на реках, озерах и т. д.³

Из сказанного ясно, что на основе имеющихся источников современных ННМ нельзя создать полный свод ННМ. Не следует также забывать, что основная цель работы типа СРГН — в первую очередь топонимическая и историческая, и что авторы не имели в виду составление, скажем, почтового справочника. Следует учитывать, что единственный период, когда все ННМ почти полностью зарегистрированы, это — вторая половина XIX в. Таким образом, «несовременность» СРГН, на которую указывает Е. М.

Поспелов, была вынужденной и неизбежной.

Рассмотрим теперь вопрос топонимической целесообразности выбора второй половины прошлого столетия как исходной базы для СРГН. Как было подчеркнуто во введении к СРГН (стр. XIII), широкое развитие грамотности, почтовых связей и путей сообщения, изменения в хозяйственном и общественном строе и потребности администрации с конца прошлого столетия привели к резкому перелому в структуре ННМ Восточной Европы. Самым ярким признаком этого перелома является н о р м а л и з а ц и я названий в лексическом, морфологическом и фонетическом отношении, чему в немалой степени способствовало ослабление взаимосвязи между конкретными признаками означаемого объекта и его названием. Это в большой мере привело к устранению первоначальной вариантности ННМ и к сглаживанию их диалектных особенностей в пользу письменных норм.

В связи с лексической вариабельностью интересно указать, например, на материал, приводимый в СРГН II, 9: *Вахрушевская 1. (Долгие, Долговская), 4. (Шастовская); Вахрушевская Покровской Церкви (Луговые); Вахрушевский (Зайцы); Вахрушевский 1. (Михневы), 2. (Демидовцы); Вахрушев см. Выставка Спиридоновская; Вахрушевы Середики см. Наволок; к морфологической вариантности: СРГН I, 367 — Везовка 318. (Березова); Березовка Верхняя 2. см. Верх-Березовка; I, 369 — Березовой Наволок (Березо-Наволок, Березово); I, 356 — Березки 22. (Березка), 25. (Березовка); I, 265 — Бараново 1. см. Барановская; I, 266 — Бараново 34. см. Барановка, 77 (Барановка), 79. (Барановка), 82. (Баранцова); к фонетической вариантности — а) внутриязыковой: СРГН I, 266 — Бараново 67. см. Бараново (б. Псковская губ., гиперкорректная реакция на акантинский говор); I, 272 — Бардино 13. см. Бардино. 14. см. Бардино (б. Смоленская губ., богата такими фонетическими вариантами); Бардинская 2. см. Бародинская, Бардинское (Бародинское); II, 272 — Вяженка см. Вежонка; Вяжички (Вежички), Вяженое 3. см. Вежное*

¹ «Russisches geographisches Namenbuch», begründet von M. Vasmer und hrsg. von H. Bräuer, Wiesbaden, 1962 и сл.

² Ср., например: «Історія міст і сіл Української РСР», 1, Київ, 1967 (предусмотрено 26 томов).

³ Ср., например: «Белгородская область (административно-территориальное деление на 1.1.1959 г.)» Белгород, 1959, 155 стр.; «Татарская АССР (административно-территориальное деление)», Казань, 1963, 362 стр. (частично с татарскими вариантами); «Довідник адміністративно-територіального поділу Житомирської області», вид. 2-е, Житомир, 1965, 184 стр.; «Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas», 2. leid., Vilnius, 1959.

(из акающей области); б) разноязыковой: I, 623 — *Вабалишки* (литов. *Vabališkė*, польск. *Wabeliszki, Abeliszki*); *Ваболь* (латыш. *Vabale*, польск. *Wabole*); I, 626 — *Ваданы* (латыш. *Vāglēni*); *Вадени* 1. (рум. *Vodeni*), 2. (рум. *Vădeni*); I, 631 — *Валентиново* (польск. *Walentyńów*); I, 632 — *Валки* 8. (фин. *Valkiasaari*); *Валков* 1. (словацк. *Valkov*, венг. *Valkó, Kisvalkó*); I, 646 — *Варгавока* 88. (польск. *Barbarówka*). Поскольку нерусские варианты взяты из дореволюционных русских списков населенных мест, их языковая принадлежность не обозначалась, ибо орфография этих списков позволяет лишь приблизительно восстановить нерусский вариант, ср. например, СРГН I, 231 — *Базакоская* (удм. *Базак-Гурт*) — варианты здесь часто лексические, например, I, 195 — *Амас-Гурт* и *Амас-Пи*, см. *Петузовская* (перевод); I, 1 — *Абагурт*; удм. см. *Кулакоский*; или же I, 362 — *Березовая Гора* 2. (карельск. *Koiva-Gam-Maaja*) (перевод). Относительно устранения многовариантности ср. например, СРГН II, 160 — *Волоктеровка* (*Бабей*), теперь лишь *Волоктервока* (б. Аккерманский уезд/Молд ССР); II, 300 — *Галагоры Низшие* (*Галагорская*), теперь *Нижние Хологоры* (б. Хотинский уезд/МолдССР); II, 351 — *Гулишевка*⁴ (*Белюсовка*), теперь лишь *Белюсовка* (б. Хотинский уезд/Черновицкая обл.).

Социальные изменения обнаруживаются в многочисленных переименованиях. Огромное число новых поселений в своих названиях отражает новую хозяйственную и социальную среду, резко отличающуюся от строя предыдущих веков. Ср. переименования характера патристичного, как *Хмельницкий*, б. *Прокуров*; *Ивана Франко*, б. *Лябю*; относительно характера новообразований, обусловленных упорядочением языковых областей ср. такие ННМ, как *Озерное*, г.Измаил, бывшая румынская колония *Vabel Plaseni*, бывшая румынская колония *Barta* (Ренийский р-н, Одесская обл.); *Нагорное*, бывшее *Karagac/Caragaci*, там же; *Вишневое* (Тузовский р-н, Одесская обл.), бывшее *Karagac/Caragaci*. Упорядочение этнических границ, осуществленное советской властью, привело к замене старых весьма нечетких областей распространения отдельных народностей вполне определенными границами с учетом языковых ареалов. Таким образом, можно констатировать значительный перелом в структуре и составе ННМ и в отношении их национальных признаков.

Процесс нормализации лучше всего

⁴ О выравнивании диалектных особенностей ср., например: J. Prinz, *Die Slavisierung baltischer und die Baltisierung slavischer Ortsnamen im Gebiet des ehemaligen Gouvernements Suwalki — Versuch der Entwicklung einer Theorie der Umsetzung von Ortsnamen am praktischen Beispiel*, Wiesbaden, 1938.

можно иллюстрировать на примере литовского языка и литовских ННМ. Оказывается, что только приобретение языком статуса официального приводит к широкому устранению диалектизмов, в частности, в области ННМ. Ср., литовское письменное *-inink-* вместо местного *-inyk-* и устранение дзуканья в пользу литературной недзукающей нормы и отражение этих явлений в списке «Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas» (Lit. 59), с тенденцией к нормализации в сравнении со «Списком населенных мест Сувалкской губернии как материал для историко-этнографической географии края» Э. А. Вольтера, СПб., 1901 (Вольтер). Э. А. Вольтер старается передавать по возможности все диалектные особенности употреблявшихся тогда местных форм ННМ. Рассматривая материал Лаздийского (дзукающая часть) и Вейсейского районов в административному делению 1959 г. по отношению к вышеуказанным признакам, мы получим следующую картину: из форм Вольтера на *-inyk-* в Lit. 59 сохранялась лишь *Babraunykai* (Лазд. р-н, Lit. 59, стр. 232); во всех других случаях вместо *-inykai* вводилось письменное *-ininkai*, например, в Вейсейском районе *Druskininkai* (Вольтер, стр. 82), Lit. 59, стр. 551; *Druskininkiliai*; *Dulginkai* (Вольтер, стр. 80), Lit. 59, стр. 548; *Dulginkai*; *Paserninkai* (Вольтер, стр. 64), Lit. 59, стр. 551; *Paserninkai*; St. Tarvydas, *Lietuvos vietovardžiai*, Vilnius, 1958, стр. 45: в местном диалекте теперь *Pasarnykai* наравне с *Paserninkai*, т. е. явное переразложение из письменного *-ininkai*, ср. топоним *Seitriai* или гидроним *Seitrijs* (местечко или озеро вблизи названного поселения); из Лаздийского района *Uzdininkai* (Вольтер, стр. 54), Lit. 59, стр. 234; *Udininkai*. Дзукающие диалектные формы в списке Lit. 59 сохранились несколько больше, ср., например, редкий случай сохранения дзуканья в начале слова *Dziviliskiai* (стр. 229). Все же число форм этого списка, в которых дзуканье устранялось, значительное; ср. для Вейсейского района *Dzidziasalis* (Вольтер, стр. 80), но Lit. 59, стр. 548; *Didziasalis*; *Vilkiacuinis* (Вольтер, стр. 70), Lit. 59, стр. 547; *Vilkiatunis*; для Лаздийского района *Gurciske* (Вольтер, стр. 132), Lit. 59, стр. 233; *Gurtiske*; *Kasteliaciske* (Вольтер, стр. 54), Lit. 59, стр. 234; *Kasteliatiskė*; *Kirciliskė* (Вольтер, стр. 76), Lit. 59, стр. 230; *Kirtiliskė*; в списке «Lietuvos apgyventos vietos — Pirmoje visuotinojo Lietuvos gyventoju 1923 m. surašymo duomenys», Kaunas, 1925 (Lit. 23) также нередко проводится нормализация, но часто это приводит к другим результатам; например, для вышеуказанного *Dziviliskiai* (Lit. 59, стр. 229), *Dziviliskės* (Вольтер, стр. 54) он дает *Diviliskiai* (Lit. 23, стр. 265), устраняя признаки дзуканья; звук *ц* польского *Makowszczyzna* он передает

по письменным нормам не существовавшим в местном дзукающем диалекте литовским *š* (*Makaušiškė*, Lit. 23, стр. 132), тогда как список Lit. 59, стр. 232, исходя из местной, дзукающей формы *s* с вместо письменного *š*, неэтимологическим путем заменяет диалект. *s* письменным *t*; с дзукающих диалектов может отражать письменное *t* перед гласными предерного образования, так же как и письменное *š* (< *tš*) — так что получается *Makautiš-kė*.

Нельзя не признать, что определение природы, размера и причин указанного перелома — важная задача восточноевропейской ономастики. Необходимо предпосылкой выполнения этой задачи является создание полного свода ННМ за период до наступления этого перелома. Именно такие задачи и призван выполнять СРГН, являющийся своего рода сравнительной базой для дальнейших исследований в этой области. При этом вряд ли можно забывать, что ономастика в широком смысле является исторической наукой.

Здесь надо остановиться на взглядах В. А. Никонова, автора важных и новаторских работ по ономастике «L'Étymologie? — Non, l'Étiologie»⁵ и «Поиски системы»⁶. В своей статье «Ономастика на V Международном съезде славистов и Славянский топонимический атлас»⁷ В. А. Никонов настаивает на том, что для дальнейших исследований восточноевропейской топонимии необходима синхронная база в виде полного свода ННМ определенной эпохи, причем дает предпочтение их современному составу. Таким образом, различие между представлениями В. А. Никонова и концепцией СРГН по своему существу ограничивается тем, что В. А. Никонов предпочитает регистрировать сначала современные формы, а СРГН,

⁵ «Revue internationale d'onomatistique», 12, 1960, стр. 161—166. Здесь выявляется необходимость полного обоснования всех морфологических, лексических и фонетических признаков топонимов действующими на месте географическими, историческими, этническими, языковыми и т. п. показателями.

⁶ «Этимология», М., 1963, стр. 217—235. Здесь В. А. Никонов показал, что слова данного языка в качестве членов различных пересекающихся рядов фонетических, морфологических и семасиологических признаков, определяющих историю и развитие словарного состава, представляют в итоге элементы цельной системы. Соображения этих двух статей во многом определили исследования автора настоящей статьи; ср.: J. Prinz, Zur Frage slavischer Orts- und Personennamen auf süddänischen Inseln, ZfslPh, XXXIII, 1967, стр. 79—130, в частности стр. 89, 106.

⁷ ВЯ, 1964, 2, стр. 141 и сл.

по изложенным причинам, сначала формы прошлого столетия.

По современному составу ННМ, например, в списке топонимов отсутствовала бы почти полностью основа тюркского происхождения *кишла*, ср., например, *Кишла Нежимова* (*Кишла Перковская, Сняково*; рум. *Cișla-Nedjima, Cișla-Negîma*), теперь *Осеоловка*; *Кишла Салеева* (рум. *Cișla-Saliî*), теперь *Подворное*; *Кишла Замжиева* (рум. *Cișla-Zamjii*), теперь *Подворьева*, все в б. Хотинском уезде, теперь в Черновицкой обл. Дореволюционные формы можно найти в источниках СРГН — «Bess.», № 1049, 952, 950; «Arbore», стр. 68 и «Dicționarul statistic al Basarabiei», Chișinău, 1923, стр. 328 и 330.

Предлагаемое Е. М. Поспеловым ограничение ННМ восточнославянского происхождения вряд ли можно признать целесообразным по следующим причинам. Вряд ли имеется европейский язык, который был бы однородным по своему словарному составу. Рассмотрение языка и его топонимов поэтому не может ограничиваться его автохтонными элементами, причем следует учитывать, что такую автохтонность во многих случаях трудно определить и что сверх того ее определение входит в область этимологии, т. е. находится явно за пределами тематики работ типа СРГН. Развитие восточнославянской языковой области отмечается непрерывной ассимиляцией все новых и новых неславянских этнических элементов. Славянская область конца праславянской эпохи в своей восточноевропейской части занимает лишь малую часть современного восточнославянского ареала. Речь идет об обширных пространствах балтийского, финно-угорского и иных субстратов⁸. Ареалы, сохранившие первоначальный языковой характер, все же претерпели сильное восточнославянское влияние. По этим причинам задача топонимического свода типа СРГН состоит в создании предпосылок для определения восточнославянских элементов или же восточнославянских показателей развития топонимов Восточной Европы, тогда как этимологическое разделение состава ННМ по их изначальной языковой принадлежности — задача, которую можно и нужно выполнить лишь на основе такого свода ННМ (и гидронимов), т. е. после, а не до его составления⁹. Благодаря письменной фиксации славизированные

⁸ Ср. показательную карту распространения балтийского, финского и иранского субстратов в области верхнего Поднепровья по данным топонимии в работе В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» (М., 1962), приложение, карты 2, 3.

⁹ См.: В. А. Никонов. Ономастика на V Международном съезде..., стр. 142, примеч. 11.

формы в неславянских областях во многих случаях лучше, чем современные неславянские формы (претерпевшие все изменения данного неславянского языка), отражают древние черты неславянских диалектов, относящиеся к отдаленному прошлому начала восточнославянского влияния¹⁰.

Для местностей, населенных другими народностями, материал ННМ прошлого столетия является вообще единственным сравнительно полным источником изучения наиболее древних неславянских форм. Кроме того, эти славизированные названия содержат типичные восточнославянские языковые признаки периода начала восточнославянского влияния в соответствующих областях.

Здесь можно указать, например, на сравнительно поздно попавший под интенсиное русское влияние Глазовский уезд б. Вятской губернии, на территории которого отмечено предпочтительное применение суффиксов *-ск* и *-ка* при славизировании топонимов и гидронимов удмуртского и иного нерусского происхождения. При этом суффикс *-ск* предпочитается при славизировании ННМ, как например, в *Андрешур-ской* (СРГН I, 120), *Багашур-ской* (I, 225), *Дозношур-ской* (III, 163), *Иошур-ской* (III, 616, ср. СРНР II, 127) и т. д., со вторым членом удм. *шур* «речка», между тем как у гидронимов преобладает *-ка*, например, *Гондыровка* (СРНР I, 482), ср. *Гондыр-Гурт*, и т. д. (СРГН II, 426); *Вишур-ка* (СРНР I, 327), *Диньшур-ка* (СРНР I, 593), *Коллевай-ка* (СРНР II, 400). Это предпочтение суффикса *-ск* наблюдается вообще на территории бывших Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской губерний, поздно попавших под славянское влияние. Формы ННМ на *-ск* нельзя рассматривать в качестве искусственных образований¹². Речь идет, напротив, об уже несколько раз упомянутом переломе в структуре восточнославянской топонимии, который ясно ощущается в формах «Списка населенных мест Вятской Автономной Области» (Ижевск,

1924), включающего и ННМ б. Глазовского уезда. За малыми исключениями этот список (впрочем очень богатый ценным удмуртским ономастическим материалом), в отличие от списка Вятской губернии 1876 г., предпочел бессуффиксные формы. Ср., например, *Абагурт* (стр. 140) и СРГН I, 1 *Абагурт* см. Кулаковский; *Андрешур* (стр. 78) и СРГН I, 120 *Андрешурской* (Чекаен, Зявез); *Ванягурт* (стр. 20) и СРГН I, 640 *Ванягурт* см. *Мало-Варыжской*; *Вогурут* (стр. 144) и СРНР II, 131 *Вогурут* см. *Чужекшурская*. Это явление не ограничивается названиями удмуртских селений, где его можно объяснить и восстановлением удмуртской языковой структуры, но распространяется и на русские и русифицированные селения, ср. *Кечгурт* (стр. 34), *Кабачигурт* (стр. 50), *Сарчигурт Русский* (стр. 174), *Сикогурт* (там же) и т. д. Суффикс *-ск* характерен для ННМ прошлого столетия и встречается в областях, поздно попавших под русское влияние, в связи с чем его следует отличать от гнезд, славизированных ранее; ср. типичные для таких районов б. Вятской губернии формы на *-ичи*, *-цы*, *-ята*, *-овик* и *-яв*, как например, *Васеничи* (СРГН I, 653), *Ванькицы* (I, 639), *Васкицы* (I, 672), *Варлаамята* (I, 649), *Бережата* (I, 350), *Бережана* (I, 349), *Боровики* (I, 494).

В упомянутой статье «Ономастика на V Международном съезде славистов...» В. А. Никонов отвергает возможность пользования «Списками населенных мест Российской империи», из которых, как известно, почерпнут основной материал ННМ для СРГН, в связи с их «ненадежностью». Нельзя оспаривать, что эти списки содержат ряд опечаток. Однако в подавляющем большинстве случаев их легко можно исправить. Отчасти эти немногочисленные опечатки выявляются благодаря необычности формы, например, в списке Вятской губернии 1876 г. *Парзинская* (№ 3495) вместо *Парзинская* (см. стр. LXVIII), *Сема-Ни* (№ 3222) вместо правильного *Сема-Ни* (стр. LXIII)¹³. Однако редко бывают

¹⁰ Ср., например, из башкирской этнической области *Ильмова* (Зильмова); *Зильмердяк*, башк. *Елтәтәк*; *Зилаир*, башк. *Иллайыр* с переходом *з > ж*; *Сакмар*, башк. *һакмар*, с переходом *с > һ*, где славизированные формы конца прошлого столетия благодаря их письменной традиции отражают древние башкирские *з*, *с*, которые только после начала русско-башкирских контактов переходили в современные башк. *й*, *һ*, ср. *һалам* = соломка, *һалдат* = солдат. Ср. СРГН III, 507 и «Башкирско-русский словарь», М., 1958, особенно стр. 739 и сл.

¹¹ СРНР — М. V a s m e r, Wörterbuch der russischen Gewässernamen, Berlin — Wiesbaden, 1963, и сл.

¹² J. P r i n z, «Beiträge zur Namenforschung», 14, 1964, стр. 310—312.

¹³ Ср. *Парзя*, древнее *Парзи*, форма, выступающая и как предложный падеж, отсюда вариант *Парзь* (СРНР III, 586), речка; или удм. *пи* «сы», выполняющее в топонимах функцию, которую приблизительно можно сравнить с функцией русского суффикса *-ичи* в славянских ННМ. Ср. такие случаи, как *Астапеки* (СРГН I, 191) вместо ожидаемого *Астапенки* от *Астан* (акающий вариант имени *Остан* от *Естафий*). Особенно при составлении первых выпусков СРГН чувствовался недостаток контрольных источников, так что пришлось сперва отложить проверку и исправление таких форм до составления отдельного выпуска, посвященного именно этой задаче.

случаи, в которых нет возможности установить правильную форму¹⁴.

Инструкции Статистического комитета Министерства внутренних дел требовали записывания ННМ в форме, употребившейся на месте данных населенных пунктов. Лица, собиравшие материал и, за редкими исключениями, редакторы списков, к счастью, не были языковедами. Поэтому понятно, что нормализация, проведенная при редактировании списков, осуществлялась механическим способом, так что легко установить ее воздействие на формы ННМ.

Вводились великорусские *-ов, -овка* вместо украинских *-ів, -івка* и белорусских безударных *-аў, -аўка*. Украинский суффикс *-ськ-* заменялся русским *-ск-*. Дзеканье устранялось полностью. Украинское *i < ъ* передавалось этим же ятем, и лишь изредка буквой *и*. Другие диалектные признаки, как, например, признаки аканья, яканья, североукраинского аканья устранялись непосредственно, лишь в случае производных от общепотребительных в литературном языке корней типа *берез-*. Более поздние списки часто сохраняют и вышеуказанные особенности; так, например, списки Виленской и Ковенской губерний обыкновенно правильно сохраняют дзеканье в ННМ для белорусских селений. Особенно слабо чувствуется нормализация (в этом случае по нормам польского языка), во многих формах источника «SG»¹⁵; она ограничивается главным образом заменой украинских *-ів, -івка* польскими *-ів, -івка* и русского *-щина* польским *-szczyzna*.

Если учесть, что нормализация форм ННМ захватывает лишь их самые стереотипные признаки при сохранении всей старой многовариантности и всех своеобразных и поэтому особенно важных диалектных особенностей, и если существенной задачей ономастики считать историко-лингвистическую, то с полным правом можно считать, что источники СРГН представляют весьма ценный материал, который никак нельзя заменить материалом современности, но только можно им дополнить. Многое из того, что содержится в списках, стало теперь историческим, т. е. исчезло без следа, и никакие старания нашего поколения не смогут теперь восстановить на месте этот материал.

¹⁴ Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде владеет богатым фондом списков населенных мест, особенно пригодных для проверки собранного для СРГН материала. В связи с этим было бы очень желательно, чтобы составителям СРГН была предоставлена возможность пользоваться хотя бы микрофильмами этих материалов.

¹⁵ «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich», 1—15, Warszawa, 1880—1902.

В заключение надо обратить особое внимание на то, что фонетические различия, отражающиеся в вариантах СРГН, лишь в очень незначительной степени — опечатки. В большинстве случаев они объясняются языковыми и ономастическими закономерностями. Взаимные указания вроде *Астапово* ср. *Остапово* (СРГН I, 191), *Афросимовка* ср. *Ефросимовка*, *Офросимовка* (I, 206), *Альшаники* ср. *Ольшаники* (I, 100); с постепенным переходом от коренного слова *Варфоломей* к коренному слову *Ефрем*: *Вахрамеево* ср. *Бахрамеево, Вахромево, Вохрамеево, Вохромево, Ахрамево, Охромево, Афромеевой (Варфоломей)* (II, 8) и *Афремово* см. *Ахремово, Ефремово, Офремово (Ефрем)* (I, 206) не ставят этимологической задачи, но предусмотрены для того, чтобы облегчать обзор материала ННМ СРГН, причем одновременно обращается внимание на возможное поле вариации данных корней (последнее, со своей стороны, может отразиться в отличающихся формах параллельных источников, которые не удалось включить в состав ННМ СРГН).

Вопреки мнению Е. М. Поселова, указывающего на «малое» число современных источников, использованных в СРГН, в этом словаре вообще не делается попытки «достичь современности» (добавочные источники использовались лишь для восточной Галиции, Закарпатской Украины, Буковины¹⁶ и литовских и латвийских списков). Уже выше было подчеркнуто, что пока недостает всех предпосылок для выполнения такой задачи. Только когда начата серия современных списков населенных мест будет

¹⁶ Вследствие недостатка полных сводов украинских и белорусских форм пришлось отказаться от их последовательного включения в состав материала СРГН. Естественным исключением из этого правила являются те украинские области, которые до революции не принадлежали к ареалам официального действия русского языка и которые, следовательно, были подвержены другим языковым влияниям, в частности, польского и чешского языков (восточная Галиция, Закарпатская Украина и Буковина). Чтобы собрать достаточное число восточнославянских вариантов, надо было обратиться к различным источникам, содержащим преимущественно украинские формы диалектного характера. Этот материал помогает вскрывать диалектные особенности украинского характера в списках населенных мест бывших украинских губерний, ср., например, СРГН II, 219 *Вульговица* (укр. диалект.) закарпатского ареала и *Вульшка* б. Киевской губернии с переходом начального **оль-* во вторично закрытом слоге по североукраинскому способу в *виль-* вместо письменного *вьль-*, ср. II, 98: *Вильговиков, Вильшана*.

закончена, возможно будет приступить к составлению дополнительных томов, содержащих современный материал ННМ, и соотнести его с основным материалом СРГН. Для того чтобы облегчить отождествление современных форм с материалом СРГН до публикации дополнительных томов, надо было предусмотреть возможности приблизительного установления административной принадлежности селений по современному административному делению. С этой целью, с одной стороны, подготавливаются карты, показывающие границы или центры дореволюционных административных единиц, а с другой — карты того же масштаба с современными границами, накладываемые на первые. Для лучшей ориентации на этих современных картах будут нанесены нынешние названия самых важных населенных пунктов. Они выбираются преимущественно на основе стандартных изданий административно-территориального деления СССР.

В целях изучения субстратов целесообразно дать неславянские варианты ННМ для областей с сохранившейся неславянской языковой средой. Эти варианты облегчают понимание славизированных форм и установление связей с подобными формами из областей вымершего субстрата¹⁷. В этом же состоит причина, например, включения списка литовских ННМ по состоянию на 1959 г. Немецкий элемент особенно сильно подвергся следствиям упорядочения языковых границ. Включение немецких ННМ ввиду исторической задачи ономастики представляется особенно важным.

Нельзя согласиться с возражениями рецензента, считающего «неправильным» ряд форм ННМ. Неправильными в о-

¹⁷ Ср., например, *Гарелишки*, литов. *Gerveliškių kln.* (СРГН II, 317), где в литовской форме речь идет о производном от литов. *gervė* «журавль», причем русская форма указывает на литовскую диалектную тенденцию *-er- → -ar-*, которая в литовской форме устранилась за счет вышеупомянутой нормализации. Литовская форма позволяет далее установить связь с формой *Герешки* (СРГН II, 344). То же самое можно сказать, например, о ННМ *Гайды*, литов. *Gaidžiai* (II, 297) и *Гейды*, *Гейды* (II, 333) и т. д. Для изучения области вымершего субстрата — интересно распространение балтийского корня, отражаемого в топонимах типа *Жездры*, *Жиздра*, *Зездрино*, *Зыздра* (СРГН III, 272 и т. д.). Ср.: J. P r i n z, *Betrachtungen zu Fragen der baltischen Substratforschung*, I—II, «Beiträge zur Namenforschung», Neue Folge, 1, 1966, стр. 153—174. Здесь подчеркиваются трудности при обсуждении субстратного материала, обусловленные близостью балтийского и славянского словарного состава

мастике можно назвать только такие формы, которые представляют собою чистые опечатки или ошибки при записи. Всякую форму, бывшую когда-нибудь хотя бы в ограниченном употреблении, надо считать реальной. Именно поэтому они и заслуживают внимания ученых независимо от того, отвечали ли они каким-нибудь литературным, почтовым, административным нормам или диалектным признакам и т. п. или нет. Так, *Вильна* (*Вильно*), форма, употреблявшаяся до революции в русской среде, вполне реальная форма, так же, как ее литовский вариант *Vilnius*. Кроме того, до сих пор не выяснено, какой из этих вариантов, *Вильна* или *Вильнос*, отражает первоначальную балтийскую форму этого топонима¹⁸.

Когда составлялся указатель литературы СРГН, еще не было известно, какие добавочные источники, необходимые для проверки форм основных списков, можно будет собрать. Их число беспрестанно возрастало. По этой причине в указатель сперва были включены лишь такие карты и списки, которые были достаточны для составления основного фонда форм СРГН. Кроме того, надо заметить, что для экономии места эти добавочные, контрольные источники цитируются лишь тогда, когда их формы приводят к исправлениям ННМ основных источников или подтверждают правильность необычных образований. Дополнительный указатель в одном из последующих выпусков будет включать и контрольные источники.

Нельзя согласиться с мнением рецензента относительно области применения СРГН. Это сочинение впервые в ономастике открывает широкие возможности исследования: перед нами приблизительно полный обзор ННМ Восточной Европы определенного периода, предпочтительно в их славянской или славизированной форме, почти полный обзор лексических и морфологических средств их образования с указанием распространения этих

¹⁸ Варианты *Вильна* и *Vilnius* можно объяснять чередованием литовского и славянского влияний, причем *Вильна* отражает более древнюю балтийскую форму, ср. литуанизирующую роль литовского окончания *-ius* в заимствованных вроде *direktorius* «директор», а также примеры и соображения в работе: J. P r i n z, *Die Slavisierung baltischer...*, стр. 154, пример 5; ср., например, литов. *Tverėčius* (Lit. 59, стр. 79) < русск. *Тверець* < балт. *Tver- (Tvir-?) + k + ž, i, y (r), e, ē* или *t, kt + ž*. В связи с вопросом о корне интересны такие формы, как литовскими *Tverkta, Tverka* («Lietuvos TSR upių ir ežerų vadynas», Vilnius, 1963, стр. 176), или литов. *tverti* «отгораживать», *tvirtas* «крепкий, прочный», *tvirtis* «крепость, твердость», *tvirtovė* «штабелю, оплот» и т. д. (в литовских ННМ преобладают окончания *-ė, -ės, -is, -ys, -iai*).

средств (лингвистическая география), исследование фонетических (диалектных) особенностей, отражающихся в ННМ. Кроме того, СРГН отражает лингвогеографические признаки ННМ неславянского происхождения, важные для изучения субстратов, он является основой для сравнительного изучения конкретных изменений структуры ННМ после указанного перелома и для более древних эпох. Открывается возможность разграничения пластов ННМ и их структур, сравнения их распространения с исторически установленными границами распространения восточнославянского влияния различных времен и т. д.

Лексика, фонетика, морфология, ономастическая география, субстраты и историческое развитие в ономастике, как и в общей лингвистике, так тесно связаны между собою, что при приведении примеров их трудно полностью разграничить. Ниже следуют примеры из области лексики. Ср. такие производные от дохристианских личных имен, как приведенные в СРГН, I, 561 *Будимирца, Будимироро, Будимировская, Будимья, Будислово*; I, 563 *Будогоц, Будогоца* Большая и *Малая, Будогоц, Видомierz, Будомицы Верхние и Нижние*; I, 564 *Будслав*; I, 565 *Будымле*; I, 595 *Буслава (Буслав), Буславце, Буславка, Буславль, Буславля*; ср. разновременные пласты топонимов, отраженных в географии суффиксов, образованных от имен нарицательных: ср. II, 41 и сл. распределение производных от *веретья, веретия, веретие, веретья*; II, 38, 181 и сл. от *воробей и воробей*, преимущественно через посредство личных имен, как например, *Werebiejki, Verebki; Воробей, Воробейка*; украинские формы типа *Воробиев*; общие формы типа *Воробьев* и т. д.

Примеры из области фонетики (в частности, диалектные варианты). Ср. украинский диалектный переход *я > е* перед гласными переднего ряда в СРГН, III, 168, например, *Дяченково, Деченково тож.* б. Черниговская губ.; одновременные варианты с белорусским дзеканьем и без него в СРГН III, 8, *Дешевичи* 2. (польск. *Dzieszewice Dziszewice*), б. Виленская губ., ср. там же *Дешевичи* 1. (польск. *Deszewice, Daszewice*), б. Брестского уезда, т. е. из северной пограничной полосы украинской языковой области; параллельное проявление восточнославянского и польского рефлексов праслав. *ъ* в сильном положении в ареале длительного соприкосновения украинских и польских элементов в СРГН III, 8: польск. *Dzsznica*, укр. *Dsznyba* (Кросненский уезд Галиции, Польша); украинские и белорусские рефлексы ст.-слав. *Зьвѣти*, русск. *звенеть*, укр. *дзвѣтити*, белорусск. *звінець*, польск. *dźwięczeb, dzwonić*, производные от этого корня ННМ, в ареалах обоих языков преимущественно с *i* в первом слого и, в меньшей мере, с *dz* в начале

слова и в белорусских формах, ср. СРГН III, 13: *Дзвѣнячэ, Дзвѣнячское* (укр. обл.); *Дзвѣнячи (Zwieniaty, Zwieniatka, Дзвѣнячи (Zwieniasze, Zwieniaszy)* (белорусск. обл.); III, 483 *Zwiniacz s. v. Звѣняч*; III, 485 *Звѣняч*-(укр. и белорусск. обл.); их перекрещивание с корнем иного происхождения *двин-* в СРГН II, 662: *Дзвиноса* (польск. [и белорусск.] *Dzwinosa*), б. Виленской губ., с суффиксом *-ос- -ас-, -ес-*, послужившим предметом многих дискуссий. Лексический аспект проявляется и в топонимии неславянского происхождения, ср. рум. молд. *vale*, с членом *vale* в I, 631 *Vale-Mutul, Вале-Пержа*; I, 635 *Валя-луй-Влад, Валя-Маре* и т. д., с более сильной славизацией в I, 631 *Валлюцулово, II, 177 Волядинка* [(*Valea adincă*), т. е. «Глухая Долина», см. О. С. Мельничук «Мовозаство», XIV, 1957, стр. 57)]; этот аспект здесь в большинстве случаев связан с явлениями фонетического, диалектного и субстратного аспектов, ср. производные от литовского личного имени *Vai(k)šnoras* в СРГН II, 22 *Вейшнарэво, Вейшнаршики* (литов. *Vaišnoriskė*), II, 144 *Войшнаришки, Войшнары* (литов. *Vaikšnoriskė*, диалектн. *Voišnarai*), причем различные рефлексы литов. *-ai-* и русск. *-ей-* и *-ой-* нельзя считать случайными; производные от литов. *vanagas* «ястреб» в СРГН I, 636 сл. *Ванагелишки, Ванаги* и т. д., тогда как латыш. *vanags* (то же) дает славизированное *Воног-*, см. II, 178 и сл.; в русифицированных производных от латыш. *vecs* «старый», как в СРГН II, 84 *Веу-Блаузоово* и т. д., часто отражается рефлекс тенденции *ε > а*, тогда как латвийские формы уже подверглись нормализации, как в СРГН, II, 10 *Вацсато* (латыш. *Večseta*), *Вацума* (латыш. *Večums*) и т. д. *Дзэлби*, латыш. *Dzēlbi* (СРГН III, 13), б. Двинского уезда, с упомянутым переходом латыш. *ε* → диалектн. *а*, можно сравнить с *Дялбы*, латыш. *Dzēlbi*, того же уезда (СРГН III, 166), без этого перехода, но с заменой белорусского *dz* русским *ð* (ср.: J. Endzelins, Latvijas PSR Vietvārdi I, Rīgā, 1956, стр. 251). С этим можно сопоставить *Гелбуцкишки*, литов. *Gelbutiškių*, км. (СРГН II, 334), б. Виленского уезда, ср. литов. *ge-, gē-, gi-*; латыш. *dze-, dzē-, dzi-, dzie-*. По отношению к распространению балтийских диалектных тенденций в области балтийского субстрата ср. также: J. P r i n z, «Bieträge zur Namenforschung», 15, 1964, стр. 247—260; 261—281; там же, Neue Folge, 1, 1966, 2, стр. 153—174. Интересны и рефлексы фин. *vaara, vuori* «гора, гор» в СРГН I, 623 *Ваара-*, I, 641 *Ваара-*, II, 217 *Ваара-* или удм. *bidžim* (б. Елабужский уезд), *bitcm* (б. Глазовский уезд), *budžim* (б. Малмыжский уезд), *budžin* (б. Саранский уезд) и т. д. (Munkácsi B., Lexicon Linguae Votiacorum, Budapest, 1896, стр. 621).

в литературном языке *бидьым* «великий, величественный», ср. СРГН I, 560 *Будзим-Сурд*, *Будзиммуд*, *Будзиммур* (-); I, 610 *Бидзимшурской*; I, 619 *Бытцымес*, *Бытцымшурской*, тогда как не имеется ННМ, отвечающих литературному удмуртскому *бэдьым* «большой». Внимание заслуживает колебание начального согласного в рефlekсах ННМ тюркского происхождения, как в СРГН III, 10 *Джарылагачь*, *Ярылагачь тож*, б. Таврической губ., или существование различных рефlekсов литературного татарского *хажжи* «человек, совершивший паломничество в Мекку и Медину», как СРГН I, 27 и сл. *Аджи-*, II, 292 *Гаджи-*, иногда и *Хаджи-*, ср. и *Гаджимус*, *Хаджимус тож*; при этом при передаче татар. ж польским *dż* получается даже фома *Hadzibejówka-* от нередкого личного имени тюркского (и частью арабского) происхождения *Хаджибей*, ср. татар. *бай* «богатый» и ННМ *Аджибай* (СРГН I, 28), *Гаджибей* (СРГН II, 292), которое передается в списке формой *Гальшебевка* (СРГН II, 309), с толкованием элемента *евбей* как *ять* и заменой многим ятя украинским *й*. Формы вроде *Козаклары* (*Kazaklary*) с одновременным тюркским (-лар) и славянским (-ы) обозначением множественного числа, встречающиеся в б. Виленской и Сувалкской губерниях, могут дать указания на тюркско-этническую группу караимов.

СРГН представляет собой важное пособие для изучения восточнославянской области Славянского ономастического ат-

ласа. В ближайшем будущем ввиду огромного объема обрабатываемого материала вряд ли будет возможным составить полный свод исторических ННМ. Здесь «несовременность» СРГН, т. е. исключение резких перемен в составе ННМ, происшедших в нашем столетии, окажется даже выгодной. Ареальный анализ его материала даст указания на хронологию и распространение типов, которые пока можно подвергать дополнительному контролю по легко доступным историческим источникам. Ведь историческая ономастика для обширного пространства Восточной Европы пока вынуждена применять такие приемы. Возникает вопрос, сколько томов будет охватывать и сколько труда придется затратить на составление исторического собрания ННМ Восточной Европы, если уже СРГН, ограничивающийся только формами ННМ второй половины прошлого столетия и, по словам рецензента, такой бедный данными по отдельным населенным пунктам, будет охватывать уже 10 томов? Без СРГН завершение подобного собрания, пожалуй, пришлось бы отложить на неопределенное время. Ввиду ограниченности имеющихся средств и трудностей получения дополнительных источников вполне естественно, что СРГН — далек от совершенства. Однако ни одна из его особенностей, которую в рамках его концепции можно было бы считать недостатком, не была затронута рецензентом.

Ю. Принц

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Журналом «Вопросы языкознания» (1968, 3) была опубликована рецензия Э. А. Макаева на мою книгу «Очерки по истории дописьменного периода армянского языка» (Ереван, 1967). Рецензент в основном положительно отзываясь о книге и говорит о ней много добрых слов, за что приношу свою искреннюю благодарность. Однако критические замечания, изложенные рецензентом в пяти пунктах, вызывают серьезные возражения.

1. Первое замечание рецензента основано, можно сказать, на неточной передаче критикуемого места книги. В книге сказано, что «армянское передвижение согласных, в отличие от германского, совершается не в „чистом“ виде». Рецензент, снимая кавычки со слова «чистый» (ср. стр. 144, 145), рассуждает о том, что в чистом виде не совершается никакое фонетическое изменение (в том числе и общегерманское передвижение согласных), и приводит примеры, чтобы доказать некоторые общие черты армянского и германского передвижения согласных.

Но ведь целью автора было выявление особенностей армянского передвижения согласных и для достижения этой цели он не мог не предположить идеальную модель передвижения, последовательно указывая на все отклонения от идеальной модели. В связи с этим нам не ясно, на каком основании рецензент считает, что «отражение в армянском и.-е. *p* как *h* (а не как *p*)» с точки зрения фонологической системы не является аномалией и в данном случае нет необходимости принимать действие субстрата, как полагает автор (стр. 274—275); ср. сходное развитие в кельтских языках, где и.-е. *t* > *tʰ* (например, и.-е. *pələr* «отец», др.-ирл. *athir*), но и.-е. *p* > *θ*. Ср. также в германском: и.-е. *p*, *t* > *f*, *p*, но и.-е. *k* > *h* (предположительно < *x*)» (стр. 145). Не говоря о том, что фонологическое окружение и.-е. *p* с его переходом в арм. *h* изменилось и что *h* вступило в новые противопоставления, укажем на отсутствие доказательной силы у приведенных примеров, особенно у кельтских. Как известно, развитие и.-е. *p* в кельтском

считается такой же аномалией, как в армянском¹, и были даже попытки его объяснения влиянием общего для армянского, этрусского и некоторых других языков субстрата.

2. Автору книги удалось установить, что в результате первой палатализации (и.-е. *k', g', g'h*) в армянском языке возникли свистящие фрикативные и аффрикаты (*s, c, j, -z*), в результате второй палатализации (и.-е. *k, g, gh* в позиции перед *e, i, i*) — шипящие фрикативные и аффрикаты (*š, č, j, -ž*). Не более. Замечания же рецензента по поводу этого закона либо не имеют отношения к существу вопроса — к распределению свистящих и шипящих, либо не учитывают всех фактов, приведенных в книге, и самый характер книги. Действительно, какое имеют отношение к сущности закона рассуждения Х. Педерсена о древности первой палатализации или В. Пизани о хронологии некоторых случаев появления армянских аффрикат (хотя автор отнюдь не склонен умалять заслуги этих ученых в сравнительно-историческом изучении армянского языка)²? Тем более неправ рецензент, ставящий под сомнение закон на том основании, что автором приведено значительное количество отклонений от закономерностей. Ведь любой закон имеет отклонения (вспомним рассуждения рецензента по поводу особенностей армянского передвижения), и именно познание закономерности дает возможность установить характер отклонений, установить хронологию изучаемых явлений. Рецензент, по-видимому, не обратил внимания на объяснение автором отклонений от закономерностей: «Наличие шипящих на месте свистящих говорит о влиянии чужой среды» (стр. 293) и «В тех случаях, когда вместо шипящих наблюдаются свистящие... мы должны предположить субстратное влияние или заимствования, источники которых еще не ясны. Наличие свистящих вместо шипящих в некоторых случаях может быть результатом либо заимствования слова в период до второй палатализации, либо его проникновения через соседние языки шипящего типа» (стр. 294). Кажется, ясно. Остается лишь с сожалением констатировать, что рецензент вообще не раскрывает основной цели и задачи книги, и это создает неправильное впечатление о приведенных рецензентом примерах. Иначе

¹ Ср., например, у Г. Льюиса и Х. Педерсена «Краткая грамматика кельтских языков», М., 1954, стр. 52—53: «И.-е. *p* (лат., гр. *p*, germ. *f*, арм. *h* или этрусско-ит.-санскр. *p*) в кельтских языках имело судьбу, отличную от других и.-е. смычных».

² Мы укажем еще на одно имя: в книге достаточно подробно говорится о хронологии первой и второй палатализации, установленной Л. Забродским.

нельзя объяснить не только необоснованные возражения рецензента по поводу указанного закона, но и его удивление по поводу «объема и количества отклонений». На первой же странице предисловия сказано: «Однако целью автора было не простое изложение известных закономерностей армянского консонантизма (хотя это сделано по возможности более полно и обстоятельно, с учетом новейших исследований и с привлечением новых этимологий), выяснение отдельных особенностей (хотя это тоже имело место). Основное в работе — сбор всех отклонений от известных закономерностей. Таким образом специалистам, во-первых, будет предоставлена возможность опереться в дальнейших исследованиях на систематизированный материал и, во-вторых, установить среди этих отклонений слова или суффиксы, восходящие к тем или иным индоевропейским и родственным с ними языкам» (стр. 5—6). В краткой аннотации, предшествующей основной части книги, так характеризуется ее цель: «Путем последовательного сравнительно-исторического анализа армянского консонантизма автор ограничивает побочные индоевропейские слои от исконно индоевропейской лексики. Таким образом ему удается установить древнейшие армянские заимствования из индоевропейских и родственными им языков, до сих пор не этимологизированные при попытке прямого определения их источника. Это дает возможность конкретнее говорить о действительном характере хайасского и урарского субстратов в армянском и частично реконструировать лексику этих языков» (стр. 4). По мысли автора, книга должна, главным образом, заложить основу изучения доармянского индоевропейского субстрата, примерно такого же типа, как догреческий субстрат в греческом, хотя автор, понимая свои задачи шире, разбирает все слова, фонетический облик которых отличается от исконно армянских слов. Изучение армянского консонантизма для автора книги является не целью, как это представляет рецензент, а лишь средством для достижения основной цели — раскрытия доармянского индоевропейского субстрата и древнейших заимствований. Не учитывая этого, нельзя, конечно, понять взаимоотношение слов, приведенных рецензентом на стр. 146, которые с первого взгляда действительно могут показаться несвязанными.

В связи с критикой вышеупомянутого закона рецензент вообще ставит под сомнение хронологическую последовательность, установленную для первой и второй палатализации. «Наконец, — пишет рецензент, — остается непонятным утверждение автора о том, что первая палатализация характерна для некоторых индоевропейских диалектов, а вторая палатализация характеризует только армян-

ский язык (стр. 155). Невольно возникает вопрос: чем отличается в отношении ареальной дистрибуции арм. *jern* > * *ghers* от арм. *jern* < * *ghermo* — ср. др.-инд. *haras* «жара», греч. *θερος* «жара, урожай» или арм. *injet* «чистить, истреблять» < * *gheniö* — ср.-др.-инд. *hanti*, авест. *jain-ti*, греч. *θεινω* «бить, убивать?» (стр. 146). Мы не думаем, что рецензент относится к числу исследователей, отрицающих наличие в эпоху индоевропейской общности диалектной изоглоссы, основанной на противопоставлении палатализованных и непалатализованных заднеязычных и в дальнейшем приведшей к образцовому делению языков на *centum* и *satem*. Но если мы принимаем наличие такого противопоставления, то не можем отрицать, что палатализация первичных непалатализованных могла произойти только тогда, когда это противопоставление заменилось другим, т. е. когда палатализованные заднеязычные перешли в переднеязычные, и появилась возможность для палатализации части прежних непалатализованных заднеязычных. Все факты говорят о том, что палатализация прежних непалатализованных заднеязычных могла произойти только в период обособленного существования армянского языка, когда переход прежних палатализованных заднеязычных в переднеязычные уже завершился. Поэтому пока ни один из исследователей не возводил палатализацию первичных непалатализованных заднеязычных к периоду и.-е. общности. В ответ на вопрос рецензента можно сказать, что он допускает в доказательстве логическую ошибку, известную под названием *ignoratio elenchi*. Действительно, в лексическом отношении ареальная дистрибуция приведенных примеров, можно сказать, равноценна. Но ведь мы говорим не об оценке лексических параллелей, а об оценке процессов палатализации (т. е. фонетических процессов), их причин и результатов.

3. Соглашаясь с рецензентом в общей оценке раздела книги, посвященного рефлексам ларингальных в армянском языке, и в оправдание ссылаясь опять на общий характер и цели книги, автор не может пройти мимо двух его замечаний. Рецензент находит противоречие в оценке ларингальных. «Автор как будто оперирует тремя ларингальными, но по ходу анализа появляются добавочные ларингальные: лабиализованный [арм. *canauł* 'знакомый' при арм. *canac'em* 'узнавать' < *canac'em* (стр. 246—247)] и йотизированный ларингальный [арм. *dayłdal* 'молозиво' при *diet* 'сосать' (стр. 247)]» (стр. 147). При более внимательном анализе книги рецензент убедился бы в том, что здесь нет противоречия и что автор оценивает эти три ларингальные как «чистый», йотизированный и лабиализованный. Второе замечание рецензента ка-

сается характера начального *h*, рассматриваемого как рефлекс ларингального. Рецензент считает материал сомнительным на том основании, что «в армянском языке и в современных диалектах наблюдается флуктуация *h* в начале слова; вследствие этого, как это хорошо известно из истории многих языков, *h* может «восстанавливаться» там, где этимологически данная фонема не могла быть, и исчезать там, где она этимологически должна была быть» (стр. 147). Замечание рецензента не ново, и незачем было приводить столько примеров для доказательства давно известных истин. Не говоря о том, что часто приводилось подобное возражение против ларингальной теории вообще³ и не здесь решать вопрос о его правильности, укажем лишь на факты, приведенные в книге. Дело в том, что автор, как легко убедиться при внимательном чтении книги, с недоверием относится к некоторым построениям ларингалистов, в том числе к попыткам найти рефлексы ларингальных в начальной позиции, и лишь желание возможно полного охвата материала привело его к упоминанию даже сомнительных случаев. Перед тем как перейти к примерам, автор книги говорит следующее: «Вопрос о протиндоевропейских ларингальных нельзя считать окончательно решенным. Тем более нельзя говорить о закономерном отражении этих ларингальных в армянском языке. Многие этимологии представителей ларингальной теории сомнительны, а порою явно неправильны. Приводимые же параллели не всегда имеют закономерный характер; так, например, хеттскому начальному *h* в армянском иногда соответствует *h*, иногда нуль. В частности, следует учесть, что начальное *h* может быть и результатом самостоятельного (вторичного) развития, как показывают данные диалектов и переход **h*k' -> *hasanem* «достигать»» (стр. 238—239). Не считаем лишним привести еще одно замечание автора при оценке рефлекса ларингальных в армянском языке. «Большие затруднения вызывает решение вопроса об отражении ларингальных звуков в армянском. Сравнение с хеттским языком, который, по мнению представителей ларингальной теории, лучше сохранил архаичное состояние, показывает, что точных соответствий не наблюдается. Отсюда вытекает, что либо восстановление не имеет реальной основы, либо и хеттский и армянский, наряду с архаичным слоем ларингальных, имеют много инноваций (в армянском языке, особенно в диалектах, известно много случаев, ког-

³ Так, например, Дж. Бонфанте еще в 1944 г. в рецензии в «Classical philology» на книгу Э. Стертеванта писал, что хеттское начальное *h* может указывать на аспирацию, не унаследованную от и.-е. языка.

да в начале слова появляется *h*, не имеющий параллели в других языках, в том числе в заимствованных), либо, наконец, то, что подразумевается под ларингальным, в действительности представляет собою любой согласный, выпадение которого вызывает иногда то или иное явление (ср. мнение Мартине, установившего десять ларингальных). Однако можно сказать, что, по-видимому, в той или иной степени правильны все эти предположения, и мы имеем дело с продолжительным наложением различных типов. Выпадение различных согласных, в том числе ларингальных, происходило в течение всего развития и.-е. языка и отдельных и.-е. языков; наряду с этим появлялись ларингальные и другие звуки в начале слова (в том числе перед сонантами, протетическими гласными) или между гласными» (стр. 285—286). Не считаем лишним добавить, что все примеры на отражение начальных ларингальных приведены из древних текстов, что значительно умевшает вероятность предположения позднейшей аспирации.

4. Основное замечание рецензента, приведенное в четвертом пункте, по своему характеру схоже с основным замечанием первого пункта: оно основано главным образом на неполной передаче и, следовательно, на неправильной оценке текста. «Автор указывает на то,— пишет рецензент,— что „индоевропейность“ (стр.322) устанавливается по „Корневому словарю армянского языка“ Р. Ачаряна. Вряд ли это может служить критерием „индоевропейности“ армянского языка, ибо ко времени составления указанного словаря многие данные, новые этимологии, материалы новооткрытых индоевропейских языков или были еще малоизвестны, или учитывались явно недостаточно» (стр. 147). Создается впечатление, что автор книги основывается только на словаре Ачаряна. Между тем в книге сказано следующее: «„Индоевропейность“ устанавливается главным образом по „Этимологическому корневому словарю армянского языка“ Р. Ачаряна, причем исключаются сомнительные случаи, древнейшие заимствования и т. п.» (стр. 322—323). Ясно, что автор учитывал и новейшие достоверные этимологии, которых, кстати, не так уж много для такого ограниченного количества наиболее употребительных слов, какими являются охваченные в списке Сводена. Здесь не место заниматься дискуссией о понятии метода или о значении глоттохронологии. Все же следует сказать несколько слов о применении метода глоттохронологии к армянскому языку. Любой метод полезен, если его умело сочетать с другими методами, не абсолютизировать его результаты, провести соответствующую подготовительную работу, в данном случае, как подчеркивают К. Бергсланд и Г. Футт, строгую филологическую работу

по составлению списков. По нашему глубокому убеждению, основанному на неоднократных собственных наблюдениях и данных других исследователей, метод глоттохронологии дает наиболее вероятные результаты при определении не очень короткого и не очень длительного периода истории. Поэтому полученные нами результаты (отнесенные обособления предков армян из и.-е. общности к началу III тысячелетия до нашей эры по списку из 215 слов и к концу третьей четверти того же столетия по списку из 100 слов) находятся в согласии с другими данными: как известно, большинство исследователей относит обособленное существование предков армян именно к III тысячелетию до н. э. Ставить под сомнение полученные нами результаты на том основании, что К. Бергсланд и Г. Футт использовали также армянский материал для проверки данных Сводена, как это делает рецензент, по крайней мере странно. Наши списки не опубликованы, и на каком основании считает рецензент, что наши списки были составлены менее удачно, чем списки И. Абуладзе, скорректированные Г. Футтом? Не вдаваясь в подробности, укажем, что в списках И. Абуладзе не учтены две особенности армянского языка. Во-первых, еще в XIX в. группой армянстов был выяснен особый характер языка первой половины V в., проделана большая работа по определению грамматических особенностей языка этого периода (так называемого классического грабара) и даже составлен словарь. Это дает возможность значительно уточнить наличие тех или иных слов именно в первой половине V в. до н. э. Во-вторых, история новоармянского языка шла не прямолинейно, и в XIX в. имели место крайне пуристические тенденции, приведшие к почти полному вытеснению новейших тюркских и персидских заимствований, к их замене большей частью древнеармянскими эквивалентами. Без учета этих и других факторов нельзя прийти к точным выводам. Списки И. Абуладзе, даже после поправок Г. Футта, к сожалению, оставляют желать лучшего как в древнеармянской, так и в новоармянской части. В них встречаются нехарактерные для классического грабара слова и значения, имеет место неудачный подбор древнеармянских и новоармянских эквивалентов, не всегда правильно оценивается соотношение синонимичных пар, не сохраняется принцип однородности и т. д. Ср., например, др.-арм. *t'ikn* (вместо *t'ēkn*) «бак», др.-арм. *gēs* (древнее значение «падала, труп») «bad», др.-арм. *ktrel* (лучше *hantanel*) «cut», др.-арм. *t'ew* «крыло» (вместо *p'etur*) «feather», др.-арм. *law* (лучше *bari*) «goods», др.-арм. *ktrel*, *patafel* (лучше *čētk'el*, *c'elul*) — н.-арм. *ktrel* (лучше *čētk'el*, *č'el*) «split», др.-арм. *arew*, *are-*

gakn (лучше *aregakn, arew*) «sun», др.-арм. *poč*^o (лучше *agi, jet*) — н.-арм. *poč*^o «tail», др.-арм. *gēr* «гучный, жирный» (вместо *stuar*) — н.-арм. *ǰ'ay* (вместо *hast*) «thick», др.-арм. *tawt*^o, *tap* (вместо *jern*) — н.-арм. *toł*^o, *šog* (вместо *tak*^o) «warm», н.-арм. *bolor(ak)* (вместо *klor*) «ground» и др.⁴.

5. Соглашаясь с рецензентом в том, что на некоторые вопросы следовало обратиться больше внимания, автор не может согласиться с его оценкой отдельных мест книги. Рецензент неправ, считая общеизвестными сведения о попытках применения сравнительного метода в армянском языкознании. Если он имеет в виду статью автора «О первых попытках применения сравнительного метода в истории армянского языкознания» («Изв. АН АрмССР», 1957, 6) и считает, что не надо было говорить об этом еще раз, то мы не можем его лишить права иметь свое мнение. Но если он считает, что выдвинутые в статье и книге положения общеизвестны, он ошибается, ибо именно в указанной статье впервые говорилось о применении сравнительного метода у армян еще до формирования сравнительно-исторического языкознания и отнесения армянского к индоевропейским языкам европейскими учеными. Удивляет также категоричность и нетерпимость, с которыми рецензент отрицает мысль автора о том, что к влиянию субстрата, «по-видимому, относятся: появление протетических гласных, переходы **rš* > *rš̄*, **š* > *k'* и т. д.» (стр. 287). О роли субстрата в появлении протетических гласных в армянском языке говорилось неоднократно

но⁵, хотя были и другие попытки объяснения данного явления (ср. стр. 244—245). При наличии двоякого развития сочетания **rs* в одной и той же позиции (в *r* и *rš̄*) и при учете того, что развитие **rs* в *r* явно характерно для армянского и что развитие **rs* в *rš̄* имеет место в близких к армянскому языках, вполне допустимо для второго случая предположить влияние чуждой языковой среды. Что же касается объяснения рецензентом развития **s* в *š* «чисто фонетическим» путем, то оно явно неудовлетворительно: рецензент дважды допускает возможность двоякого развития и не объясняет, почему развитие пошло именно первым, а не вторым путем. «...в конце слова, — пишет рецензент, — *h* или должно выпасть или усиливаться. Усиление дает *x* (как в германских языках) или *kʰ*» (стр. 148). Рецензенту должно быть хорошо известно, что многие армяны ломали копы из-за объяснения, почему *s* не выпадает в конце слова и почему переходит именно в *š*. Общеизвестно, что Х. Хюбшман и другие вообще отрицали возможность возведения др.-арм. окончания мн. числа *kʰ* к и. -е *es* на том основании, что, вопреки ожиданиям, *s* в конце не выпадает.

Рецензирование такой работы, какой является моя книга, сопряжено с большими трудностями. И несмотря на несогласие со многими замечаниями рецензента, все же считаю рецензию в основном полезной и доброжелательной и выражаю искреннюю благодарность как рецензенту, так и редакции журнала, обратившим внимание на мою книгу.

⁵ Так, например, А. Каменхубер (KZ, XXVII, 1961, стр. 58), вслед за Зоммером, объясняет появление протетического гласного перед *r* в армянском, греческом и хеттском языках главным образом воздействием субстрата.

Г. Б. Джаукян

⁴ Ср.: К. Bergsland, H. Vogt, On the validity of glottochronology, «Current Anthropology», III, 2, стр. 114 и сл.

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

23—27 октября 1968 г. в г. Донецке состоялась II Всесоюзная фонологическая конференция, на которой было прочитано 52 доклада фонологами из девяти республик и 23 городов. Конференция была созвана по инициативе комитета фонологов [председатель Р. И. Аванесов] и организована Донецким гос. ун-том и Ин-том языковедения АН УССР [председатель оргкомитета В. К. Журавлев]. При подготовке конференции рассылалась фонологическая анкета. Ответы на анкету, содержащую 10 вопросов по кардинальным фонологическим проблемам, были заранее опубликованы в виде отдельной брошюры «Базисные проблемы фонологии» [Донецк, 1968]. Тезисы докладов конференции изданы отдельным сборником [«Фонологический сборник», Донецк, 1968].

II фонологическая конференция была в известном смысле юбилейной. 40 лет назад, осенью 1928 г., на I лингвистическом конгрессе в Гааге три русских ученых — Н. С. Трубейков, Р. О. Якобсон, С. О. Карцевский — впервые провозгласили основные принципы новой лингвистической отрасли, получившей название фонологии. Календарное соответствие конференции этому событию символизирует преемственность отечественной фонологической мысли.

Участники конференции почтили память замечательных советских лингвистов-фонологов, умерших в 1968 г. — П. С. Кузнецова, В. Н. Сидорова и Г. И. Мачавариани. Заслуги этих ученых перед отечественной фонологией были помянуты добрым словом во вступительных сообщениях А. А. Реформатского «П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров и московская фонологическая школа» и И. Д. Кобалава «Г. И. Мачавариани как лингвист и фонолог».

Основные темы, находившиеся в поле внимания донецкой конференции, можно было бы сформулировать следующим образом: 1) общая фонология и методика фонологических описаний; 2) диахроническая фонология; 3) фонология конкретных языков и диалектов; 4) экспериментальная фонетика и слоговое членение речевого потока.

Конференция открылась докладом С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой (Москва) «Фонология и морфоноло-

гия в правилах корреспонденции двухступенчатых порождающих грамматик». На фоне последовательно развертываемой процедуры деривации конкретных лингвистических объектов из абстрактных было показано, какое место занимает в этом процессе фонологический уровень кодирования. Он связан с системой деривационных правил, относящихся к плану выражения и состоящих в приписывании фонологических характеристик тем объектам, которые получены в результате применения грамматических правил деривации. Над фонологически перекодированными объектами осуществляется затем операция перевода нелинейных структур в линейные. Наконец, последние подвергаются действию морфонологических правил, в результате чего достигается синтагматическое и парадигматическое упорядочение фонем линейных структур.

Доклад А. А. Реформатского (Москва) «О фонологическом плюрализме» был посвящен критике некоторых определений фонемы. Докладчик сосредоточил внимание на неоправданности «двойного счета» фонем, когда единое понятие фонемы расщепляется на два, например, фонема и «смешанная фонема» С. К. Шаумяна, фонемы трех степеней С. И. Бернштейна, сильная и слабая фонема Р. И. Аванесова, синтагмо-фонема и парадигмо-фонема М. В. Панова. В. С. ПЕРЕБЕЙНОС (Киев) в своем докладе сообщила о составе фонем современного украинского языка.

Первая из названных выше тем освещалась в докладах наиболее разнообразно. Особенностью конференции явилось обостренное внимание к элементам фонологии, к уточнению и переформулированию некоторых привычных понятий фонологического метаязыка. Теперь уже нет необходимости специально доказывать преимущества фонологического подхода к интерпретации конкретных языковых фактов. Речь идет скорее о совершенствовании методов исследования, об использовании аппарата точных наук, о создании фонологической аксиоматики. Постановка и решение этих вопросов отражает прогресс отечественной фонологии, в тесной связи с которым следует рассматривать факт повышенного интереса к морфонологической проблематике, удельный вес которой был на донецкой

конференции значительно выше, чем на I фонологической конференции [доклады Г. П. Мельникова (Москва) «Морфология с позиций системной лингвистики», Н. А. Матвеевой (Москва) «Делимитативная функция ударения в русском языке», И. Г. Патлатого (Донецк) «Инвентарь морфофонетических чередований в современном английском языке», В. А. Редькина (Москва) «О чередованиях в русском языке», И. Д. Кобалава (Тбилиси) «К фонематической структуре корней типа С V С в грузинском языке», В. Г. Пшеничной (Донецк) «К вопросу о фонологической структуре слова в современном немецком языке», а также частые «морфофонетические отступления» в других докладах].

Характерна тематика докладов по общим вопросам: наряду с докладами, в которых фонологические проблемы рассматривались на фоне общей теории системности и связи разных лингвистических уровней [«Фонология и понятие конструкции» Г. П. Мельникова, «Об изоморфизме фонематических единиц» В. Я. Плоткина (Новосибирск), «Вопросы типологии фонологических систем» А. П. Евдошенко (Кишинев), «О равновесии и компенсации на просодическом уровне» В. А. Виноградова (Москва)], были широко представлены доклады, посвященные «деталю теории», лежащим в основе фонологической концепции. Это доклады Е. Л. Гинзбург а (Москва) «Марка-оператор», М. И. Леконцевой (Москва) «Об уточнении понятия „свободное варьирование“», Т. В. Булыгиной (Москва) «К уточнению понятия „маркированности — немаркированности“ в связи с понятием нейтрализации», П. И. Сегады (Донецк) «О несостоятельности понятий „ассимиляция“ и „диссимиляция“», А. П. Евдошенко «К вопросу о релевантности фонологических признаков». В центре внимания большей части таких докладов оказались дифференциальные признаки и позиции реализации фонем, которые сейчас все более становятся исходными и первичными как при построении фонологической теории, так и при конкретной работе с живым языковым материалом.

К этой серии докладов примыкал доклад А. С. Либермана (Ленинград) «Проблемы фонологической синтагматики», посвященный давней проблеме моно- и бифонемной сегментации речевого потока. Эта проблема сводится фактически к меризматической оценке различных позиций, среди которых в качестве диагностирующей докладчик предлагает рассматривать санхлассальную позицию. Аналогичная идея лежала и в основе доклада В. Г. Руделева (Оренбург) «Процедура установления системы дифференциальных признаков и некоторые спо-

собы ее объективизации», где аргументируется намеченный П. С. Кузнецовым еще в 1941 г. путь от нейтрализации к оппозиции.

В другом отношении доклады А. С. Либермана и В. Г. Руделева объединяются с названным докладом В. А. Редькина и докладом А. Б. Пенёковского (Владимир) «О фонологических последствиях звуковых замен при взаимодействии диалектов», а отчасти и с «диахроническим» докладом В. В. Колесова (Ленинград) «Фонетические стимуляторы фонологического изменения». Эти столь разные тематически доклады объединяет отношение к универсальному инструменту фонологического описания — системе дифференциальных признаков, введенных Р. О. Якобсоном и М. Халле. Конференция показала, что данная методика широко освоена советскими фонологами; универсальный меризматический код принимается как некоторая панъязыковая данность, и анализ фонетического материала ведется обычно в рамках этой типологически объективизированной системы. О ценности метода Якобсона-Халле писалось много, он блестяще оправдал себя в применении к широкому кругу языков. В то же время меризматический код произведен с точки зрения конкретного языка. Система дифференциальных признаков отражает лишь структуру предельного лингвистического уровня и потому независима при построении типологических моделей, имеющих дело с чистыми структурами. Если же ограничиться материалом одного языка, то специфичность его состоит не только в выборе тех или иных признаков из универсальной системы, но и в их фактической реализации. Поэтому подход к отдельному языку с позиций универсального кода таит в себе опасность приписать языку особенности, обусловленные не его внутренней специфичностью, а инструментом анализа. На преодоление этой опасности и ориентированы методики, примененные в названных докладах. Не случайно авторы прибегают иногда к простой нумерации устанавливаемых дифференциальных признаков, без уточнения их «узаконенного» названия, т. е. идут не по пути фонетической конкретизации заданной обобщенной системы признаков, а, наоборот, по пути меризматического обобщения позиционно упорядоченных фонетических характеристик данного языка.

Оживленную полемику вызвал доклад Л. В. Бондарко (Ленинград) «О значении экспериментального исследования речи для фонологии», вокруг которого разгорелась дискуссия представителей двух отечественных школ фонологии — ленинградской и московской. В секции экспериментальной фонетики прозвучали интересные доклады киевских фонетистов Н. И. Тодчок, П. С. Овк, а также доклады, посвя-

шенные проблеме слога и слогоделения на материале различных языков [С. Б. Тошьяна (Ереван), Е. Б. Трофимовой (Самарканд), И. Т. Принцевского (Донецк), В. Ф. Тимченко (Донецк), студенток Донецкого ун-та И. С. Архангельской и Ю. О. Горелой, Н. З. Чхиквишвили (Донецк)].

Значительная часть докладов базировалась на описании конкретных языков и диалектов, на выяснении явлений языковой интерференции. Помимо упомянутого доклада А. Б. Пеньковского, здесь можно назвать исследования Н. Ф. Наконечного (Харьков) по фонологии украинских диалектов, Г. Я. Пякраща (Алма-Ата) «Изменения в сочетаниях фонем в процессе ассимиляции заимствований», В. В. Анохиной (Донецк) «К типологии безударного вокализма русских народных говоров», С. И. Верман и М. Л. Дьяковой (Минск) «Количественная характеристика немецких дифтонгов», С. А. Барановской (Москва) «Корреляция твердых-мягких согласных в позиции перед /э/ в современном русском языке», М. И. Трофимова (Самарканд) «Умлаут в уйгурском и немецком языках», О. Г. Лепешковой (Донецк) «О мягкости согласных в украинском языке», А. И. Михайлова (Донецк) «Английский язык Австралии», И. Д. Кобалава и М. В. Мачавариани (Тбилиси) «Парадигматическая и синтагматическая структура современного грузинского языка на фонологическом уровне», А. В. Александрова (Горловка) «Вероятностные дифференциальные признаки одной морфологической категории в английском языке», и, наконец, очень интересный доклад Т. В. Назаровой (Киев) «Фонемный уровень интерференции близкородственных языков», в котором четко показаны и систематизированы обусловленные украинско-белорусской интерференцией «контактные» фонологические особенности, свойственные говорам волинско-полесского ареала.

Диахроническую тематику конференции открывал доклад В. К. Журавлева (Донецк) «Предмет и метод диахронической фонологии украинского языка». Этот доклад представлял развернутую программу диахронического исследования вообще и истории украинского языка в частности. Задачей диахронической фонологии является воссоздание истории развития фонологической системы языка в его говорах, т. е. реконструкция не только по временной, но и по пространственной оси. Предметом изучения в диахронической фонологии являются все фонологические системы, развившиеся в рамках изоглосной области определенного языка и образующие его пространственно-временной континуум. Метод диахронической фонологии строится на со-

единении аппарата сравнительно-исторической грамматики и методов современной синхронной фонологии плюс коррекция полученных результатов под типологическим углом зрения. В докладе были подробно освещены различные факторы, влияющие на развитие фонологической системы, пути этого развития и границы допустимой изменчивости в системе.

Своеобразной иллюстрацией применения понятий и методов синхронической лингвистики в диахронической фонологии могут служить доклады В. Г. Руделева «Диахроническая нейтрализация» и В. В. Колесова «Фонетические стимуляторы фонологического изменения». В стиле этюдов, затрагивающих конкретные вопросы исторической фонологии, были сделаны доклады И. Казлаускаса (Вильнюс) «О причинах изменения ударения» (на материале балтийских языков), И. Г. Добродомова (Москва) «К вопросу об условиях перехода е во в древнерусском языке», М. Ф. Падуря (Львов) «О связи слогоделения с фонологической сущностью долготы в истории немецкого языка», А. Г. Авксентьевой (Донецк) «К вопросу о фонологическом статусе слоговых и неслоговых сонорных в праславянском». Широкая картина фонологического развития украинского языка была представлена в докладе Г. Ф. Шило (Львов). К диахронической тематике примыкали также два доклада, посвященные исследованию мертвых письменных языков: Л. И. Афанасьева (Донецк) «Валентность графем в готском языке» и Е. М. Верещагина (Москва) «Эксперимент в описании фонологической системы мертвого письменного языка» (на материале старославянского языка).

И фонологическая конференция показала, что имеются реальные возможности для консолидации фонологических сил страны. В резолюции конференции зафиксирован следующий важный момент: «В ходе обсуждения фонологической проблематики выяснилась настоятельная необходимость сосредоточить внимание лингвистов на создании фонологической картотеки, что требует разработки стандартной методики описания и совместных усилий всего коллектива наших фонологов». Конференция постановила просить комиссию по фонетике и фонологии при ОЛЯ АН СССР организовать эту работу.

Признано целесообразным организовать выпуск реферативного бюллетеня по фонологии, включая книги, статьи, диссертации, написанные в период конференциями. Представляется желательной публикация информационного бюллетеня, содержащего авторские аннотации, которые должны заранее посылаться в адрес председателя работающего оргкомитета, чтобы этот бюллетень вместе с тезисами докладов мог служить базой для предстоящей конференции,

знакомы фонологов с тем, над чем работают их коллеги.

Конференция постановила провести III фонологическую конференцию в 1970 г. в Вильнюсе; для подготовки ее будет создан оргкомитет под председательством проф. И. Казлаускаса.

В. А. Виноградов (Москва)

*

21—22 ноября 1968 г. в Институте языкознания АН СССР проходил симпозиум «Тюркские лексические элементы в восточных и западных славянских языках», организованный Институтом совместно с Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций».

Н. А. Баскаков (Москва) во вступительном слове, кратко охарактеризовав задачи, стоящие перед исследователями тюрко-славянских языковых контактов, осветил основные направления научно-исследовательских работ, ведущихся в этой области славистами и тюркологами.

На симпозиуме было прослушано и обсуждено 29 докладов и сообщений, многие из которых носили историко-лексический характер, а отдельные докладчики пытались установить точную хронологию конкретных тюркских заимствований в славянских языках на основе фактов письменных памятников и материалов историко-археологических и этнографических исследований.

Л. И. Ройзензон (Самарканд) в докладе «Некоторые мысли об изучении тюрко-славянских языковых связей», анализируя слова тюркского происхождения в верхне- и нижнедурицких языках, затронул вопросы, касающиеся теоретических проблем выделения и анализа заимствованной лексики вообще, в частности — вопрос о непосредственном источнике заимствования (так называемый исторический источник) и древнейшем первоисточнике (так называемый генетический источник).

Г. Ф. Благова (Москва) в докладе «О лексико-семантическом обособлении тюркских вариантов заимствований социо-этнонимического происхождения в русском языке» показала системный характер восприятия и морфологического освоения тюркизмов, этимологически сопряженных между собой в языке-источнике и проникавших в русский язык в разные исторические периоды (тип *торки-турки-тюрки* и *торкмены-туркмены/трузмены* — *торкмены*). Лексико-семантическое обособление фонетических вариантов таких заимствований в условиях дующихся языковых контактов может быть объяснено только при учете смыслового разви-

тия соответствующих слов как в русском, так и в тюркских языках.

Доклад Н. А. Баскакова «Собственные имена половцев в „Слове о полку Игореве“», посвященный этимологии половецких личных имен, которые встречаются в этом памятнике древнерусской литературы (*Боякъ, Гаякъ, Кобякъ, Кончакъ, Шаруканъ* и др.), пополнит собой обширную исследовательскую литературу о языке этого памятника.

А. М. Рот (Ужгород) в докладе «Тюркизмы в лексике славянских языков и диалектов Карпатского ареала и вопросы венгерского посредничества» наметил пути расчленения тюркизмов восточно- и западнославянских языков по историческому источнику их заимствования и проникновения. На конкретном языковом материале изучаются особенности тюрко-венгерско-восточнославянских языковых ареалов в Подонье (Дентумогири), на юге России и Украины в VII—IX вв. н. э., результаты их лингвистической интерференции, роль древневенгерского как исторического источника заимствования тюркизмов древними восточнославянскими языками.

В ряде докладов и сообщений анализ тюркского лексического материала проводился на основе показаний памятников письменности древнерусского, старобелорусского, украинского и других славянских языков; привлекалась и диалектная лексика, где освоение заимствований из тюркских языков иногда дает минимальные изменения. И. С. Козырев (Орел) в докладе «К вопросу об изучении тюркизмов русского языка» уточнил этимологическое истолкование некоторых тюркизов путем сопоставления их в средневековых памятниках деловой письменности русского и белорусского языков.

На материале памятников древнерусской и старобелорусской письменности были построены доклады А. Н. Добромысловой (Москва) «Тюркские корни *коб* и *кобъ* в русском языке», М. Т. Тагирева (Баку) «Наблюдения над употреблением слов тюркского происхождения в русских письменных источниках XVI—XVII веков», А. К. Антоновича (Вильнюс) «Тюркская лексика в белорусских текстах, написанных арабским письмом», А. И. Журавского (Минск) «Лексика тюркского происхождения в старобелорусском языке».

А. Е. Супрун (Минск) в докладе «К изучению тюркизмов в белорусской лексике» подчеркнул, что этимологические исследования тюркских лексических элементов в славянских языках должны строиться с обязательным учетом географического критерия; он этимологизировал слова типа *каптан*, *куронь*, *салаш*, пришедшие в лексику белорусского языка и его диалектов разными путями.

О тюркизмах в украинском языке говорил Р. В. Болдырев (Киев) в докла-

де «О некоторых тюркских лексических элементах словаря украинских народных говоров (историко-этимологические заметки)» и Р. И. М у з а ф а р о в (Джамбул) в сообщении «К вопросу о крымскотатарско-украинских лексических связях».

В отдельных докладах и сообщениях рассматривались тюркизмы в словарях русского языка и в языке художественных произведений русских писателей. Е. Н. Ш и п о в а (Алма-Ата) в сообщении «Об опыте работы над тюркскими лексическими заимствованиями в русском языке» познакомила слушателей с методикой анализа и классификации выявленных в «Словаре живого великорусского языка» В. И. Даля тюркских слов. Материалы этого же словаря были использованы для решения более узких проблем в докладе И. Т. С е р г е е в а (Чебоксары) «Чувашизмы в русской диалектной лексике»; докладчик составил и проанализировал перечень чувашских по происхождению слов, зафиксированных в словаре В. И. Даля, и слов, которые употребляются в наши дни в разговорно-бытовой речи русских, проживающих на территории Чувашской АССР. Лексико-семантическому анализу тюркских слов, встречающихся в словаре В. И. Даля, был посвящен также доклад Л. А. К у б а н о в о й (Карачаевск) «Диалектизмы тюркского происхождения, являющиеся обозначениями лиц». О словах тюркского происхождения в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» говорилось в сообщении Р. З. К и я с б е й л и (Баку) «Тюркизмы в современном русском языке (на материале большого академического словаря)».

Г. С. А м и р о в (Омск) в сообщении «К вопросу изучения тюркских лексических элементов в языке русских писателей (на материале произведений С. Т. Аксакова)» рассказал о работе членов кафедры русского языка Омского пед. ин-та по обобщению выборки тюркизмов из произведений русских писателей и поэтов Сибири, а также о подготовке словаря тюркских топонимических названий Омской области. Об изучении тюркизмов в произведениях русских писателей и памятниках письменности древнерусского языка, начатом в Башкирском гос. ун-те, говорил Т. М. Г а р и н о в (Уфа) в сообщении «Turco-slavica в Башкирии». Вопросам этимологии конкретных слов тюркского происхождения (*сапог, чулок, чьбот, ичиг* и др.) был посвящен доклад И. Г. Д о б р о д о м о в а (Москва) «Пути проникновения булгарских элементов в славянские языки».

Тюркское происхождение ряда русских слов подтверждалось новыми данными в докладах Г. Д ж а ф а р о в а (Москва) «К этимологии слова *харалуг* и слова *котьчуга*», А. С. Л ь в о в а (Москва)

«К происхождению старославянского *соуе*» (он предложил булгарско-чувашскую этимологию этого слова, связав его с современным чувашским *суя, суе*), А. А. С е л и м о в а (Махачкала) «К этимологии слов *бишек, емурка, чалпа, чибачка, шауш*», в сообщении А. Б. Б у л а т о в а (Казань).

В докладе Э. Н. К у ш л и н о й (Душанбе) «Тюркские лексические элементы в русской речи жителей Средней Азии» собраны многочисленные примеры со страниц периодической печати на русском языке; помимо обозначения специфических среднеазиатских реалий, тюркизмы могут входить в непривычные для литературного языка устойчивые словосочетания (типа *комсомольские аксакалы*).

З. С. Ш е л о м е н ц о в а (Фрунзе) поделилась опытом составления словаря названий жителей Киргизии, Ф. Т. С у л т а н з а д е (Баку) рассказала о заимствованиях из азербайджанского языка в русском говоре с. Новоивановка Кедабекского р-на АзербССР. Этой же теме был посвящен доклад Г. Н. А с л а н о в а (Баку) «Тюркская лексика, связанная с наименованиями лиц, в говорах русских поселенцев в Азербайджане».

В прениях по обсужденным докладом выступили А. А. А б д у л л а е в (Махачкала), В. Д. А р а к и н (Москва), Э. М. А х у н з и я н о в (Казань), А. Н. К о н о н о в (Ленинград), Б. А. С е р е б р е н н и к о в (Москва) и др. В работе симпозиума принял участие венгерский тюрколог акад. Ю. Ф. Н е м е т (Будапешт).

В заключительном слове Н. А. Баскова была отмечена важная роль симпозиумов в координации работы исследователей проблемы тюрко-славянских языковых связей. Дальнейшие усилия должны быть направлены на создание словарей тюркских заимствований в русском, белорусском и украинском языках. Институт языкознания АН СССР предполагает разработать единую инструкцию по составлению таких словарей, для широкого обсуждения специалистов разослать ее в республики и привлечь к сотрудничеству ученых других славянских стран.

И. Т. Сергеев (Чебоксары)

*

17—18 декабря 1968 г. в Институте истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР состоялось расширенное заседание Научно-методического совета по организации социолого-лингвистических исследований в Сибири. Кроме сотрудников ИИФФ и Новосибирского гос. ун-та, в работе совещания приняли участие представители научно-исследовательских институтов и вузов Москвы, Ма-

гадана, Кызыла, Горно-Алтайска, Якутска, Улан-Удэ, Иркутска.

Открыл заседание директор ИИФФ академ. А. П. Окладников. Выступая с докладом об итогах проделанной работы, чл.-корр. АН СССР В. А. Воронин осветил задачи и порядок проведения обследования. В настоящее время охвачены анкетированием почти все коренные народы Сибири и Дальнего Востока: ненцы, коми, ханты, чукчи, нанайцы, кеты, долганы и др. (всего более 40 тыс. человек). Анкетирование проводилось зонально — в Северо-Западной зоне (Тюменская и Томская области, Красноярский край), Северо-Восточной зоне (Якутская АССР, Магаданская, Камчатская, Сахалинская области, Хабаровский край), Южной зоне (Бурятская АССР, Тувинская АССР, Горно-Алтайская АО, Иркутская область). Собранный материал необходимо срочно подготовить к обработке на ЭВМ.

Содоклады были посвящены предварительной оценке полученного материала. Н. А. Сердобов (Кызыл) в выступлении «О результатах анкетирования по Тувинской АССР» подчеркнул, что анкетирование внесло ясность в вопрос о языке обучения в школе. Начальное образование нужно вести на родном языке. Вместе с тем необходимо хорошо поставить изучение русского и родного языков как предметов, для чего требуется научная разработка сопоставительной грамматики. С докладами выступили также Ю. Б. Стрелков (Новосибирск) «Результаты обследования по Обь-Енисейскому Северу», А. Р. Бадмаев (Новосибирск) «Материалы по Бурятской АССР», Л. В. Малиновский (Новосибирск) «О методике обследования немецкого населения Сибири», Р. Х. Хартшкниа (Иркутск) «Опыт социологического лингвистического обследования бурят Иркутской области», В. В. Леонтьев (Магадан) «Об организации обследования в Магаданской области», Е. И. Коркина (Якутск) «Результаты анкетирования в Якутской АССР». Все докладчики отметили, что значительное большинство анкетированного населения выразило желание, чтобы дети в школах изучали родной язык как предмет. Ю. Б. Стрелков указал, кроме того, что среди ответов на свободные вопросы анкеты насчитывается немало высказываний за расширение публикаций для детей на родном языке, за увеличение устной и печатной информации на родном языке.

О важности взаимодействия русского и родного языков говорилось в выступлении А. Ф. Бойцовой (Москва), подчеркнувшей важную роль школы в развитии двуязычия.

Вопрос о языке обучения в начальной школе должен решаться в зависимости от того, владеют ли русским языком дети к моменту поступления в школу; в любом

случае следует сохранить преподавание родного языка как предмета. Смешанные классы полезно делить на две группы. Необходимо переиздание существующих и создание новых учебников для нерусских школ. Желательно уже сейчас (до машинной обработки) подвести предварительные итоги обследования, так как практические выводы не теряют остроты.

Г. А. Докучаев (Новосибирск) выступил с предложениями по поводу социально-профессиональной классификации населения при анкетировании. Об этно-социологических наблюдениях на Камчатке и Командорских островах сделал сообщение И. С. Гурвич (Москва). В выступлениях А. Р. Бадмаева, В. И. Бойко, А. Ф. Фелингера основное внимание уделялось машинной обработке массива анкет. Большой интерес вызвало выступление М. Н. Губогло (Москва), изложившего схему профессиональных, половозрастных и других группировок, которыми пользовался Институт этнографии АН СССР при проведении этно-социологического анкетирования в Татарии, Молдавии, Чувашии и Удмуртии.

Подводя итоги заседания, В. А. Воронин указал на важность и актуальность проводимого исследования как в научном, так и в практическом отношении. Он поделился соображениями о том, какой характер должны иметь итоговые таблицы анкетирования и как они могут быть использованы при решении различных вопросов теории и практики.

В резолюции, принятой на заседании, Научно-методический совет обратился к дирекции ИИФФ СО АН СССР с просьбой обеспечить к середине 1969 г. обработку на ЭВМ поступивших в 1967—1968 гг. анкетных материалов. Решено просить Совет Министров РСФСР и ЦСУ РСФСР оказать содействие скорейшей обработке и публикации итоговых таблиц.

Научно-методический совет счел целесообразным, опираясь на результаты окончательной обработки анкетного материала, созвать в 1970—1971 гг. региональную конференцию научно-прикладного характера на тему: «Функциональное взаимодействие языков народов Сибири и вопросы языковой политики».

С. Ф. Табаровская (Новосибирск)

*

Лингвистический семинар при Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков продолжает свою работу¹, в которой кроме сотрудников АПИИЯ принимают участие преподаватели лингвистических дисциплин КазГУ им.

¹ См.: ВЯ, 1961, 3, стр. 153; ВЯ, 1963, 5, стр. 146.

С. М. Кирова, Каз. пед. ин-та им. Абая, сельскохозяйственного ин-та, медицинского ин-та и др. Семинар не имеет строго определенной тематики; в последние годы проявляется повышенный интерес к трем проблемам: билингвизм и сопоставительное изучение языков, грамматика и типология языков, лингвостатистика.

По проблеме «Билингвизм и сопоставительное изучение языков» прослушаны доклады и сообщения А. Е. Карлинского «Основы теории языковых контактов», Х. Абдраимова «Обзор новейших работ по общим вопросам билингвизма», Т. Я. Завгородней «Экстралингвистические проблемы билингвизма», М. М. Муханова «Психологические проблемы билингвизма», А. И. Рабиновича «Что такое фонетическая интерференция?», Г. Я. Панкраца «Фонетическая ассимиляция заимствований», З. В. Беркетовой «О немецко-русской идиоматичности», П. Л. Кима «Принципы сопоставления графических систем двух языков» и др.

По проблеме «Грамматика и структурная типология языков» перед участниками семинара выступили с докладами: М. М. Копыленко «Основные вопросы структурной типологии языков», М. А. Черкасский «О мотивированности в лингвистике», Л. А. Новикова «Использование словарных дефиниций для семантического анализа слова», Ю. М. Макушева «Опыт структурно-семантического моделирования в не-

мецком словосложении», В. В. Кораблин «Предложное управление прилагательных в современном немецком языке», Е. П. Муршель «Субстантивный способ выражения действия в английском языке», Б. С. Мучник «Методы выведения правил стилистики», Н. П. Игнатьева «Грамматические оппозиции в языке» и др.

Вопросам лингвостатистики были посвящены доклады М. М. Копыленко «Роль частотности в изучении словообразовательных явлений», Г. В. Ермоленко «Основы лингвостатистики» и «Применение лингвостатистики при изучении заимствований», А. А. Вейлerta «Использование статистической методики в диалектологии».

Среди докладчиков семинара были и гости Алма-Аты: О. С. Ахманова, Т. П. Ломтев, В. В. Иванов, Л. И. Илья, М. В. Панов, В. А. Артемов, И. И. Ревзин, В. А. Москвич, Р. Г. Пиотровский, А. М. Щербак, А. П. Дульзон, а также Р. Гроссе, В. Флейшер (ГДР), Г. Гржебичек (Чехословакия).

На заседаниях семинара регулярно обсуждались новинки лингвистической литературы (выступления Г. В. Хасиной, О. А. Фразиновой, М. Ж. Таттибаевой, К. Исаевой, С. Нуртазиной и др.), а также сообщения участников лингвистических конференций, которые проходили в Москве, Минске, Риге, Тарту, Новосибирске и других городах страны.

А. Е. Карлинский (Алма-Ата)

*

В соответствии с решением III Международной рабочей конференции по славянской ономастике (Либлице, ЧССР, 1966) под председательством В. Шмидлауэра (Прага) с 14—15 мая 1968 г. в Лейпциге имело место Международное рабочее заседание подкомиссии по составлению Славянского ономастического атласа (СОА) при Международной ономастической Комиссии Международного Комитета Славистов. Это заседание было организовано Лейпцигской рабочей группой по ономастике. Цель заседания состояла в том, чтобы подвести итоги ведущихся с 1958 года работ по составлению СОА и определить задачи и методы дальнейших исследований для этой большой коллективной работы.

Об итогах работ по составлению СОА в ГДР сообщил Э. Эйхлер (Лейпциг) в своем вступительном докладе. В связи с использованием для проекта СОА древне-славянских и древнепольских типов имен в настоящее время выкристаллизовались некоторые особенности, которые вытекают из специфики славяно-немецкой зоны соприкосновения. Эти

особенности еще ждут скорейшей и глубокой обработки (диахронический характер карт, проблема классов и типов имен, фиксация славянской ономастики и этнического распределения и т. д.). Работа по составлению атласа в целом может быть осуществлена только в два этапа. На первом этапе проводится подготовка ономастических атласов по отдельным языкам. Они должны наилучшим образом отразить отношения, типичные для соответствующего языкового ареала и должны составляться с учетом как диахронических, так и синхронных исследований (последние являются задачей германистики). Ученые отдельных стран должны составлять списки типов имен и обмениваться ими с другими заинтересованными странами. Только после того, когда всеми странами, участвующими в составлении СОА, будут реализованы эти задачи первого этапа, можно приступить к осуществлению второго этапа, конечной целью которого является создание СОА в целом. Далее докладчик изложил научные и политические аспекты исследований по ономастике в ГДР (например, опровер-

жение ряда буржуазных теорий о ранней истории западных славян, необходимость учета классово-обусловленных социальных критериев, борьба с реакционными тенденциями в западногерманских исследованиях по немецко-славянским ономастическим отношениям) и подчеркнул необходимость тесного сотрудничества представителей всех дисциплин, связанных с ономастикой (археология, ареальная история, география).

В. Шмиллауер (Прага) доложил об Атласе чешских топонимов в Чехословакии, который он представил участникам заседания в рукописи. Для установления географии отдельных типов имен прежде всего необходимо провести предварительные работы на небольших территориях, причем весьма важными оказываются здесь факты истории заселения, почвенных условий, климата и высоты над уровнем моря. В ареале, исследованном В. Шмиллауером, выделены многие макротицы и микроотицы топонимов.

В. Бланар (Братислава) в своем докладе исследовал «специфические ономастические явления и картографирование ономастического материала» и выдвинул требование при картографировании учитывать не только лексические основы (корневые морфемы) или суффиксы (вспомогательные морфемы), но и изменения в областях, не имеющих прямого отношения к ономастике (рост заселения, исчезновение поселений, высыхание вод и т. д.).

И. Займов (София) остановился на структуре СОА и в вопросе к этому Атласу. Решение проблем славянской прародины и славянского переселения должны определить конечные задачи СОА. Он указал на существующие в настоящее время отрицательные моменты, которые могут вытекать из отсутствия единой общей для всего Атласа подготовки материалов к нему (искажение фактов). Особенно следует использовать богатую микротопонимию. И. Займов предложил развернуть работу по составлению карт и вопросника к СОА.

Ф. Цуржин (Прага) рассмотрел некоторые проблемы топонимики в соотношении со славянской физиографической терминологией, которую, по его мнению, в отдельных славянских языках следует собирать при учете реальной ситуации ландшафта.

К. К. Целуйко (Киев) остановился на соотношении СОА и отдельных национальных ономастических атласов. В своих выводах он основывался главным образом на материалах подготавливаемого в настоящее время украинского гидронимического атласа и параллельно создаваемого Словаря украинской гидронимики, который, хотя и ставит другие цели, несомненно мог бы обогатить СОА.

С. Росонд (Вроцлав) говорил о

методах составления СОА, используя при этом материал топонимов с possessivным суффиксом *-jъ-*. Особое внимание он уделил вопросу деривации в ономастике. По его мнению до составления СОА необходимо создание ряда монографий, посвященных определенным структурам имен (*-jъ-*, *-itjъ-*, *-ън-*, *-ov-* и т. д.). На основе анализа славянских топонимов, образованных с суффиксом *-jъ-* от полных имен, было четко показано различие между «севернославянской» (западно- и восточнославянской) и южнославянской областью.

Р. Шрамек (Брно) посвятил свой доклад разбору отдельных видов карт в СОА. В связи с особым положением собственных имен в лексической системе языка возникают определенные особенности ономастических карт (связь между названием и называемым, твердая географическая и историческая фиксации имен и т. д.).

Р. Крайчович (Братислава) рассмотрел картографирование так называемых макротипов (*-any*, *-ovce*, *-ice* и т. д.). Для определения макротипа докладчик предложил использование определенных показателей частотности. Кроме того, он уделил особое внимание включению суффиксов в топонимические названия.

К. Хенгст (Цвикау) пытался показать, как на основе точного графемного анализа можно получить критерий выделения первоначальных типов топонимов (*-inol/-inal/-ino*, *-on/-ujъa*, *-jane*).

С. Кёрнер (Борна) на основе изучения древнелужицкого макротипа топонимов на *-ici* (resp. *-ovici*) вскрыл разделение древнелужицкого языковой области на западное и восточное крыло.

О. Кронштайнер (Вена) говорил о проблеме языкового смещения и о языковом упорядочении имен, изучение которых в областях соприкосновения различных языков имеет значение и для СОА.

Первое рабочее заседание подкомиссии славянского ономастического атласа приняло решение, что дальнейшая работа над Атласом будет проходить в два этапа: 1) обработка ономастических атласов отдельных языков и 2) составление проекта содержания и подразделения материала СОА. Был рассмотрен вопрос о создании рабочего центра; рабочие заседания должны проходить каждые два года. Было четко определено направление будущих исследований для СОА, причем в качестве предварительных работ был признан принципиально правильным используемый в настоящее время метод обработки всего ономастического материала по округам и областям и создание местных ономастических словарей.

Э. Эйлер, И. Шультхайс

Перевел с немецкого М. М. Маковский

С 20 по 26 января 1969г. при Самаркандском ун-те им. А. Навои под руководством В. А. Никонова (Москва) проходил организованный кафедрой общего и русского языкознания САМГУ межреспубликанский учебно-научный семинар по проблемам ономастики, в котором приняли участие представители учебных и научных учреждений республик Средней Азии, Москвы, Баку, Уфы, Махачкалы и других городов страны. Для участников семинара В. А. Никоновым был прочитан спецкурс «Введение в ономастику»; было прослушано свыше пятидесяти докладов и сообщений, посвященных проблемам тюркской топонимики и антропонимики, славянской антропонимики, поэтической ономастики и ономастической социологии.

Проблемам изучения тюркской топонимики были посвящены доклады У. Б. Бекбаулова (Нукус) «Этюды по топонимии Приаралья», А. Ю. Юлдашева (Ташкент) «О тюркских элементах в топонимии Сайрамского района Чимкентской области», где на основании данных диалектов и памятников древнетюркской письменности доказываются тюркское происхождение элементов *ман*-, *долан*-, *-баш* и др. в таких названиях, как *Доланташ*, *Манкент*, *Учбаш* и т. д. Интересные материалы были представлены участниками топонимической группы Чимкентского пединститута О. А. Тулаевой в докладе «Микротопонимия Чимкента», К. М. Нуриевой — «Топонимия Туркестанского района» и руководителем этой группы В. Н. Поповой «Местные географические термины в составе гидронимии Южного Казахстана». В некоторых докладах, в частности, в сообщении У. Б. Бекбаулова, а также в докладе А. А. Камалова (Уфа) «Болгаро-чувашские гидронимы в Башкирии» топонимические данные интерпретируются как важнейший материал для изучения истории народов и языковых контактов. Изучению таджикской топонимии Фариха посвящен доклад В. С. Касимова (Самарканд).

О принципах составления историко-этимологического словаря топонимов, над которым работают в Каракалпакии, рассказал на семинаре К. Абдимуратов (Нукус). На заседаниях секции тюркской топонимики и антропонимики были прослушаны также доклады Т. Ж. Жанузакова (Алма-Ата) «Основные типы и структура антропонимов в древнетюркских памятниках VI—VIII вв.», Д. К. Нуржановой (Чимкент) о казахской кос-

монимии, Г. Ф. Фельде (Чимкент) о зоонимии села Корниловка Чимкентской обл., Т. Х. Кусимовой (Уфа) об обычных наречениях имени у башкир, Г. К. Сопиевой (Ашхабад) о классификации туркменских антропонимов и др. Особый интерес вызвал доклад И. Х. Абдуллаева и К. Ш. Микаилова (Махачкала) «К этимологии этнонима „лезгин“», который докладчики возводят к восточнокавказскому **лэг*.

На секции славянской антропонимики среди других были прочитаны доклады А. Д. Дуличенко (Самарканд) «Антропонимия русин Югославии» и «Утрата родовой дифференциации фамилий у югославских русин», а также сообщение С. И. Зинина (Ташкент) о составлении подробного словаря русских фамилий XVII в.

Из докладов, прочитанных на секции поэтической ономастики, отметим историко-литературное исследование А. А. Петрова (Самарканд) о происхождении псевдонима «Ленин», доклад Р. И. Охштаг (Самарканд) о «говорящих именах» в немецком языке, а также сообщения Н. П. Агафоновой (Самарканд) «Поэтическая ономастика в русских сатирических журналах первых лет советской власти (1917—1923 гг.)» и Р. С. Ахмедовой (Самарканд) о хронологизации русских псевдонимов XIX в. Цикл сообщений Л. И. Ройзензона и Э. Б. Магазаника (Самарканд) посвящен проблемам ономастической социологии на материале русских личных имен в Самарканде за последние три десятилетия.

Большую помощь в ономастических исследованиях призван оказать созданный при кафедре общего и русского языкознания Самаркандского ун-та ономастический кабинет, где хранятся карты и материалы по ономастике. Под руководством Л. И. Ройзензона и Э. Б. Магазаника здесь проводится работа по составлению Словаря собственных имен в произведениях русских классиков XIX в. Э. Р. Худайатовой (Самарканд) начато исследование о происхождении названий улиц и кварталов Самарканда; некоторые результаты этого исследования были доложены на семинаре.

Учебно-научный семинар впервые в Советском Союзе охватил все отрасли ономастики, включая этнонимистику, космонимистику, зоонимику.

А. Д. Хаютин, Р. И. Могилевский
(Самарканд)

CONTENTS

Articles: V. Z. Panfilov (Moscow). On the tasks of typological investigations and criteria of typological language-classifications; **Discussions:** M. V. Rajevskij (Tula) The High-German consonant-shift and factors of phonological evolution; V. S. Yakovišhin (Minsk). On the development of Proto-Germanic vowel-system; Y. B. Krupatkin (Sevastopol). On allophonic reconstructions; Y. K. Kuzmenko (Leningrad). Diachronic phonology of the affricates in the Germanic languages; N. A. Baskakov (Moscow). On the historical-typological study of grammar in the Turkic languages; M. A. KumaKhov (Moscow). The category of number and grammar; Y. D. Apresjan (Moscow). Synonymy and synonyms; **Materials and notes:** I. P. Raspopov (Voronež). Some remarks on syntactic paradigmatics; M. A. Korostovcev (Moscow). On the nature of the Egyptian verb; S. G. Ter-Minasyan (Moscow). On the problem of child speech; **From foreign periodicals:** J. Bar-Hillel. The future of machine-translation; **Critics and bibliography; Scientific life; Letters to the Editorial Office:** J. Prinz (West Berlin). Concerning E. M. Pospelov's review of «Russisches geographisches Namenbuch»; G. B. Jaukian (Yerevan). A letter to the Editorial Office.

SOMMAIRE

Articles: V. Z. Panfilov (Moscou). Tâches ultérieures des études typologiques et critères de classification typologique des langues; **Discussions:** M. V. Rajevskij (Tula), Mutation consonantique haut-allemande et causes d'évolution phonologique; V. S. Yakovišhine (Minsk). Développement du système vocalique en proto-germanique; Y. B. Krupatkin (Sévastopol). Reconstructions allophoniques; Y. K. Kuzmenko (Léningrad). Phonologie diachronique des affriquées proto-germaniques; N. A. Baskakov (Moscou). Sur l'étude historico-typologique de grammair des langues turciques; M. A. KumaKhov (Moscou). La catégorie du nombre et la grammaire; Y. D. Apresjan (Moscou). Synonymie et synonymes; **Matériaux et notices:** I. P. Raspopov (Voronež). Quelques remarques sur paradigmatic de syntaxe; M. A. Korostovcev (Moscou). Sur la nature du verbe égyptien, S. G. Ter-Minasyan (Moscou). Sur le problème du langage enfantin; **Extraits des périodiques étrangères:** J. Bar-Hillel. Le futur de la traduction mécanique; **Critique et bibliographie; Vie scientifique; Lettres à la rédaction:** J. Prinz (Berlin d'ouest). À propos de la critique de E. M. Pospelov de «Russisches geographisches Namenbuch»; G. B. Jaukian (Yerevan). Lettre à la rédaction.

Технический редактор *Н. И. Васильева*

Сдано в набор 24/IV—1959 г. Т-10301 Подписано к печати 26/VI —1959 г. Тираж 6265 экз.
Зак. 2159 Формат бумаги 70×138/16. Усл. печ. л. 14,7 Бум. л. 5 1/4 Уч.-изд. л. 16,8